80 коп.

ИНДЕКС 73274

Наш современник, 1990, № 12, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК

№12 1990

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№12 1990

ГОВОРИТ РОССИЯ

Продолжаем публикацию откликов на Письмо писателей, деятелей культуры и науки России, опубликованное в № 4 нашего журнала.

„Позиция авторов Письма благородна, а публикация его — это мощный прорыв в глубину народного сознания.

Есть, есть в нашем народе здоровые силы, честная интеллигенция.

Семья ЕФАНОВЫХ, пять человек, Калининградская область".

„Нам, РУССКОМУ НАРОДУ, давно следовало бы занять свое место в России! Мы любим свою Родину, свое Отечество. Гордимся прошлым, настоящим России и все сделаем для того, чтобы наши дети и внуки гордились будущим России и Русского Народа!

СЫЧЕВ, ПРОХОРОВА, СТАРОСТИНА и др., всего 63 подписи, ПО „Бином", г.Саратов".

„Пора наконец громко и решительно заявить протест наглой кампании, развернутой в прессе, недвусмысленно дать понять всем любителям подтасовок и передергиваний: нет, дорогие товарищи, жив еще русский народ и не вам его погубить!

МЕЖЕВИНИНА Ю., ЩУКО Н. и др., всего 7 подписей, г.Красноярск".

„Факт публикации делает честь журналу, является его большой заслугой, так как наконец-то всесторонне и объективно в печати показаны плачевные последствия многолетней, массированной и целенаправленной деятельности разгулявшегося в России сионизма, проповедующего расовую и национальную исключительность просионистски настроенных лиц.

НИКИТИН В.С., профессор, участник ВОВ, г.Москва".

„Спасибо русскому народу за его долготерпение, за то, что он не отвечает действиями ни на оскорбления, ни на многочисленные провокационные заявления желтой советской и иностранной прессы, органов информации о готовящихся якобы погромах. Но и молча переносить их издевательства становится невозможно.

КАРАСЕВ А.Н., КАРАСЕВА М.Г., научные работники, г.Ленинград".

„Разделяем с вами боль и тревогу за судьбу нашего Отечества. С гордостью присоединяем свои подписи и считаем себя тем удостоенными этой большой чести.

Граждане России, потомки славного казачества Кубани: ЕРМАКОВ, АРТЮХОВ, ОЩЕПКОВ и др., всего 117 подписей, г.Черкесск Ставропольского края".

„Я полностью разделяю боль, возмущение и решимость покончить с тем кабальным положением, в котором оказался русский человек на своей исконной земле.

ЦТ и центральная крупнотиражная пресса отравляют, „денатурируют" общественное сознание русского народа, вдалбливают в головы и души противоестественные и самоуничтожительные модели поведения.

О качестве „информации" можно судить по тому примечательному факту, что наиболее „информированное" население столиц /Москвы и Ленинграда/ оказалось и наиболее одураченным, о чем свидетельствуют результаты выборов народных депутатов. Целенаправленно организованная „информация" способна превращать людей в жалкое стадо, лишать их даже биологического инстинкта самосохранения.

САМОЙЛОВ В. Н., рабочий, г. Ростов-на-Дону".

„Нападкам подвергаются любые попытки, направленные на возрождение России и ее народов. Когда-то противники русской культуры — так называемые „либералы" травили Достоевского, Некрасова, Чехова, а затем Есенина и всех крестьянских поэтов. Захватив власть, „лево-правые" уничтожали русскую интеллигенцию, духовенство, взрывали храмы, уничтожали крестьянство. Нынешние последователи террористов 20-х годов травят лучших русских писателей, огульно обвиняют всех защитников Родины, обливают грязью целый народ и его культуру. Поэтому нужно сорвать маски „демократов" и „плюралистов" с экстремистов, которым наплевать на интересы и заботы народа. По своей сути и по своим целям это реакционные „правые" силы, несущие расизм, террор, разрушение и осквернение здоровых основ народа, разрушение его вековой культуры и традиций.

Общество „Отечество": ЗЕНИН В., ПОЧТАРЕВ Г., СИДОРОВ С. и др., всего 49 подписей, г.Протвино Московской области".

В настоящее время в поддержку Письма поступило более 7 000 откликов.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№12 1990

ИПО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря З. С. Гуляевская

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-76 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией) 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 12.09.90 г. Подписано к печати 26.12.90 г.
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,97 Тираж 488 800 экз. Заказ 2275

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38

А. В. МИХАЙЛОВ

ИТОГИ

Жить и отдавать себе отчет в том, как живется и что это за жизнь, — это неизбежно. И можно подводить итоги целого исторического пути, и можно, и нужно делать это — увы! — в самый страшный переломный момент нашей истории, то есть в самый, казалось бы, неудобный и немыслимый момент для подведения итогов. Итоги... а вдруг перевернется все? И опрокинет все итоги?

Но тут и горе, и прямая необходимость. Как раз на непонятном повороте итоги и надо подводить, и тем более что, как я предполагаю, всякий момент, и тем более заостряющий все до предела и обнажающий самые нервы происходящего, — это словно вся история в разрезе. То, что есть вообще в тысячелетии, то присутствует и в этот момент, то есть присутствует как внутренний закон с его тенденциями, которые именно заостряются и обнажаются, твердя нам: все связано со всем, и если какие-то связи нарушены, то и в этом нарушении сказывается общая взаимосвязь. Можно из прошлого смотреть на настоящее и на себя, можно от себя на прошлое, можно наблюдать, как от сегодняшнего дня с его противоречиями разные нити уходят в прошлое, и настоящее всякий раз совсем по-разному отражает что-то прежнее и раннее.

Однако я, хотя я и озаглавил свой текст «Итоги», совершенно сник под тяжестью задачи, как я ее чувствую, и то, что я теперь предлагаю для чтения,— это не наши итоги, не итоги нашей истории и нашей культуры, это мои итоги, то есть всего лишь итоги моих попыток подобраться к подведению настоящих, наших итогов, к полновесному подведению таких итогов, на что я оказался не способен. Я должен просить прощения за то, что предлагаю теперь знакомиться только с моими итогами, не с чем-то общезначимым и общеинтересным. Однако и самые капитальные итоги, которые подвел бы и которые подведет кто-то другой, все же в некотором смысле

Публикацию сочинения Александра Викторовича Михайлова уместно предварить кратким предисловием,— в особенности потому, что начиная с января 1991 года А. В. Михайлов войдет в состав редколлегии «Нашего современника».

А. В. Михайлов — автор целого ряда фундаментальных работ, в которых органически соединяются философские, эстетические, филологические проблемы. В 1988 году он был избран на пост заведующего отделом теории Института мировой литературы Академии наук СССР и одновременно ответственным редактором академического теоретико-литературного ежегодника «Контекст».

Словом, речь идет о виднейшем ученом и мыслителе, который, правда, пока не имеет широкой популярности, хотя нет сомнения, например, что каждый читатель, всерьез интересующийся культурой Германии, так или иначе соприкасался с работами А. В. Михайлова. Ибо основное поле его деятельности — исследования и осмысление немецкой культуры во всей ее целостности — от философии до музыки. И едва ли кто-нибудь из специалистов будет спорить с тем, что различного рода труды Михайлова в этой области (а их опубликовано более сотни) занимают центральное место в современном изучении и истолковании одной из величайших — а с точки зрения мыслительной, интеллектуальной мощи и глубины поистине величайшей — культур человечества.

Сосредоточение внимания именно на германской культуре едва ли было случайным, и А. В. Михайлов изучал ее отнюдь не самоцельно, хотя это стало очевидно для всех лишь в его статьях и выступлениях последних лет. Дело шло о приобщении к высотам человеческой мысли.

В связи с этим нельзя не сказать, что очень многие современные авторы, пытающиеся размышлять о драматических или даже трагических противоречиях нашего бытия, в действительности не имеют для этого сколько-нибудь серьезных оснований, ибо их мысль лишена прочного и глубокого фундамента. Внимательный читатель публикуемого в нашем журнале сочинения, без сомнения, оценит редкостную основательность, объективность и глубину авторской мысли. В то же время нельзя не оценить и высокую простоту авторского слова, обращенного ко всем и каждому, к любому соотечественнику и современнику.

будут тоже только его итогами, им выведенными, пусть бы даже и крайне «объективно». И «мое» тоже имеет право на существование — очень ограниченное, пусть как образ человека и сознания, раздавленных попыткой подводить итоги.

Ведь мы живем в такой момент своей истории, назвать который «роковым» не позволит разве что чувство стиля,— мы слишком уж принижены и прибиты всем на свете, чтобы покушаться на такое слово, тем более что и никакого блаженства оттого, что довелось нам и выпало на долю жить именно в такие моменты, нам никак не удается почувствовать в себе. Не роковые они — хуже: «там» хотя бы рок вставал перед взором поэта как вполне осязаемая фигура, а мы и эту роковую осязаемость утратили, способность так вгонять все свои беды и противоречия в пристойный и благородный облик Судьбы, или Рока.

Но при всей забитости и при массовых тщаниях компенсировать эту приниженность поддержанием хорошей спортивной фигуры (дело в действительности многообещающее) мы не должны смотреть на вещи абсолютно мрачно. То есть я бы правильнее сказал так: мы именно должны смотреть на вещи с полнейшей, с абсолютнейшей мрачностью, будучи вполне уверены, что «вещи» этого стоят, но вот затем, посмотрев на них так, понасмотревшись вдоволь на их унылый и убогий вид, даже впервые научившись смотреть на них с предельной мрачностью, какая только вообще мыслима и осуществима, мы должны приняться и за другое — за отыскивание лучей света в этом мраке, пусть даже с фонарем или с микроскопом. Ведь история парадоксальна, в этом убеждаешься на каждом шагу. Мрачное и светлое у нее могут соседствовать, а иногда светлое рождается из мрачного, причем вовсе не отменяя весь этот мрак. А потому мы обязаны смотреть на вещи и до крайности мрачно, как они того на деле заслуживают, а потом уж, по мере возможного, и светло.

Вот ведь православная Церковь, претерпев неслыханные муки и понеся невосполнимые потери, терпя разные недостатки и теперь, и предвидя новые испытания на будущее, все же вышла из этих потрясений очищенная и не только сохранила свою жизнь и учение, но и, как можно видеть, еще углубила свое учение, расставшись с официозными чиновничьими методами преподнесения своей веры и обратившись к самому глубокому духовному своему наследию как самой старины, так и новейшего времени. Но и потерь не вернешь! Утраченного не воротишь!

Так и во всем ином, во всех наших бедствиях, где светлых сторон, надо думать, еще меньше, мы не должны просто плакать об утраченном, но мы и должны плакать, и не должны плакать. Но нельзя и не плакать, особенно — без зависти, но со сравнением,— видя, чем могли бы мы теперь быть в своей культуре и в своем жизнеустройстве, и особенно наблюдая, с каким огромным успехом налаживают свое земное благоденствие многие народы и Запада, и Востока. В этих сравнениях горек нам вымысел об отсталости старой России! Да уж она была хороша одним тем, что от себя не отставала, а от других если и отставала, так в сторонах внешних, в количествах и объемах какого-нибудь производства.

И вот причина, почему мне не удалось вывести итоги: итоги надо выводить, умея сводить концы с концами. А я не могу: я вижу причины для горечи и иногда для радостей, однако история так парадоксальна, что выводит порой одно из другого, а иной раз, как я подозреваю, ведет свои линии без малейшего расчета на сведение концов — в одно и то же время совсем разные, противоположные по смыслу и по эмоциональному отклику на них, какой был бы возможен. Белое у нее может быть и черным и белым, черное — тоже, и еще каким-нибудь промежуточным цветом, и можно вести мысль об одном и том же в черную и в белую сторону, можно прочертить для себя мысленно такие перспективы в разные стороны, но чем все это закончится, никак нельзя и подумать. Об одном и том же проведешь линию в одну сторону, в другую, еще кто-нибудь мог бы помочь и провести свою, третью линию. И нет сведения концов, и нет единства противоположностей, и что-нибудь одно противоречит само себе. Но, кажется, главный утешительный конец — это то, что мрак никогда не может быть полным.

Вот я и не стал силой сводить концы противоречий, если даже что-нибудь противоречит само себе. При всеобщей взаимосвязи вещей вполне мыслимо, что что-нибудь одно и то же в одной неполно прослеженной связи закономерно выглядит так, а в другой, тоже неполно прослеженной,— совсем иначе, противоположным самому себе образом. Все исчерпать я не в состоянии и оставил дело, взявшись за начала каких-то вещей, а концы их бросив на произвол судьбы.

И это вышли уже мои итоги — в целом безрадостные, иногда раздраженные, иногда смешные и так далее. Это итоги подведения итогов с началами без концов.

И тут сам я выгляжу не очень красиво, и особенно сегодня. Кому-нибудь покажется, что я даже против введения рыночной экономики, которая сейчас, когда я пишу (в августе 1990 г.), нам твердо обещана, а кому-нибудь покажется, что я боюсь рыночной экономики (хотя мало ли кто чего боится, не будет же каждый рассказывать об этом всем на площади). Но я заявляю, что я не рыночной экономики боюсь и не держусь, скажем, за былое, а я действительно боюсь повторения прежних ошибок и всякой политики и экономики на старый лад, только под новыми названиями. И я небезосновательно боюсь, видя усердие некоторых людей в проведении старой политики. Я небезосновательно боюсь,

иначе давно бы уж потрудился переубедить себя фактами. Но фактов мне явно недостает. И отсюда опять же мрачность. А тут, с другой стороны, и подоспеет к месту или нет что-нибудь более приятное и утешительное...

Об одной особенности текста я хотел предупредить: итоги не сходятся, а время бежит быстро, словно с цепи сорвалось. И вот в таких условиях очень важно, как мне кажется, отметить время, когда я пишу все это,— август 1990 года,— и, ссылаясь на кого-либо, тоже указывать дату создания всякого текста. Иначе — то ли сползаем мы куда-то, то ли откуда-то выбираемся,— даже за обычный журнальный срок обработки материалов может сложиться кричащее несоответствие между ситуацией, в какой составлялся текст, и ситуацией, в какой он теперь читается... Может ли любой автор остановить мгновение?..

РЫНОК ДО РЫНКА

Миловзоры! Миловзоры!
Семен Яковлевич.

У нас все думали и думали, надо ли переходить к рынку, и теперь большинство надумало, что надо.

И поглотит нас рыночная стихия. И пусть их. Но вот что любопытно — феномен, не редкий в истории культуры. Бывает, что фантом куда привлекательнее реальности, но он и действеннее реальности, а, стало быть, и реальнее самой реальности. Когда же фантом воплотится в действительность, может быть, он и разочарует кого-то своей нарочитой прозаичностью и неэффективностью. Я держу про запас одну мысль, довольно безрадостную, которую я и стараюсь никому не выдавать: вот наступят рыночные условия, и не принесут они нам (в отличие от Польши и от Венгрии), ни всем нам, ни государству никаких облегчений и прибылей, и не принесут они нам никакого оздоровления экономики, а только приведут к новым осложнениям, к новому витку хаоса, к новым общественным неудовольствиям, к новым невиданным кризисам. Я потому молчу о таких своих опасениях, что сам больше всех хотел бы разочароваться и тогда с радостью признать свою неправоту. Я даже, листая статьи наших экономистов, в целом мне совершенно непонятные и недоступные (я, конечно, о газетных статьях говорю), судорожно выискиваю в них глазами что-нибудь утешительное, какое-нибудь пусть и ни на чем (кроме надежды) не основанное, но только светлое, обнадеживающее предсказание, но пока еще не встретил ни одного, хотя и задумал коллекционировать их вопреки своим мрачным настроениям.

Так вот фантом бывает пореальнее самой реальности. Особенно тогда, когда люди давно истосковались по чему-то желанному или когда они сильно поднапуганы обещанным им страхом. Так вот рынок — это желанный страх, и для одних он чуточку пожеланнее, для других чуточку пострашнее.

Я из последних, но осмелюсь сказать, что страшусь не столько за себя, сколько за всех сразу. Хотя, правда, никто мне бояться за всех не поручал, я делаю это именно на свой страх и риск.

Так бывает, что самой вещи нет и в помине, она только крепко засела в головах людей — как вещь грядущая, какая с непременностью обретется, а эффект ее отсутствия уже вполне реален. Нигде нет такого упоения богатством, как там, где никакого богатства нет и когда карманы всех практически пусты. Вот тогда порой оказывается, что карманы не пусты, а заполнены чем попало, и откуда только понабралось, прямо какой-то воровской склад. Надо только, чтобы хотя бы очень издалека запахло деньгами и возможностью их откуда-то брать и копить, как карманы и заполняются. И вдруг целая прослойка общества кидает все свои силы на добывание денег, которые никому не светят. А потом вдруг все узнают, что число подпольных миллионеров неизвестно, еще не успели досчитать их до конца, и что есть люди, которые могут и ГУМ купить, подай только знак (это из газеты беру). И не тогда совершаются оргии вокруг длинного рубля, когда деньги свободно обращаются в обществе, приносят дивиденды и живут здоровой жизнью, а тогда, когда рубль короткий, денег нет,— и не миллиардер сойдет с ума от алчности, а конечно только какой-нибудь жалкий тысячник, который слишком рано свихнулся. Правда, теперь деньги уже завелись — у тех, кто занялся добыванием их достаточно рано, рано почуяв, откуда подуло и куда все потихоньку тянется. Теперь есть деньги, и уже не длинные рубли, а доллары и марки в меру своего естественного роста. Так что теперь мы вступили в фазу, о которой гораздо труднее говорить со стороны, не принадлежа к клану богатеев.

И вот тут вовремя запахло и рынком, и его, еще не введенного в действительность, фантом, конечно, действеннее настоящего рынка, если он будет.

Вот коротко из моих летних киевских впечатлений. Как переменился Крещатик, не внешне, а по своей атмосфере: какая спекулянтская деловитость царит в разных его уголках, ничего подобного и не было раньше. То кооперативная лавка со штанами и блузками, и всякими поделками и презентами, то книжная торговля, где новые книги продают по цене, какая покажется сходной,— что за 50 рублей вместо полутора, что за 25

рублей вместо трех и т. д., причем все это книги действительно новые, то есть никогда никем еще не покупавшиеся, и откуда только они у спекулянтов! (Тут замечу, во избежание недоразумений, что слово «спекулянт» никому не обидно, его происхождение возвышенное, оно родственно «умозрению», оно высокоинтеллектуальных кровей, и его расхожее полубранное употребление так же необоснованно, как понимание «дельца» или «предпринимателя» в дурном смысле,— это надо знать теперь нам всем, когда подходит пора снимать шляпы перед спекулянтами.) И какие добрые молодцы стоят везде за прилавками — косая сажень и прочее, и все они вдруг переквалифицировались в купцов и приказчиков, причем в былые времена тут можно было бы посетовать, что такие здоровяки оторваны от производства, но теперь этого не скажешь,— видно, надо, раз их отрывают и раз уж статус наибольшего благоприятствования немедленно распространяется на всякого возжелавшего поспекулировать (то есть поумозрительствовать на предмет бешеного дохода), а не на рабочего и труженика: дурак, так и вкалывай!

Так государственный рынок еще не открыт, но ведь на улице уже вовсю царит рыночная стихия: тут уж вовсю ощутили пряный запах будущего рынка и уже готовятся встретить его во всеоружии, подзаработав на дураках. Да ведь их, этих умников, этих умозрительствующих, и готовят же, проявляя о них нежную заботу: вот и стоимость их золотых запасов подскочила во сколько-то раз, между тем как трудовые сбербанковские накопления каждый год уценяются на сколько-то процентов вследствие инфляции. В Польше в начале рыночной реформы было какое-то время, когда на среднюю зарплату можно было купить всего-навсего шесть пачек сливочного масла, а у нас и нет еще никакого начала, а вот в эти дни на зарплату в 120 рублей можно купить всего лишь шесть пачек сигарет, продающихся в коммерческом киоске. Но ведь это до начала! А что будет после начала? Ясно ведь, что все делается для человека — для того, который спекулирует.

А теперь опять о крещатицких спекулянтах и о рыночной стихии. Что ж ее теперь, когда она по масштабам страны такая скромная, и малая, и легко обозримая, что же ее сейчас никто и не пробует «регулировать» (как обещают нам насчет рынка «большого», в колоссальных масштабах)? Понятно, что, например, книгами торгуют не вообще так, а с чьего-то, надо думать, соизволения. Однако, помимо финансовых и прочих разрешений, есть ведь и какие-то органы, которые могли бы поинтересоваться по существу, откуда берутся эти новые книги и по какому такому человеческому праву они приносят чудовищную прибыль людям, которые ничего не сделали и не произвели, кроме как повысили во много раз цену? Ну вот хотя бы управления культуры, которые пекутся о всякой культуре, могли бы побеспокоиться: что, мол, почему и зачем? Это я, конечно, в шутку говорю, потому что даже и вообразить не в силах, чем, какой культурой заняты эти управления, которые, как рассказывают, на самом деле существуют. Моя же гипотеза — в том, что и большой рынок и всю рыночную стихию будут «регулировать» точно так же, как и эту малую. Так это и будет, если полагаться на тех, кто подозревает, что вся рыночная реформа делается в интересах дельцов теневой экономики. То есть еще только будет делаться. Может быть, подозрения и оправданны, коль скоро малые факты указывают именно в эту сторону,— откуда иначе такая честь спекулянту, который делает деньги из ничего, как тот, что перепродает книги? Этот маленький в общем-то спекулянт и эта маленькая по объему спекуляция — не аллегория ли большой?

У нас в свое время, то есть еще совсем недавно, как-то сразу напугались мысли о возможной в будущем безработице и принялись отрицать самую ее возможность, говоря, что нельзя же отказываться от такого социального завоевания, как всеобщая занятость, и всякие подобные вещи. А потом — и часто же такое у нас случается — эта дымка напуганности и здравых аргументов стала рассеиваться, новых доводов в пользу безработицы никто еще, правда, не придумал, но степень напуганности стала заметно спадать, словно сама собою, и вот — смотри же! Теперь никто уже и не пугается безработицы, и уже не возможность ее принимается как должное, а лишь то, что она наступит и должна наступить непременно. Такой вот быстрый, года за два, прямо-таки плановый и плавный переход от страхов и даже чуть ли не до восторгов. И теперь я читаю у одного из русских экономистов, В. Шифрина («Вечерняя Москва», 9 августа 1990 г.):

«О безработице. Это действительно одна из уязвимых для критики черт рынка. Но так ли уж она страшна? Рыночная же система научилась успешно бороться с безработицей и ее последствиями. Десять миллионов безработных, которых может в худшем случае дать реформа в нашей стране,— это не выброшенные из жизни люди. Средства на то, чтобы их поддержать, государство получит как раз благодаря приватизации».

Право, что за чудесный аргумент против страшной вещи — «но так ли уж она страшна»? Какой чудесный и какой простодушный! Чего бы не прибегнуть к нему с самого начала, а не держать за пазухой, словно камень? Так сразу бы камень с сердца и спал... Но только возникает вопрос: как это рыночная система научилась успешно бороться с безработицей? Ведь число безработных если и снижается, то незначительно,— как в Европе, так и в Америке. Разве что безработным платят приличное пособие, так что у А. Нуйкина я узнаю, что бельгийский безработный получает больше денег, чем советский дипломат в Бельгии, и подумал про себя, что, может быть, безработный и сводит концы с концами, — не привык же он так млеть от чужого богатства, как высокооплачиваемый советский специалист. Так вот ничего лучшего я из слов В. Шифрина не в состоянии вычитать, кроме того, что безработных оплачивают неплохо. Но ведь это все только деньги и деньги, и не случайно, потому что — вот вам и пример — наш экономист и способен только думать все о деньгах, да о деньгах, и как раз в момент, когда он мог бы подумать и о чем-то другом, он продолжает думать о деньгах и в этом смысле недурно проговаривается на предмет того, чем исключительно заняты его мысли.

А подумать о другом можно было бы, тем более что писали уже у нас (вероятно, и не один только человек) о том, что любая рыночная, вообще любая экономическая реформа в нашей стране должна исходить из недопустимости безработицы, и не из каких-либо отвлеченно идейных соображений, а чисто практически: мы ведь все уже наслышаны о том, к каким последствиям привела безработица в Средней Азии (пусть то была безработица и иной природы, и иного происхождения, чем наша грядущая); мы все об этом знаем и (даже если никакие иные, скажем, моральные соображения не влезают в нашу голову) можем лишь гадать о том, какой мощи социальный взрыв произойдет, если в нашей стране появится десять миллионов безработных (или пусть хоть пять). Это ведь миллионы, которые не дадут просто так отнять у себя право на труд, миллионы, которые не согласятся с тем, чтобы их просто «поддерживали» в жизни, не считая «выброшенными» из нее, как весьма милосердно или, лучше сказать, с конкретно социалистической гуманностью обещает им экономист. Только «поддержать» и может посулить этот конкретный гуманист, потому что пособие в 70 или 100 рублей не решит же вопроса. И вот перед нами армия людей, которым сверх того — как раз в особых условиях ровной засеянности нашей земли одними только управлениями культуры, не чем иным,— буквально не к чему будет приложить руки и некуда будет приклонить голову... Людям, уже и наперед обобранным, разве что «поддерживаемым» в жизни вместе со своими семьями на всем протяжении своей трудовой деятельности, людям, у которых по большей части и жилья-то приличного, сносного нет...

Вид столичных бездельниц и лоботрясов, во множестве ошивающихся в различных учреждениях, может, конечно, вскружить голову экономисту, однако исходить из того, что у нас в большинстве своем люди вообще не хотят работать, — это умозаключение, кажется, несостоятельное и, так сказать, спекулятивное. Оно исходит, пожалуй, из крайних случаев — людей, избалованных бездельем, и людей, доведенных до нежелания работать режимом, системой, которая их доняла и вконец достала...

Стоит подумать, не целесообразно ли поставить памятник тому фарцовщику, которого расстреляли лет 30 назад, причем с явным и возмутительным нарушением закона? — Многие вспомнят этот случай. Ведь он, этот ранний делец, был из тех первенцев нового экономического духа, или стиля, которые за несколько десятилетий до поворота интуитивно учуяли, откуда подул ветер, и в пределах устойчивой еще тогда экономической системы, не желавшей и думать о каких-то там кризисах, отыскали место, где можно было применить новые принципы предпринимательства и финансовой деятельности. Возможно, ради сумм, за которые он был вполне противозаконно осужден, нынешний валютчик не повернет и шеи, однако к нашим дням он, кто знает, не стал ли бы уже миллиардером, достойный пионер новых экономических тенденций, что получают ныне и официальное признание, и полную реабилитацию?

Хорошо, можно и подождать ставить памятник, а что же рынок? Если по малому можно судить о большом, о рынке — по рынку до рынка и о будущих манерах и предпочтениях — по нынешним обыкновениям и по нынешнему нежному обхождению с самым примитивно незамысловатым и недалеким спекулянтом с какой-нибудь справкой в кармане, так не почудится ли, что... все мы уже наперед проданы, запроданы и перепроданы на этом рынке.

ДВА ГЕРОЯ

(начало)

Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год рассказал, как памятно многим, о «замученном русском герое» Фоме Данилове:

«В прошлом году, весною, было перепечатано во всех газетах известие, явившееся в «Русском инвалиде», о мученической смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и утонченнейших истязаний, 21 ноября 1875 года, в Маргелане, за то, что не хотел перейти к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может и, как царский подданный, хотя и в плену, должен исполнить к царю и к христианству свою обязанность. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и назвали его батырем, то есть по-русски богатырем».

Об этом случае немного говорили, пишет Достоевский. Я же хочу напомнить сейчас о другом герое, о котором и еще меньше говорили. И не все газеты писали. Даже имя его выпало из памяти.

Это было всего несколько лет тому назад. Преподаватель военного дела в средней школе, офицер в отставке, собрался объяснять на уроке устройство гранаты. Выдернул чеку, и тут к ужасу

своему понял, что граната эта — не учебная, а неведомо как затесавшаяся между учебными, самая настоящая граната, которая сейчас и взорвется. Учитель успел еще, если только верно мне припоминается, выглянуть в окно, чтобы посмотреть, нельзя ли выбросить ее наружу, но и там играли дети, и тогда он, как только мог, сильно прижал своим телом гранату к стене, чтобы она, взрываясь, не причинила никому, кроме него, вреда, и так и погиб. Все это случилось так быстро, что рассказать — несравненно длиннее.

Если вкрались в мой пересказ какие-то неточности, я прошу тех, кто знает лучше, извинить меня. Но главное, главная суть все равно останется.

И я утверждаю, что погибший учитель был настоящим героем, из тех редких, имена которых мы должны были бы вечно помнить, как спасителей своей страны, и хочу показать, что подвиг его в своих самых основных чертах сходен с тем, какой совершил Фома Данилов более ста лет тому назад, что суть их — одна.

А для этого нужно восстановить в деталях обстановку, в какой совершил свой подвиг наш новый герой. Конечно, восстановить обстановку не в психологических деталях, о которых мы ничего не можем сказать, зная происшедшее лишь в главном, а в тех деталях, без которых не мог бы и совершиться сам подвиг. Тут надо постараться обойтись без малейших домыслов.

И вот что же можем мы предположить, не зная внешних деталей самого события, а судя только по общему смыслу его? Вот самое существенное и неожиданное: для нашего героя, офицера в отставке, какими обыкновенно и бывают школьные военруки, происшедшее не было неожиданностью. Но как, в каком отношении? Он ведь и в мыслях не допускал, конечно, чтобы среди учебных гранат могла попасться граната боевая, да и вероятность этого была равна нулю. Стало быть, и как-то подготовиться к случившемуся было совершенно немыслимо — немыслимо, коль скоро такого и в мыслях отдаленно не могло быть. Значит, случай этот, обнаружение боевой гранаты в действии, должен был застать его врасплох. Так и застал. Конечно! И тем не менее, судя по исходу, я берусь утверждать, что происшествие не было неожиданным для нашего офицера. И тем основательнее не было оно неожиданным, что никак не мог он ожидать его, не мог ожидать именно вот этого чудовищного случая (объясняющегося, как всегда у нас,— почти с полной вероятностью можно сказать это,— чьей-то вопиющей к небесам, а притом «мелкой» безответственностью). Именно вот сейчас не мог ожидать его. Потому что можно и без всяких домыслов предположить, что случилось все это среди сугубой прозы жизни,— начался урок, все галдят, надо успокаивать шумящих и веселящихся где-нибудь по углам школьников, реплики, обычный бардак, который трудно утихомирить,— как проходят такие военные уроки, тем более помнят почти все. Наконец, утихомирились ненадолго, началось... и кончилось.

Как бы то ни было, и здесь житейская проза. И, скорее всего, так незаметно и прошла бы жизнь. Жизнь, которая несла в себе меру смысла такую, что окружающие не могли и отдаленно подозревать о том, равно как и он не мог подозревать о том, что выпало ему «от судьбы». Так вот проза с одной стороны, и с другой тоже. А посредине этот подвиг. И случай, которого наш герой явно не ждал и не мог ждать и которого он тем не менее ждал и к которому вполне приготовился.

Так как же он приготовился? Приготовился, зная о смерти, зная и помня о ее лютой неминучести, зная и помня о ее окончательности и бесповоротности. И зная и помня о ней как о своей смерти. То есть не вообще о том, что люди умирают и что этого не избежать, а — вполне ясно и отчетливо — что это вот я умру и что этого мне не избежать. Это ясное знание и ясная память. Но как знал и помнил он об этом? Если иметь в виду сугубую и тысячекратно затрудненную нашу в своем повседневном течении жизнь, то он знал и помнил совсем о другом — о том, что заедает нашу жизнь и забывается на следующий день. Об этом он не мог не знать и не помнить всякую минуту просто по обстоятельствам жизни всех нас.

Так как же знал и помнил он о смерти? Эти знание и память — в ином слое личности, куда более фундаментальном, основном. Невольная память о всяких нужных ненужных пустяках только потому и не перебивала того знания о смерти, что это знание и память покоились в ином слое личности, живущей уже ради главного, а не тратящейся на пустопорожнее, на всякие махинации поверхностного мгновения.

Так вот это знание в нашем офицере было отчетливым и непреложным. И еще мало того, что то была память о своей смерти, которая непременно наступит. Еще это было знание о такой своей смерти, которая когда наступит, то вполне вероятно, что наступит не ради себя, а ради общего дела. Вот важнейшее свойство этого знания и этой памяти у нашего героя — что эта моя смерть придет не со стороны и что она, вполне возможно, будет смертью за других и ради других. И вот это знание и память были настолько прочно воспитаны в нем и так вкоренены в него, что тут и можно сказать, что он подготовился к неожиданности и неожиданность не была для него неожиданной. В обыденности жизни смерть, конечно, потребовала его для себя совершенно неожиданно, но был такой слой, где он всегда ждал этой смерти. Пусть и не думая, и не помня о том. То есть то было знание, которое уже совершенно сделалось жизнью, перешло попросту во все его бытие и существование. Оно-то — то именно, что оно, это ожидание смерти, перешло в само существование и могло как-то даже забыться внутри этого существования, войдя в него и проникнув собою его,— вот это и была самая отличительная черта нашего героя, его подготовленность к встрече смерти и к совершению подвига.

А чем же он был подготовлен к смерти и подвигу? Конечно, всей своей жизнью. Ведь наверняка воевал он и на фронте, а если и нет, то этот боевой опыт был вполне восполнен иным — все-таки таким своим глубоким погружением в свою профессию, что это было бытие вместе со смертью и в ожидании ее (и как раз очень важно, что не на поверхностном слое, где бы смерть беспрестанно и всегда помнилась и только разъедала существование мыслью о себе). Это бытие вместе со смертью — ведь совсем не то, что, скажем, писать о том, что смерть всегда внутри меня,— конечно, и писать об этом хорошо, если хорошо получается, но все же такое хоть чуточку разлагает, как бы расслабляет весь человеческий организм и, скорее, готовит к смерти слабой, от усталости и от жизненной утомленности, от болезней, от немощи, наконец от пресыщенности днями. А тут была смерть, если можно так сказать, хорошо натренированного, вполне профессионального человека, который по долгу службы так хорошо готовился встретить смерть, что эта готовность перешла в самое бытие и существование его и совершенно молча сидела внутри него. Готовая ко всякой неожиданности. И всякую неожиданность превозмогавшая своим без меры терпеливым ожиданием.

Но и профессионализма мало. Потому что хорошо известно и то, как может разлагать личность и душу любой профессионализм — оборотной своей, циничеcкой стороной. Всякими — а мне наплевать, а мне все равно, что будет,— одним словом, всякими соблазнами, которые помогает выработать профессия, если она не переходит во внутренний долг личности, то есть тоже в свою очередь не откладывается во внутреннем слое личности. Еще нужны, кроме профессионализма, верность своей профессии, какая-то слитость с ней, причем по возможности тоже без всяких лишних слов, уверений и заверений.

Поэтому если кто подумает, что вот он, наш герой, поступил так-то и так-то, потому что был человек идейный и воспитанный всей нашей эпохой, то ошибется непременно. Что воспитанный всей нашей эпохой,— коль скоро допускала она воспитание, выработку такого человека, такого героя,— это верно, а вот что до идейности, то сама по себе она в голом виде была бы тут такой же помехой, как и всякая внешняя высказанность, как и всякий посторонний, поверхностный момент, который только засоряет память и мозг в их обыденной деятельности как ненужная, лишняя инстанция. Вот в эти три секунды, когда надо было все решать, и принять, и исполнить свое решение, тут было не до идейности, и не до правильных лозунгов, и ни до каких лозунгов. Если бы еще время было подводить свою идейную платформу под свой поступок, так наш герой все подводил бы и подводил ее, пока не погиб бы, но не один, а вместе с другими, не спасши жизнь других, но только погибая как бы от непредотвратимой случайности. А он ведь тем и герой, что в этой случайности сумел за двери секунды предотвратить вообще все, что только можно еще было предотвратить в ней, — пусть и ценой своей принесенной в жертву жизни. Так он и поступил.

Но и инстинктивно так ведь не поступить! Никто инстинктивно не пожертвует собой. Вот представить себе, что инстинктивно он мог бы спасти себя,— это можно! Ну, выпрыгнул бы из класса — в дверь, в окно,— и погибли бы только другие, кроме него. Значит, две вещи сильно мешали бы подвигу и препятствовали бы совершению его,— это, во-первых, все, разлагающее сознание, все, размягчающее его, расслабляющее, вроде жалости к себе и такой поверхностной разъятости смертью, какая бывает, и, во-вторых, всякая мысль, которая ворвалась бы сюда, как постороннее, со стороны. Но ничего этого не было.

Была только решимость совершить подвиг. И эта решимость уже была, и она уже вполне сложилась до подвига, она вошла в глубокое знание и в память, как нечто такое, что вовсе не требуется вспоминать каждый день и каждый миг. Потому что, опять же исходя из наиболее вероятного, можно предположить, с почти полной вероятностью, что наш учитель не был склонен ни говорить о смерти, ни вспоминать о ней. Однако была необходимая решимость и уже было заготовлено впрок и наперед нужное решение, потому что когда наступил сам этот миг, то хотя мы и говорим — вот принял решение, но решение было принято еще за несколько, за много лет до того, а чем занимался он в отведенные ему две-три секунды, так это проверкой правильности и единственности его в применении к конкретным условиям; надо было отбросить иные варианты (или, может быть, всего один) и оставить задолго наперед заготовленный.

Вот эта давняя, заготовленная и глубоко упрятанная на всякий случай решимость и предопределила подвиг.

Так вот некоторые из моментов этого предопределения:

это знание и память о неминуемой смерти;

это знание и память о своей смерти, что куда конкретнее и, так сказать, совсем близко к «телу»;

это знание и память о смерти за других и ради других, ради общего дела и его спасения,— ведь в принятой задолго и наперед решимости только это и могло заключаться, не какой-то ведь конкретный случай самопожертвования ради других, а именно это общее дело.

Вот все это и сложилось в такую установку, которая тихо дремала и дожидалась своего часа,— если только можно сказать «дремала» об этой натянутой тетиве, с которой каждый миг готова слететь стрела. «Дремала» только в том смысле, что не мешала обыденной жиз-

ни, в которой, естественно, не было и мысли ни о каком подвиге, ни о каком геройстве.

И эта смерть ради общего дела, которая воплотилась в подвиг,— она, конечно же, воспитана общим делом. Наш герой находился еще в до крайности невыгодном положении по сравнению с теми, кто воевал и совершал подвиги на фронте: ведь там по большей части и вся обстановка, и все настроение были иными, и смерть, гибель были не за горами, и в бою приходило то преодолевающее страх воодушевление, которое на крайнем душевном подъеме и с полным самозабвением и самоотвержением позволяло бросаться на амбразуру дота. Но ведь тут все подготавливалось всесторонне, и общее было не за горами, а здесь же рядом и перед собой, как общая же, слишком очевидная цель.

А наш герой, напротив, совершенно выброшен из этой обстановки и атмосферы и брошен совсем посреди нашей плоской и прозаической, отвлекающей от всякого героизма действительности. А он сохранил всю эту память и всю свою решимость, и как все это оказалось нужным и в мирное, такое беззаботное и внутри себя безмятежное время — такое безмятежное время, что есть досуг порассуждать, например, о бесполезности в вреде героизма, как приходилось уже слышать теперь. И на самом деле, к чему героизм? Ну, было бы смертей на пять, на десять больше, чем есть, ведь не разнесла бы граната весь класс, ну убила бы пять человек, ранила бы десять тяжело, еще десять легко, вот и все, ну написали бы, что вот такой несчастный случай произошел, что ничего нельзя было сделать, посожалели бы и забыли все... А так у нас есть герой, человек, совершивший подвиг в таких условиях, когда совершить его труднее всего, в таких, когда ни решений принимать некогда, ни обдумывать что-либо. Даже куда печальнее расставаться с жизнью так, чем, например, толстовскому герою, которого убивает пуля и он в последние исчезающие доли мгновения успевает еще подумать о невообразимо многом, как предполагает Толстой. Есть в такой совершенно мгновенной смерти еще какой-то малый прощальный дар жизни. А так, как умер наш герой, нет у него и этого дара — потому что при всей чудовищной, непредставимой для нас неожиданности случая, когда необходимостью стало вдруг и сразу опрокинуть все свое, все свои силы и всю личность, на это вот дело (потому что иначе, как делом, профессионально осуществленным, это с известной стороны и не назовешь!), думать о чем-то другом, надо полагать, и не было никакой возможности, и как вдруг слетела с давно натянутой тетивы эта стрела, так она и понеслась, стремительно, и унесла с собой мгновенно затухшую жизнь разорванного тела... Как много можно совершить в один только, по человеческому счету, миг и какой полнотой смысла озарен бывает он!

Так подвиг этот весьма сходен с подвигом Фомы Данилова. И что отнимается у одного в чем-то одном, то прибавляется в другом. И Фома Данилов тоже заготовил свою решимость наперед,— хотя у него и было время думать и решать, но не будь наперед задуманной и прочно усвоенной в глубь существования и в глубь самого тела решимости, ему, конечно, нельзя было бы ни принять решения, ни твердо держаться его. Нет, надо было до конца слиться со своим решением, а тогда уж держаться его. Все идейное помогало ему, а не отвлекало его, оно звало его вовнутрь души, а не на поверхность жизни к тому, что думается каждый день и всегда. Все четыре «пункта» из тех, что предопределили подвиг нашего нового героя, не могли не присутствовать и у Фомы. Может быть, я что-то упустил и чего-то недосчитался, но эти моменты, кажется, непременно должны были наличествовать здесь и в самой глубине души определять решимость быть стойким и держаться раз и навсегда принятого. Фоме Данилову было легче все обдумывать и все крутить в своей голове,— но ведь обдумывал он не свое решение, которое уже было принято раз и навсегда, а он мог вспоминать все иное, все перебирать в своей голове, расставаться со всем тем, что решился он навсегда оставить, и тем труднее ему приходилось, что со стороны подступали к нему и обступали его все новые соблазны, ибо стоило только подать самый малый, самый слабенький знак, как все было бы для него «спасено», и не надо было бы тогда ни с чем расставаться, ни с чем навеки прощаться в своей голове, в своем безмерном одиночестве, все было бы сохранено, о чем рассказывает нам и Достоевский, говоря о том, как мог бы поступить Фома Данилов, и даже без большого сокрушения и без особого обременения своей совести. Но он твердо решил так не поступать — ради православия и ради православного народа.

Наш учитель тоже не колебался в своем давно принятом решении жертвовать собой ради общего дела, и не было в нем ни малейшей слабинки, ибо, явись хоть самая маленькая слабинка, хоть самая маленькая трещинка в душе, и обстоятельства были таковы, что не составляло труда воспользоваться ими. Туда, в эту трещинку, и устремились бы соблазны спасения или хотя бы слабовольного пасования перед ситуацией, когда ни себя не спасешь, ни других. Не было и признака хотя бы малейшей слабинки в нем...

Так что же Смерть? Враждебна ли она жизни? Смерть, где твое жало?

Если судить по вероятности, то наш учитель и наш офицер был, конечно, атеистом и думал, конечно, что он атеист. И этим он, казалось бы, сильно отличался от Фомы Данилова. И все же тот, унтер-офицер прежнего времени, все равно что далекий брат ему — далекий брат, не дальний родственник, он подает ему руку через время и пространство.

Тут можно, конечно, провести, кстати, линию различия между безбожником и атеистом — против буквы слов, которые слишком явно значат одно и то же; но чего не разделит логика культуры?! Безбожник — это, скорее, персонаж междувоенной поры, скрипящий и скрежещущий зубами на всех безумный тип, попирающий общие святыни,— в таком-то трудно «воспитать» того, кто положит жизнь за други своя. А с войной наступает, должно быть, другая пора, и приходит другой человек, хотя среди военных, наверное, сохранилось и достаточно богохульствующих скалозубов и идейных ненавистников веры,— все равно это как-то перемололось и атеист выглядит, скорее, человеком, не верующим по инерции, по общепринятости, по долгу службы и, главное, потому, что вообще так и все так (и это главный аргумент).

Не из книг, а от самой жизни как-то услышалось уже нашему герою начало: «Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее...» (Марк, 8, 35).

А что же теперь нам сказать себе? Нам, поглощенным теперь такой невиданной, небывалой погоней за жизнью? Какими неисповедимыми пока путями жизнь будет готовить новых героев и новых подвижников из числа нас? Тех, что будут жертвовать собою ради общего дела?

РАЗВАЛИВАТЕЛИ - САМОСТИЙНИКИ И ОБЪЕДИНЩИКИ-ИМПЕРИАЛИСТЫ

Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?

Пс. 2, 1.

Время раздирать, и время сшивать...

Екклесиаст, 3, 7.

Когда «включена» механика разрушения, она продолжает действовать и помимо желания людей, которые давно уже ищут путей позитивного строительства жизни, а механика продолжает свое машинообразное дело.

А что значит «включена»? Это значит, что высвобождены такие новые и небывалые стихийные силы Истории, в которых и в самой малой степени не отдавали и не могли отдавать себе отчета люди, «включившие» механику. Они сами в тот же миг и были обмануты Историей, которая посмеялась над ними, делающими историю, посмеялась в том смысле, что вот, мол, вы думаете, что делаете великое дело, а сами, не ведая того, делаете дело великое, в сравнении с которым ваше сознательно совершаемое великое дело — совсем малое. Что такое оно малое, такое исчезающе малое при своих небывалых притязаниях, что вот сейчас же, говорит История, возьму и оберну его такой узостью, что в нее вместо всемирно-человеческих планов и обетований едва пролезут корыстные и близорукие интересы совсем уж небольшой группки людей, которые те будут зато отстаивать уже оголтело и слепо до последнего: после нас хоть потоп и после нас хоть трава не расти. Даже до глумления над самой пословицей, которую ловят на слове,— и трава не везде уж растет...

Какие бы подлинно добрые намерения ни были у людей, тяжка их судьба и странны последствия, пока включена механика разрушения — начатого подрывания, и разрушения, и разваливания того, что есть. А как остановить или «выключить» ее, если в ней есть своя «метафизика», есть своя неподвластность обыкновенным человеческим усилиям с природной стороны, какими бы сложными и тонкими расчетами ни пользовались люди.

Мы ведь в жизни то и дело, на каждом шагу, оказываемся перед лицом окончательности, которая часто заставляет нас, словно оглушенных, замирать перед совершившимся,— мы, бывает, и обижены, и оскорблены, и ошеломлены всей его непоправимостью. Вот, например, кто-то не закрыл люк, как положено по самой простой служебной норме и инструкции, и в колодец упал и сварился в кипятке ребенок. Нелепая окончательность, зловещая в своей непоправимости. Или окончательность смерти, в которую упирается жизнь каждого из нас. Смерть уже не назовешь вещью просто нелепой,— нелепой она может казаться лишь как факт в жизненном ряду, сама же она есть та непоправимость, которая своим непременным присутствием в нашем существовании должна была бы и освящать его, и его освещать... Освещать — в ясном свете своей непременности показывая нам подстерегающую нас повсюду окончательность и непоправимость, возможность творить непоправимое, непоправимо-нелепое. Уж хотя бы непоправимое, явно непоправимое не творить... Они не ведают, что творят. А мы ведаем ли, что творим?

И вот в обстоятельствах, когда продолжает, и против сознательной воли ныне здравствующих людей (среди которых прямых злодеев так же мало, как и во все времена), твориться разруше-

ние, наша задача, может подуматься, не в том, чтобы задумывать, и планировать, и рассчитывать что-либо великое или малое, и не в том, чтобы проводить в жизнь какое-либо заведомо правое дело, а в том, чтобы со спокойствием и с большим терпением наблюдать, как продолжает твориться по инерции и механически кривое и нелепое, и пытаться по ходу дела выправлять кривое, а, невольно соучаствуя в кривом, стараться в то же время изо всех сил образумливаться, и вспоминать себя, и в каждый миг внутренне останавливаться: что́ я делаю?

В такое время, когда нашу страну разваливают, и раздирают, и рвут на части, может быть, самое первое — не яриться со своей стороны, а вспомнить даже и Екклесиаста, сына Давидова, и подумать, что, наверное, это время такое наступило — раздирать, а потом наступит другая пора, и эти же люди сошьют разодранное.

А затем подумать, во-вторых, что, наверное, полезно показывать кривое в делах раздирателей и показывать им тщету их дел. Не в том простоватом смысле тщету, что вот, мол, вы все равно напрасно раздираете, мы вам не позволим и шапками закидаем. И, конечно, не с позиций Госплана и экономической выгоды или правовых норм пробуя демонстрировать невыгодность раздирания (потому что, раздирая, не ждут ведь только материальной выгоды), при этом объявляя блокаду самим же себе, нанося ущерб всей стране, то есть самим же себе, а тем самым, следовательно, соучаствуя в раздирании!..— способ, подсказанный нетерпением к раздирателям.

А, в-третьих, примириться и с тем, что у раздирателей и разваливателей тоже человеческая манера рассуждать, как и у нас, слишком человеческая, то есть что она всегда слишком хорошо укладывается в логику суеты — сегодня лечат, завтра калечат, и вообще все то, о чем так мудро рассуждал, наперед, еще до всякой пресловутой всемирной истории, Екклесиаст.

Не нетерпением можно что-то исправить, а великим терпением.

И не великими планами построения чего бы то ни было, но великим терпением к творящемуся.

Потому что ведь только от нетерпения и спущены все механизмы разрушения, самодействию которых еще ни в чем не удалось воспрепятствовать.

Вот когда мы покажем кому-либо и убедим кого-либо, что он творит самую обыкновенную суету и что он творит ничуть не лучше того, что было бы наоборот и что уже было наоборот, то этим мы уже сделаем полдела, хотя бы ничего и не исправили. Этим мы сведем его дела к тщете и обыкновенной нелепости, как в математике иногда доказывают положения, сводя противоположные им к абсурду.

А вслед за доказанной обыкновенной тщетой и суетой потянутся обыкновенные же обман и самообман, и самоупоение, и то воодушевление, чтобы не сказать «энтузиазм», без которого человечеству не удается творить ни красивые, ни даже самые некрасивые дела.

Однако, сводя к тщете и суете чужое, то, что творят другие, мы, разумеется, должны помнить, что и мы не лучше их, то есть что и наша логика человеческая, и не более того, и что это по нашему чисто человеческому разумению, и не более того, мы спрашиваем других: а что, может быть, лучше и не раздирать сшитого и не рвать цельный хитон, может быть, лучше оставить, как есть? Может быть, поглядевшись уже на суету и поначитавшись о ней (со времен Екклесиаста и до наших дней), чего-то попросту не делать, не делать лишнего? И если, к примеру, мы видим ценность в российском государстве и правоту и правду в том, как создавалось оно и создалось, то и это чисто человеческое, это наше чисто человеческое разумение, и не должно нависать оно над кем бы то ни было грозным утесом, усиленное танками и авиацией. Потому что если есть правда в российском государстве, то это уже не просто наша правда, и положимся же на то, что она тогда и выше нашей суеты, и выше тех сил, которые мы могли бы собрать для его защиты. Как то неоднократно и обнаруживалось в истории. Стало быть, даже и над раздирателями не должно оно нависать грозным утесом, а должно просто стоять в сознании своей правоты и ждать, пока угомонятся народы и пока вразумятся цари и научатся судьи земли. Потому что ведь настоящая правда стоит нравственной силой терпения. И даже смирения. («Даже» — потому что так трудно достижимо оно, если и обычное терпение в жизни «вещь» самая редкая.) И потому что ведь даже и вся сила нетерпения, какую бывает необходимо обрушить на врага, хороша и крепка не слепой яростью, а тем смирением перед окончательностью и непреложностью смерти, какую необходимо постичь в себе и усвоить душой и телом, чтобы жертвовать собой ради победы, ради общего дела.

Поэтому я даже считаю, что российское государство, несмотря на все нынешние нестроения, как стояло, так и стоит. Стоит своей правдой и по своей правде — какая в нем есть. И если его бранят «империей», то пусть эта брань ляжет на человеческую сторону, и поделом, коль скоро ничто человеческое не делалось без тщеты и суеты, без лишнего и без обид, так почему и не бранить эту тщету. Ведь тот, кто бранит чужую суету и тщету, бранит и свою,— хотя, пожалуй, полагает, что въезжает на коне в историю, триумфатор, или идет с мечом, судия, и разуму-уму заря; и это все уже всегда бывало.

Я поэтому должен сказать (хорошо сознавая, что мои мнения ровным счетом ничего ни для кого не значат и подчеркивая это), что, как мало кто, сочувствую, например, и украинской самостийности. Потому что уверен в том, что если есть украинская правда, то и она ведь крепко стоит в своей правоте. И я даже глубоко уверен, что и эту правду нечего разбавлять и разжижать нашей человеческой тщетой и суетой. И нечего из-за нее яриться кому бы то ни было. Потому что если есть правда, то она утвердит себя и без политиканства, и без поспешательства, и без оскорблений других, и даже без таких «мелочей», чтобы священников закалывать вилами и брать штурмом храмы (притом так называемые «действующие», между тем как есть столько «недействующих», которые давно бы пора взять штурмом, отняв у явных нечестивцев,— но это я к слову). И если уж говорить об Украине, то ее правда, настоящая несуетная, сумеет как-то соединить, и совместить, и перемолоть, например, и то, что трудно совместить для людей,— например, духовное и нравственное наследие православного казачества и наследие униатства.

Вот в сознании такой правоты и правды и русской, и украинской, и любой иной, в сознании того, что правда такая стоит и устоит, и даже тем лучше, чем меньше мы будем теребить эту правду и дергать за рукав, поторапливая поскорее объявиться во всеуслышание и для окончательного бесповоротного торжества, и что даже тем крепче устоит она, чем меньше мы будем раздирать свою-то правду, в таком сознании всем нам, я думаю, всем нам надо поостыть, и понабраться терпения, и даже призадуматься над тем, что такое терпение. Ведь и оно — из тех нравственных сфер, о которых, как говорят, мы сильно подзабыли, пока огнем и мечом, выжигая свою собственную землю, утверждали свою суетную, близорукую и страшно корыстную, как выяснилось, малую правду-кривду. Нам не свою правду проводить — и утверждать при помощи даже самых благоразумных мер — а свою кривду старательно и терпеливо, только терпеливо выправлять. Терпеливо уже вот почему — как только проявим мы нетерпение, так и поможем делу разрушения: ведь в такой уж исторический период мы вступили, где эти силы разрушения развязаны, и механика разрушения продолжает действовать вовсю. Вот только проявить нетерпение, пусть и в самом добром деле, и все это будет пища и подкормка для машины разрушения.

И коль скоро есть такое сознание правды — многообразное, но такое, что нам самим в суете не слить многообразие в гармонию,— то мне сейчас даже расхотелось на кого-то раздражаться, пытаясь от себя уличать в тщете мыслей и дел, расхотелось на кого-то обижаться и отвечать репликами на явно злые слова. Вот немножко поудивляться, кажется, можно.

Поудивляемся вместе, но без раздражения.

Почему, например, людям и народам хочется все делать только по отдельности? И даже в делах самых святых и бескорыстных? И там, где никакая религия не разделяет? Например, если ставить памятник ста тысячам загубленных немцами евреев, то непременно отдельно от двух или трех тысяч неевреев, загубленных тогда же и в том же месте? Разве рядом с колоссальным памятником надо воздвигнуть еще маленький, пропорциональный количеству принесенных жертв? Какие, казалось бы, пропорции и какие счеты в таких делах? И какие национальные отделения? Которым ведь, отделениям и противопоставлениям, стоит только, как мы знаем, положить начало, и конца и края им не будет. А особенно если начать отделяться и противопоставляться в делах тонких и нравственно-духовного свойства. Чем тоньше начало резания тут, тем грубее конец: великое дело национальное самосознание и его рост, и великое дело явность национального лица, но если начинать с отталкивания других, с резания других, то в каком же свете выступает это национальное лицо? Одни не хотят общего в памятнике, другие режут инокровных, третьи рвут тело Церкви.

Когда на Украине говорят теперь о геноциде украинского народа, то о геноциде русского народа забывают и не хотят знать. Получается даже, что это русские искореняли украинский народ и губили его. Ну а кто же искоренял и губил русских? Уже такого вопроса, казалось бы, достаточно для того, чтобы искать виновных не между русскими и украинцами как представителями своих наций. И тем менее тогда почвы для того, чтобы яриться на русских, на москалей или на «синов поросячих», как прочитал я в стихотворении на одной из больших площадей в Киеве. Как людям с одним корнем и одной кровью делиться на сынов поросячьих и чьих-то еще!?

Но ведь известно, что поскольку никто не может предъявить каких-либо претензий или каких-либо обвинений русской нации как нации и поскольку решительно все твердо и до глубины души знают это (даже когда держат такое знание про себя), то в итоге дело всегда сводится к разговорам об «империи», а уж затем к русскому языку, на который начинаются гонения. Он всегда и остается — за все в ответе — самым последним козлом отпущения. И здесь, где «все» так пострадали от государственности русского языка и его засилия, забыв и о его культурной роли и о преимуществах владения им (и потому теперь и не учат его, и не учат ничего взамен его, и дремучее невежество тут и там возводят в добродетель, позабыв, впрочем, и это последнее слово, — сколько от этого дубоголовых безъязыких неучей-лентяев приходится теперь принимать под свое крыло нашей армии, об этом могут порассказать, и порасскажут еще свидетели), — и здесь выступают и ругаются против русского языка, и за границей, где он тоже в чем-то провинился.

Тут было бы самое место поговорить и о действительном всесилии языка и всего языкового в человеческом сознании, и о том, почему и путями каких по-своему логичных выворотов все беды

лик нашей жизни и зовет нас к ответу — каждого перед самим же собою.

Мы не помним и не знаем смерти, стараемся и тщимся вообще забыть о ней, мы помним только чужую, не нужную нам смерть и тогда не ставим ее ни в грош. Так как же высок этот наш герой: мы еще даже не вспомнили о Смерти, а он помнил и знал о ней так глубоко, что ему даже и не приходилось вспоминать о ней.

И это могла быть такая скромная, умеренная и неприметная жизнь, что она могла бы кончиться и никто, почти никто бы и не узнал о ней. А она кончилась подвигом, который ярчайшим светом покрыл всю жизнь этого героя.

И сколько таких никому не ведомых подвижников, быть может, еще живет среди нас!

«Размах разрушения беспримерен — весь мир осветился бы этим адским пламенем, соберись воедино все те пожары, в которых горела наша культура и продолжает гореть. Еще не выгорела, не испепелилась вся — это ли ие чудо? Это ли не свидетельство истинности и святости ее? Поруганная, распятая, прошедшая через крестные муки русская культура жива — ибо причастна жизни вечной, и это рождает веру в воскресение ее величия...» (Михаил Савицкий, «Литературная Россия», 27 июля 1990 г.).

ЕГО НИКТОЖЕСТВО И ЕГО НИЧЕЙНОСТЬ

Нічийному майбутнэ по-коліно...
Василь Лелек.

Что это за персонажи такие, и есть ли они на свете, и какая в них надобность?

Я думаю, что они есть.

Те, кто не верит в существование дьявола, могут теперь обнаруживать на земле следы его деятельности. Даже и тот, кто верит в существование дьявола, все равно может теперь обнаруживать на земле следы его деятельности.

Именно так существует дьявол. Ему не надо доказывать свое существование. Если Гегель читал лекции о доказательствах бытия Божия, то, напротив, дьявол всегда готов читать лекции о доказательствах своего небытия. Он был бы рад, если бы люди настолько разуверились в его бытии, что позабыли бы и самое имя его *. Тогда-то встал бы какой-нибудь человек на собрании и сказал: Смотрите! Все, что вы видите, это все сотворили мы сами, мы творцы своей истории, мы настолько сотворили все сами, что сотворили даже и дьявола.

Потому что как же дьявол мог бы придумать сам себя?

Представим себе: как это ничто, то есть совсем пустое место, ничего, вдруг возьмет и придумает себя, и скажет: я — ничто? Да не просто ничто, а Ничто.

Так и дьявол. Так и никто. Как это может быть, чтобы никто вдруг подумал и сказал: я — никто, я — Никто? Что это за самое что ни на есть настоящее творение из ничего? А именно — Ничего из ничего и Никого из никого.

Как бы то ни было, там, где правит Никто и правит Ничье, там они у власти, там они — власти, Его Никтожество и Его Ничейность.

---

* Привожу — в пику дьяволу — свидетельство его существования: когда я печатал ету самую фразу, то на словах «был бы рад, если бы» у меня стала выскакивать лента, хотя до етого я напечатал с этой лентой странни 150 и она не выскакивала. И успокоилась лента — и дьявол тоже — только после етого моего доноса на них. К сведению ученых комиссий и комитетов по НЛО.

Когда очередной ребенок падает в очередной незакрытый люк — пример нетипичный, потому что редкий, но регулярный,— это след деятельности Никого и Ничьего.

Когда автомобиль переворачивается на ухабе там, где должен быть асфальт, это следы деятельности Никого и Ничьего.

Канал, достроенный на половину и на две трети, потому что с самого начала никому ие нужный,— тоже.

То, что находится на месте б. Аральского моря,— тоже след деятельности Никого и Ничьего.

(Некоторые говорят, правда, что это будто бы след деятельности коварного Минводхоза и товарища Полад-заде, но я склоняюсь к тому, что это из какой-нибудь восточной сказки сюда приплелась любовная пара и не относится к реальности. Как и все сказки Шехерезады. Так можно ведь договориться и до того, что Аббадонна какая-нибудь или сам Галиматья виноваты во всех наших бедах. Нет: виноват Никто. Его Никтожество.)

Циклоп Полифем, когда к нему пожаловал хитроумный Одиссей и назвался — Никто, так и ухом не повел. Ему что кто, что никто. А потом, когда Одиссей выжег ему глаз, то заорал: Никто меня погубил, Никто меня ослепил. Правда, Полифем разговаривал исключительно Гомеровыми гекзаметрами и Еврипидовыми триметрами, то одними, то другими, и для него Никто был Утис. Но ему что Никто, что Утис. Ему что кто, что никто,— все одно, все безразлично. Так и мы. Мы орем: Что делать? Кто виноват? И, когда уже все произошло и все сделано, кричим: Никто виноват, Ничье виновато. Но кто Никто, и кто Ничье? И даже чье Кто?

Хорошо, когда можно писать аллегорию, которую никто не примет на свой счет — никто, кроме никого и ничьего...

Но мы Историю не пишем, а так, как в Баснях говорят...

И прав буковинский поэт: Ничейному будущее по колено. Потому что когда всевластие Ничейности, то и будущим она (думает она) точно так же владеет, все в ее власти. Для нее думать, что ей все лишь по колено,— уже большое снисхождение к каждому из нас. Мы перейдем через море, и сам Никто и осушит, и раздвинет для нас море. Радостно вращается он вокруг себя в лучах своего солнца, увлекаемый своим всевластием.

Но, помилуйте, господа! Ведь у нас самая настоящая абсолютная монархия: один Никто передает свой трон по наследству другому Никто, одно Никтожество — другому Никтожеству.

А уж как это они так делают и как это у них так делается, что никто вдруг возомнит себя великим Никто и великим Никтожеством, это внутренний секрет их общественной организации. Как это осуществляют они творение Ничего из ничего и Никого из никого, я постичь не могу и только изумляюсь, разинув рот. Пусть уж этим займется между делом ученая комиссия по НЛО.

ХРИСТОС-ЭКСТРАСЕНС И ПРОЧАЯ УМЫШЛЕННАЯ ДРЕБЕДЕНЬ

Газета «Вечерний Киев» за 27 июля 1990 года, страница 1:

«Киевский филиал Центрального музея В. И. Ленина (ул. Крещатик, 2).

В наше сложное, полное противоречий время снова встает непростой вопрос «Иисус Христос — Бог, миф, экстрасенс, инопланетянин?..» Получить ответ на него вы сможете, если посетите в 14.00 программу с таким названием. Разобраться в этом вам поможет также новый американский фильм «Последнее искушение Христа».

Это Иисус-то Христос — экстрасенс и прочее, и вот такой вопрос встает «снова»?! Пожалуй, даже больше смысла было бы, если бы устроители такой «программы» не стали звать к себе в гости, а отправились к «нам», которых они зовут к себе, и от «нас» узнали хотя бы то, что в такой-то нелепой форме вопрос ни перед кем никогда не стоял и не стоит, и не встает «снова». Было бы больше смысла сначала протереть себе глаза и посмотреть — а что я такое пишу, и что устраиваю, и куда зову людей?

Но вот этого-то никак и нельзя! Потому что за приглашением на нелепую «программу» тоже ведь стоит своя программа и своя тактика — если и не продуманы они во всех деталях, и не сформулированы, может быть, то ведь исполняются-то неукоснительно, и получше печатных программ, указов и формулировок. И вот эта тактика: как только что-то живое, после десятилетий глумливого вытаптывания святынь начало пробиваться сквозь тяжелый и безжалостный асфальт, так сразу это живое надо облить отравой, в которой оно разойдется и не принесет плодов.

Правда, в такой тактике и не совсем обычный идеологический маневр, потому что тут очевидно и демонстративно выражена готовность расстаться с любой идеологией и принести ее в жертву. Для чего? Для того, чтобы никакая другая «вера» или идеология не «прошла», чтобы уж она-то ни в коем разе не прошла, и не устоялась, и не утвердилась, и не оказалась бы вдруг верой истинной на месте идеологии. И черти ведь все равно веруют, трепеща. Ради этого можно пойти и на парапсихологическое засорение чужих мозгов инопланетянами. Но, конечно, на такой откровенный маневр может пойти только идеология совсем уж разоблаченная, или же разочарованная, если воспользоваться словом Карла Маркса, и разоблаченная, и саморазоблачившаяся в одно и то же время. Торопливо стряхивая с себя обрывки и лоскутки былой маски, она ершится и свирепеет оттого, что ее чисто эгоистические и чисто материальные мелочно-личные интересы не прикрыты даже и фиговым листком. Этим она, увы, содействует нарастающему в обществе всеобщему остервенению.

И откуда же, из каких пустующих залов исходит приглашение и где же это так промывают мозги отравой, — подумать только!

А теперь и о другом, что, правда, торчит все из того же текста. О другом даже и с общечеловеческим оттенком в некотором отношении. Вот о чем: нашелся же кто-то, кто взялся за эту музейную информацию, и, чтобы донести ее до читателей газеты, оформил ее по тем совсем незамысловатым, наипростейшим правилам, по которым оформляются, например, и аннотации книг в наших книгоиздательских каталогах. Ну как там подзавлечь читателя? Время наше уж, конечно, сложное и полное противоречий, и кто станет спорить, что если и встают перед нами какие-то вопросы, так они непростые? Да вот, собственно, и все, что сказано, да и не сказано, собственно, ровным счетом ничего, всего слова два-три. И даже никто не поручится, что эти слова будут иметь какой-то эффект, то есть что кто-то сорвется с места на эту нелепую программу. Но ведь и этого не требуется по правилам такого аннотационно-информационного жанра, а между тем главное сделано, и даже вся нелепость приобрела формально-пристойный вид и благочинно сопряглась даже с проблемами нашего времени.

Боже мой! о каких же пустяках мы так долго рассуждаем? Ну сел газетный работник и сделал поскорее то, что входило в его служебные обязанности, не потратив на пустое лишней крови, и все тут. Но тем самым мы получаем в свои руки не что иное, как молекулу равнодушия, безразличия. Того самого равнодушия, которое попустительствует всему и уживается и сживается решительно со всем. И равнодушие этого простирается очень далеко вдоль и поперек, во всех

мыслимых направлениях. Оно не признает никаких границ и совершенно интернационально, и общечеловечно, и такова беспредельность распространения его в одни стороны. А в другие оно распространяется, видимо, так, что даже и разного рода нетерпеливость тоже вполне с ним совместима,— и разного рода стенания и жалобы на свою судьбу, и причитания на общую судьбу, и всякого рода сетования на то, как везде ничего нет, тоже.

Все это вполне сочетается с равнодушием при одном условии — что вся такая нетерпеливость загорается и живет одним мгновением, некоторым неудобством, которое находится под рукой и под носом; совсем уж близко, как рубашка к телу. И нетерпеливость такая бывает весьма к месту и возникает не без причины, но только у нее все сфокусировано в эту животрепещущую и требующую своего немедленного разрешения проблему, и чем больше сфокусировано, тем больше это нетерпение забывает обо всем прочем и о взаимосвязи вещей, которая по стечению обстоятельств и выбрасывает в известный исторический миг наверх что-то одно, отдельное, в качестве острейшей и не допускающей ни малейшего отлагательства проблемы. Действительно: как жить без мыла? как жить без колбасы? — это для примера, как вещи всем понятные по самым свежим следам. Нетерпение в отношении острейшей проблемы дня может, стало быть, прекрасно соединяться с общим равнодушием — с равнодушием-безразличием, с безразличием даже и к причинам остроты, не с равнодушием, конечно, как с ровностью души и спокойным невзбаламученным взглядом на все. Неравнодушие к чему-то отдельному и даже волнения по его поводу вполне могут оборачиваться глубоким, глубоко въевшимся безразличием ко всему целому. Профессиональный политик так и пользуется этим безразличием-равнодушием, которое способно сидеть внутри самой взволнованности и самого нетерпения; и он к чужой нетерпеливости, так сказать, локального свойства всегда может подвесить свои задачи и свои цели в виде целого «пакета», как принято теперь говорить, и люди, одержимые своей нетерпеливостью, даже и не заметят этого чужеродного привеска, потому что в своей взволнованной нетерпеливости не подумают ни о чем, кроме как о наболевшей остроте, которая их ежеминутно и ежечасно бьет и колет, и сечет кнутом. Нет хлеба — так сделаем революцию. Сделаем, даже и не подумав о том, сколько иных вещей, о которых не успели за недосугом и по равнодушию подумать, переворачивается вместе с решением одного вопроса, да еще и неизвестно, решится ли сам вопрос и будет ли хлеб. Итак, равнодушие вполне может пребывать внутри самого нетерпения и даже заполнять изнутри его хрупкую, эфемерную форму. Даже и гражданский пафос может вполне оказываться формой самого закоренелого безразличия к судьбе целого, откуда, собственно, и проистекает сам патетический запал, и поспешность, и бесстрашие в обращении с вещами, с тем, что есть, и безбоязненный призыв ломать поживее то, что есть. Ну, конечно, это уже не равнодушие в его чистой форме, а равнодушие, переодетое, облаченное в одежды иллюзий, порой даже весьма искренних.

Но держится-то это переодетое равнодушие безразличие, иной раз достигающее неистовства в своей хорошо сфокусированной однобокости, все-таки самым настоящим, несмешанным равнодушием. Вот только что мы наблюдали молекулу равнодушия. Молекулу трудно видеть невооруженным глазом, без какого-нибудь мелкоскопа, и все же газетный работник может гордиться тем, что и эта молекула, прошедшая через его руки, тоже частица великого или тихого океана всеобщего и общечеловеческого равнодушия, не признающего границ. Его, газетного работника, прегрешения тут, пожалуй, не разглядишь и в лупу,— так мало тут личной воли, и так вовсе ничего нет выходящего за рамки самого что ни на есть обыкновенного и общепринятого. И все же это пойманная и застигнутая на месте частичка равнодушия, не что-нибудь еще.

И, застигнув эту частичку на ее месте, все мы можем еще раз с горестным удовлетворением сказать себе: что бы ни было с нашей страной в будущем, какую бы политику ни проводили в дальнейшем ее руководители (спустя лет и пять, и пятьдесят лет после нас), океан равнодушия пока как был, так и остается, а это значит, что найдутся равнодушные проводники любой политики в малом и в большом, — какой бы она ни была, благоразумной или смертоубийственной для страны и жителей ее. Никуда не исчез этот океан вследствие всех революций и потрясений, а только еще шире разлился. И уж куда как широко разлился, если умственный блуд тоже оказывается кстати и если уже сделалось совершенно безразличным, чем прикрываться за отсутствием родного фигового листочка.

Но ведь океан безразличия — это, должно быть, и есть самое желанное для такого политика, который стремится к своим целям, который делает свою доморощенную историю, и есть самое желанное для такой политики, которая творит самодельную историю. Сама История, конечно, нечто совершенно иное, она никак не дает обойти и обскакать себя самозваным творцам истории и, наоборот, всегда посмеется над ними последней. Но, впрочем, дает им срок развернуться в пределах одного, или двух, или трех поколений — в тех, значит, рамках, какие предоставляет ее, Истории, терпеливость людям с их самочинностью, в тех рамках свободы, какие, видимо, заключает в себе История. И этого срока вполне достаточно, правда, для того, чтобы все, что учинили люди в отпущенных им пределах, тоже вошло в большую Историю,— она смеется, но она же и терпит, она терпит, хотя и смеется. Можно ведь входить в Историю, и насилуя, и избезображивая ее.

А теперь, может быть, чуть-чуть понятнее становится, отчего это у нас при всех революционных действиях лиц, провозгласивших новую революцию, спустя несколько лет страна остается опутанной бесчетным, прямо-таки непостижимым множеством всевозможных запретов и всяких все на свете регулирующих инструкций, в которых не разберется ни один человек и сломит ногу черт. И, главным образом, всякого рода запретов и, главным образом, запретов мелких и часто неожиданных. Когда всякий житель страны обязан то и дело бегать в ЖЭК или ДЭЗ за получением разрешения на покупку сахара, или мыла, или масла, то есть за талонами на них. Я сознательно уклоняюсь от куда более частых и отвратительных случаев, когда человек подвергается всяческим унижениям в милиции, жилотделах, сбербанках и т. п. и т. д. Уклоняюсь от них, потому что им несть числа, всякому они памятны в преизобилии, но дело, если угодно, не в обидах, а в метафизике ситуации. В той метафизической стороне, которая, кажется, вовсе упраздняет у нас «прогресс» в этой мелочно-бюрократической или бюрократически-полицейской сфере.

Так для чего же эти бюрократические путы, которые новая революция не снимает, а множит? Вот для чего: они псы сторожевые, и обязанность их — стеречь океан равнодушия и безразличия, прежде всего отвлекая человеческую энергию на себя. Трудно и представить себе, сколько времени и нервной энергии тратит наш человек на всякие житейские заботы, когда ничто нельзя сделать просто и когда ничего не делается само собой. А вот что ничего не делается просто и само собой — это уже «метафизика», то есть, иначе говоря, это обернувшееся бытом, житейской подкладкой, «как бы» заведомо мелкой и плоской, следствие решения сознательно творить историю. Тут же подоспела и шутка Истории: творите же, словно говорит она, отказывая и самым мелочам в незатрудненном ходе (трудно ли, мол, купить хлеб) и выдвигая бюрократа на почетную роль служителя истории, бредущей через пень-колоду. Отсюда привычное состояние: забот полон рот. И даже, скорее, забот, чем зубов.

Итак, бюрократ стережет океан равнодушия, и он не сидит у моря и ждет погоды, но у него погода всегда хорошая, пока из этого моря можно черпать большими ложками — пока любой политик может мелким финтом подстановки извлекать отсюда всенародное одобрение чего угодно. Это ведь так было, так и есть. Хорошо еще, если черпают отсюда ради благих намерений, прибавляя вес почерпнутого к своему авторитету, но ведь никто и никогда, никакой закон и никакой парламент не могут дать здесь никаких гарантий, никакой закон и никакой парламент не смогут предотвратить возможных злоупотреблений. Между тем есть ведь и народ, и есть всенародное,—однако все такое заведомо в стороне и от равнодушия (которое тем не менее все равно ведь разлито в народной массе), и от вечной, непрекращающейся, выматывающей силы и уже губительной, притом позорно навязываемой народу нервотрепки из-за вещей внешних, поверхностных, мелко-житейских, словно нарочно заслоняющих вид на целое. Словно нарочно — нарочно и есть, потому что, не будь это нарочно, вся эта мелкоячеистая сеть бюрократических препон и полицейских органов, держащих народ в ложной покорности и полезном властям равнодушии, давно уже пала бы. Она и так трещит, но пока у нас народ существует для правительства, а не правительство для народа. Народ для системы, а не система для народа. Народ для режима, а не режим для народа. И вот этот режим в глазах некоторых людей все еще предстает высшей ценностью и высшим завоеванием самого же народа.

Однако есть народ и есть всенародное. Только проявляется и может проявиться все это,— так и голос народа, если только это не слишком высокие слова для наших дней,— лишь в стороне от равнодушия и в заботе о целом, которая исключает все это нетерпение по поводу всяких поверхностных частностей и всю привычную уже затрату несоизмеримо громадной народной энергии на повседневные, текущие надуманные заботы. Чертями накачанные. Вот почему так редко может сказать кто-либо у нас весомое и спокойное слово. Спокойное — то есть преодолевшее непосредственную, захватывающую суету жизни, спокойное, то есть глядящее уже со стороны и на все нетерпение и на все долготерпение. Очень трудно было бы кому-либо сказать от лица всех, скажем, всего народа, и не потому даже, что народ перессорился между собою и поселились в нем раздраженность друг на друга и остервенение, а уже потому, что народ рассеялся в водовороте чего-то вроде элементарной борьбы за существование или выживание, где уже не до тонкостей. И все мы продолжаем идти по прежней дорожке,— невзирая на чьи-либо благие намерения и заверения, — по той, по которой покатились вместе с войной, объявленной духу и духовности. Войны такой в прямой форме никто уже не смеет вести, а кто-нибудь так даже не прочь был бы пожить и поблагоденствовать за счет чужой духовности, но вот зато мы уже дошли до самого дна в искоренении, в разрушении всего духовного, самой той почвы, на какой в ином случае и при иных обстоятельствах даже и самое простое дело незатруднено и органично выявляет свою духовность,— всякий простой и честный труд в поле и дома,— на какой всякое простое дело погружается само собою в атмосферу ненарушенной своей осмысленности и оправданности, всякое простое дело рождает и возрождает свою духовность, и тонкость, и вкус творимой по правде жизни.

Всенародное одобрение не получить ведь и способом голосования. Пусть даже и всенародного и организованного

сколь угодно совершенно. Конечно, такое голосование — формализм весьма демократический, выработанный долгой практикой западных, европейских демократий, и далеко этому демократическому формализму, в котором частное и всякая злоба дня невольно замещает и заслоняет существенное, до бюрократически-полицейского формализма, сугубо антидемократического и существенно антинародного, где всякий только барахтается, давно уловленный общей сетью. Далеко и последнему формализму до первого, если бы, например, кому-нибудь пришло на ум выводить его из бюрократии эволюционным путем, однако что же делать в стране и что делать стране, в которой парламентский формализм и механика голосования накладывается на старинные полицейские тенета и вроде бы прекрасно сосуществует с ними, так что одно, получается, вовсе не исключает другого? Что это за новая такая форма антидемократической демократии или полицейски-демократического бюрократизма, или что это вообще? И что это за революция, которая тоже как будто сосуществует со всем этим и ничего из этого не переворачивает и не опрокидывает, как положено ей по своему смыслу?

Хорошо еще, что у нас и не думают теперь ставить памятник Свободе! Уж не покойнице ли, не почившей ли?

Такой-то примитивный вид демагогии, кажется, испарился у нас стремительно, чуть ли не лет 70 тому назад!

Помимо широкого, океански-необозримого равнодушия, массового и молекулярного, которое так пользительно для всякой самодельной политики, крупной и малой, существует еще особая разновидность равнодушия — правительственного и вельможного. Наверное, оба вида равнодушия на самом деле сообщаются между собой, и если верно, будто Жозеф де Местр сказал, что всякий народ заслуживает того правительства, какое он имеет, то хотя бы разлившийся в массе океан равнодушия безусловно заслуживал бы равнодушного правительства. Но вот беда: правительство-то все равно правит народом и страной, а не равнодушной безликой массой. И тут непременно возникают противоречия между народом и правительством, которому удобно управлять именно безликой массой, потому что ведь от нее всегда получишь безличное всенародное одобрение своей деятельности. А раз возникают противоречия, то за отсутствием классиков жанра приходится как-то практически разрешать противоречия в народе, не обращаясь к прежде известному четырехтомнику.

Вот у нас пока есть — по положению на август месяц — правительство, которое уже прославилось тем, что никогда не уходит в отставку и даже ухитряется получать одобрение Верховного Совета. Однако настоящая слава этого правительства все же в ином. Вот в чем: это, кажется, первое правительство у нас, против которого народ страны вел долгую и безуспешную борьбу, доказывая после Чернобыля свое право на жизнь (впрочем, в Конституции не записанное же!). Года четыре это правительство в своей равнодушной улыбчивости вовсе не замечало этой борьбы и, как говорится, оставалось глухо к просьбам и требованиям народа. До сих пор десятки тысяч людей живут в местах, непригодных для проживания, а очень многие, и в том числе герои Чернобыля, не отстояли еще своих прав, среди них и молодые люди, оставившие там свое здоровье — навсегда положившие его ради народа и страны. Ко всему этому правительство оставалось глухо и безучастно, с самого начала окружив Чернобыль, величайшую катастрофу Истории (как иные утверждают теперь), тучами ложной и неполной информации. Какого труда стоило многим, этим подвижникам нашего века, хотя бы рассеять эти тучи, сколько лет ушло у них на это! Так вот оно какое — правительство, которое заведомо занималось своими делами — устройством своих дел — и творило свою малую историю, однако нежданно-негаданно попало в большую Историю.

Все же это правительство войдет в историю и как прогрессивное: если против него боролся народ, так прежние боролись с народом; если это иногда отступало под натиском народа, так те прежние лишь только вели наступление; если прежние кричали на народ и провозглашали лозунги, то это просто было глухо; если прежние хвалили и прославляли самих себя, то это молчало или признавалось в своих трудностях.

Даже у Свифта Лапута,— летающий остров и приподнятая над своей землей столица,— никогда не пыталась думать, что у нее столь идиллические отношения со своим народом.

* * *

Один немецкий философ наших дней, Вольфганг Ширмахер, однажды написал, толкуя философию Мартина Хайдеггера: «Быть смертным не значит не избегать смерти в свое время, но это значит уже при жизни принимать смерть как хранилище Ничто, как шанс полной открытости, дарованный нам. Каждый пусть судит по себе, сколь же мало мы хотя бы пробуем жить как смертные, то есть делая свою смерть мерою смысла и бессмыслицы наших повседневных поступков. Сколько бессмысленных усилий, впустую потраченных дней, как мало подлинных чувств, — кто из нас в час своей смерти сможет сказать, что он жил?»

Вот и задумаемся над этими словами, которые кажутся мне очень хорошими, еще и потому, что в них нет морализма в чистом виде, такой назидательности, которая чаще всего, оторванная от жизненного течения, бывает скучновата и от которой никому ни жарко ни холодно. Нет, здесь все моральное — в связи с человеческой бытийственностью, с положением человека в бытии. Правда, к тому, о чем говорит здесь философ, не обязательно подходить именно от Хайдеггера, однако и то, к чему пришел здесь философ, весьма общезначимо. Ведь смерть — это для жизни каждого из нас столь решающее и неотменимое событие, что перед лицом его бо́льшая часть того, что делали и говорили, пока жили, непременно должна обернуться чем-то мелким, незначительным, несущественным, а тогда и непонятно для чего сказанным и сделанным, — как всякая житейская суета. А что если бы человек попробовал жить по мере своей смерти и как бы вечно перед лицом ее? Ведь даже если и допустить, что смерть — это ровным счетом ничего и за ней заведомо ничего уже не последует и нам никогда не придется отдавать отчета в своей жизни, во всем сказанном и содеянном нами, то все равно смерть настолько существенна (нет ничего более непреложного, чем она), что вся наша состоящая из относительных поступков жизнь оказывается сама собою отчетом перед нашей же смертью как неотменимой и вовек непреодолимой окончательностью нашей земной жизни. Жить перед лицом своей смерти (она всегда и при любых условиях все равно «моя», и этого-то никто у всех нас не отнимет) значило бы то же самое, что жить существенно, или как бы в некоторой приподнятости над своей жизнью, так что к любому слову и поступку каждым бы из нас тотчас же и с самого начала предъявлялось особое, повышенное требование осмысленности, и мы не совершали бы по меньшей мере многих лишних поступков, и не произносили бы многих праздных слов.

Между тем стремлением последних десятилетий было, пожалуй, явно — забыть о своей смерти. И сейчас мы спросим: чьим же стремлением? Очень многие говорят или думают: что я буду думать о смерти и портить себе жизнь? Что я буду раньше времени думать о смерти? Между тем, наверное, было бы полезнее наоборот спрашивать: что я не буду думать о смерти и этим портить себе жизнь? Это ведь, должно быть, и практически верно: для того, кто не думает о смерти и слишком уж страшится ее, она и приходит всегда нежеланная, неожиданная и страшная. Для того же, кто думал о смерти, пусть и пугаясь ее прихода, она все же будет хотя бы не столь неожиданной, пусть и придется не ко времени. Однако человеку кажется, что не думать о смерти—значит както развязать себе руки для того, чтобы быть самим собой, чтобы делать то, что хочется (такие хотения, как мы знаем, в большинстве случаев у людей все-таки самые скромные, умеренные и человеческие и вовсе не простирающиеся далеко), чтобы не обременять себя как бы ненужными и тяжелыми мыслями, чтобы облегчить себе существование, не брать на себя слишком многого и т. д. Вопрос только, будет ли человек «сам собою» при такой облегченности и сниженности своего существования; может, далее, случиться и так, что как только человек сколько-то разгрузит себя, освободившись от лишнего, на его взгляд, бремени, так явится кто-то или что-то, кто нагрузит его совсем уж посторонним, не своим грузом. Тысячи, миллионы растоптанных жизней— они на чьей же совести? Разве безличного государства, безличных организаций, безличных сил?

Да нет же, они все на совести человека — на человеческой совести. Даже на совокупной и многократно усилившейся мощи решений, принятых людьми в своей совести — каждым в своей. Даже на совести тех, кто, приняв какое-то решение, счел нужным вовсе вывернуть свою совесть наизнанку, отчуждая ее вовне, отдавая ее в распоряжение государств и организаций. Не нужно только думать, будто для принятия таких решений требовалась какая-либо исключительная решительность или тем более какое-то личное злодейство и личная бессовестность. Отнюдь нет: это же не кто-нибудь, а мы сами не хотим жить с абсолютной ответственностью за свои слова и поступки, жить, словно неся всякий миг отчет перед своей смертью, это все мы и каждый из нас в отдельности облегчаем и снижаем свое существование, это все мы отнимаем у нашего существования то, чем оно могло бы быть, и довольствуемся всего лишь остатком от того, что могло бы быть. А что же могло бы быть? Опять же только наша же жизнь, жизнь каждого из нас, но только более приподнятая и более тяжелая. Облегчая свою жизнь — а так поступает каждый из нас, тех же, кто составляет исключение, мы по справедливости сочтем праведниками, — мы прочно забываем о том, что этим мы утяжеляем или, может быть, делаем невыносимой жизнь кого-то другого, возможно, человека, которого мы никогда не узнаем и который будет жить уже после нашей смерти, мы совершенно забываем об этом и даже не допускаем до себя мысли о том, что все «сэкономленные» лично нами жизненные тяготы, кто знает, не обрушатся ли, собранные в единую массу всех наших грехов, попущений и послаблений, на головы целого несчастного поколения — наподобие того, как накапливавшиеся десятилетиями попустительства и послабления самого разного рода ударили в 1920—1930-е годы по головам миллионов, одних уморив ужаснейшей голодной медленной смертью, других замучив в пыточных камерах? Вот об этом-то мы твердо не помним и стараемся не думать. Это ведь не наша заслуга, что мы не стали проводниками и орудиями собравшейся в кулак злой воли, а только наше счастье, что это не так, что доля наша более светлая. При условии, однако, что это последнее — так и что, следовательно, мы сами, каждый из нас, давая себе некоторые, вполне человеческие послабления, что-то упуская и чему-то попустительствуя (надо думать, по большей части самым мело-

чам, не стоящим внимания, как это всегда и бывает у людей), не готовим ужасы грядущим временам.

А может быть, уже и готовим, если вспомнить, что мы уже и самих себя, и друг друга обрекаем на экологическую катастрофу, которая ведь разражается не потому, что в этом виноват такой-то и такой-то директор завода, сливающий без очистки в реку промышленные отходы и отравляющий воду, землю и воздух. Ведь любые действия любого директора упираются в человеческое сознание и выступают как его фактор: у директора, положим, нет денег на очистные сооружения или он не желает их строить, а нет денег у него потому, что нет их и у государства — на эти именно цели, а нет их у государства, потому что оно считает, что деньги нужно сначала затратить на другое, а это подождет. Однако государство считает так только потому, что это делает возможным его сознание — такое, какое у него есть, — а это сознание вновь коллективный результат бесчисленных воль, результат, сложившийся сложным и опосредованным путем, но вновь коренящийся в конкретном сознании человека и восходящий к нему. И подобно тому, как есть мельчайшая частица равнодушия, нечто вроде молекулы его, мельче которой ничего уж не представишь, так есть и мельчайшие частицы экологического безрассудства, экологической бессовестности, экологической дремучести, так что отравления в колоссальных масштабах, происходящие по вине какого-нибудь громадного предприятия, непрерывной цепочкой связей соединены с мелкими поступками каждого из нас, с этими плевками и всем этим замусориванием земли, которое с особой интенсивностью и как бы целенаправленно производится на одной шестой части земной суши. Так что наконец вся эта шестая часть и предстает в итоге в позорном и нетерпимом облике Разрухи. Отравленные реки, сплошь замусоренные леса, исковерканная земля, разрушенные церкви, стоящие среди селений, словно только что прокатилась тут война, и все это тяжкое зрелище ничьей земли, изуродованной, как только можно изуродовать достояние заклятого врага, если следовать варварской морали, — почти повсюду и где только возможно. И это все, конечно, безусловно, материальное истечение нашего сознания, потому что несомненно бытие определяется здесь сознанием, нашим, моим, сознанием. И как бы ни было горестно мне, тебе и еще кому-то видеть это повсеместное надругательство над землей и над творениями рук человеческих, все же не чье-нибудь, а наше совокупное сознание воплотилось в этот облик Разора и Разрухи.

Впрочем, кого же тут винить в особенности? Если я стараюсь забыть о смерти, то смерть-то уж никак не позабудет обо мне. А вот чтобы какой-то человек забывал о смерти, старался забыть о ней, чтобы к этому склонялось подавляющее большинство, для этого нужны некоторые исторические предпосылки и стимулы. Когда государство и господствующая идеология приняла на себя задачу бороться со смертью, то есть с мыслью о смерти, с памятью о смерти, — так ведь это и было, — то тут идейным источником послужила слишком уж оптимистическая философия XIX века, даже, вернее, целое умонастроение XIX столетия с его льющимся через край прогрессизмом, который не перешибешь ничем. Мы теперь знаем, что пляски жизни, не помнящей о смерти, на костях незамедлительно привели к пляскам смерти, поразившим бескрайнюю страну. Смертоносно беспамятство, когда речь идет о смерти. Смерть, о которой забыли, всегда придет незваной. Всякое бюрократическое бездушие со своей традицией тотчас же прилепилось и присосалось к этому идеологизированному беспамятству. И плоды этого сложного сочетания мы еще долго будем пожинать, потому что все «удобное» легко переходит из официозной идеологии в жизнь и сознание отдельных людей и отсюда вновь перекачивается в идеологию — наподобие равнодуший массового и правительственно-вельможного. Проникло в плоть и кровь нечто вроде следующей формулы рассуждения: подвиг и жертву ты должен был совершить для родины и государства, а как ты будешь жить потом — это твое личное дело. Это формула, видимо, живуча, и она сохранила свою действенность до наших послечернобыльских дней: казалось бы, разумнее и человечнее было бы считаться с тем, что в число жертв Чернобыля будет записан какой-то лишний больной (недуги которого, слава Богу, никак с полученной дозой радиации не связаны), чем не учесть кого-либо из действительно пострадавших, — но нет! это медики настаивали на том, чтобы не ставить болезни людей, переживших Чернобыль и трудившихся там после катастрофы, в связь с радиацией. Хотя, казалось бы, какой резон врачам, именно врачам, поступать так? Ну, хорошо, пусть связь болезни с воздействием радиации не доказана, но как доказать отсутствие связи? Да и что тут доказывать, когда надо лечить? Не перенеслись ли мы внезапно в какую-то судейскую сферу? И лечат у нас больных или судят? И почему врачам надо было брать на себя какие-то неслыханные полицейские функции, хотя где же это полицейские лечат больных и где это они решают, кого от чего и как лечить? Наверное, только у нас, где бюрократически-полицейские инструкции и вообще связывают по рукам и по ногам врача и где больной прежде всего имеет дело не с врачом, который лечил бы, но с врачом-чиновником, который выписывает бюллетень, то есть справку о болезни, юридический и финансовый документ, который для больного только служит источником нервотрепки и мешает ему поправляться (на совсем худой конец вся «помощь» со стороны врача и будет заключаться только в выдаче этой финансово-юридической справки).

Я вовсе не собирался обсуждать сейчас эти врачебные проблемы — я только невольно с разных сторон подхожу все к одному и тому же: никакие революционные процессы последних лет ни на йоту не отодвинули нас от полицейски-бюрократического устройства государства и не привели хотя бы к какому-то заметному сдвигу нашего сознания в отношении всех этих закабаляющих человека вещей. И это что-нибудь да значит! Отчего же стоят столь прочно все эти устои режима — такие ли уж они крепкие или кому-то это надо? Для человека, взявшегося подводить итоги, я, разумеется, скверно выгляжу, не зная ответа на подобный вопрос. А своими ощущениями и предчувствиями мне бы не хотелось делиться, потому что какие же это «итоги» — ощущения?! При всей неподвижности наших коротких узд, хомутов и поводков нам одновременно даровано и множество свобод — свобода читать зарубежную прессу семи- и десятидневной давности, свобода ездить за границу по приглашениям, тратя безумное время на добывание проездных билетов и обмен валюты, где примерно за 600 рублей, то есть приблизительно двухмесячный заработок, можно получить 100 долларов, то есть сумму, на которую едва ли можно один раз переночевать в гостинице, и т. д. Если им нужно, пусть едут; раз едут, значит, им выгодно и нужно, — так «кто-то» рассуждает, и, действительно, это верно: раз ездят, значит, нужно, раз ездят на таких унизительных условиях, значит, и очень нужно или очень выгодно. Но чрезвычайно характерно, что так ведь не просто рассуждают какие-то выездные чиновники и чиновницы, которые, как правило, отличаются уж совершенно непомерным равнодушием к людям (словно к нелюдям и другой человеческой породе), но и само государство, которое ведь официально установило такие-то и такие-то процедуры, такой-то порядок и именно так полагает необходимым поступать со своими гражданами. Это «мы» в своем государстве — «они»: это мы, когда нам надо, куда-то едем, это мы болеем и лечимся, мы о чем-то рассуждаем и т. д., а для государства все эти «мы» чужие «они» с паспортами, визитками, талонами на сахар и бюллетенями, разнесенные по нужным ведомостям, доставляющие немало хлопот государству, а иногда даже наседающие на его правительство.

И свобода вольно рассуждать — тоже новая свобода, как и парламентаризм, сосуществующий с бюрократически-полицейскими государственными устоями. Не было бы этой свободы, и я бы не рассуждал, и никто не рассуждал бы, и никто бы не выражал своего недовольства правительством и властями, которые ведь и дали тебе и мне эту свободу. И я, конечно, чувствую, как смешно и нелепо ворчать на того, кто именно и позволил тебе открыть рот и начать ворчать... — ситуация парадоксальная, и я сам напомнил себе пенсионерку, которая недавно (я бы мог указать и совершенно точный источник) жаловалась в газете на негуманность помещика, или капиталиста, в давние недобрые времена насильно выдавших замуж за ее дедушку ее бабушку. Ну как тут жаловаться — не выдай помещик бабушку за дедушку, не было бы на свете и тебя, и некому было бы пожаловаться на помещика, а так получается, что помещик выдал и ему же хуже — на него же теперь и жалуются. Как тут быть? Я и сам не знаю как: если власть дозволяет раскрыть рот и рассуждать, то надо же сначала хотя бы поблагодарить за это, а то выходит, что он открывает рот и, не поблагодарив, сразу же начинает ворчать, но ведь не будь разрешения, ты и не ворчал бы, а сидел бы и, может быть, нюнил бы в углу, не зная, чем себя занять, а тут сразу — ругать правительство, власти предержащие, не более и не менее.

Теперь еще несколько слов о смерти и о равнодушии. Настолько велика была эта официальная ненависть и нетерпимость к смерти как факту и явлению, что не только решительно изгонялась она из искусства как признак недопустимого пессимизма, не только мы хоронили (и хороним) людей как скот и затаптываем кладбища и танцуем и пируем на костях, не только забываем умерших и не даем достойно и опять же без унижений умереть друг другу, но и сама смерть вдруг начала казаться вполне преодолимой. И вот поразительный, на мой взгляд, случай — лет 15 тому назад (не теперь, когда можно напечатать где угодно любые небылицы), и не где-нибудь, а в очень академическом и читаемом всего лишь в философских кругах, не более того, журнале, и притом в самый разгар так называемого застоя, один преподаватель философии или научного коммунизма опубликовал небольшую статью, в которой сетовал на то, что у нас хотя и пишут о продлении человеческой жизни (средняя длительность которой, замечу, за прошедшие годы снизилась лет на десять!), но по какой-то непонятной или даже обидной причине никак не ставят вопрос принципиально, а именно не рассуждают о том, что человек может жить вообще вечно, и вовсе не решают практически вопроса о продлении жизни человека до бесконечности. Этого преподавателя почему-то совсем не смутила судьба струдльбруггов, красочно описанная Джонатаном Свифтом, — лет к сто те уж бесповоротно выживали из ума, — а, должно быть, ему нарисовалась иная картина: как не только из года в год, верный как часы, ходит он на свои лекции и семинары к своим студентам в свой университет, но ходит даже из века в век и из тысячелетия в тысячелетие и все читает одну и ту же марксистскую философию или научный коммунизм, и все ходит и ходит, и все читает и читает. Потому что я безусловно не предположу в советском философе

лучших застойных времен тайного эгоистического намерения немедленно после обретения бессмертия выйти на пенсию и сидеть на пенсии сначала несколько десятков тысяч, несколько сотен тысяч, а потом уж и несчетное и вовсе забытое число лет, измеряемое сначала десяткой в очень большой, а затем и вовсе в непомерно большой степени. Вот уж, честное слово, «Мгновение, остановись!», какое не снилось немецкому Фаусту даже и в самом страшном сне, потому что тот пуще смерти боялся, кажется, что время остановится на месте и помешает ему осуществлять свои революционные деяния. Вот ведь какое мощное «Мгновение, остановись!», каким провинциальный философ сразу же перешагнул и через государство, перемахнул и через официальную идеологию, которая никогда не добиралась до таких сияющих высот оптимизма, и не убоялся даже совпадений с Н. Федоровым, дореволюционным идеалистом и мечтателем о вечной жизни возвращенных к жизни людей, но, впрочем, наш философ свои вопросы ставил и разрешал исключительно на почве естественнонаучного материализма, который несомненно исходит из неестественности смерти по меньшей мере для хорошего преподавателя философии, потому что в самом деле для чего же нам с вами без нужды терять опытного (да и какого опытного, почитай он, к примеру, философию хотя бы всего лишь 6666 или же 7965 лет подряд) преподавателя философии и научного коммунизма!

Бывали же в свое время смелые люди, не то что наше племя, богатыри не мы! Иная нам досталась доля — смотреть назад, смотреть вперед или сначала вперед, потом назад, убиваться увиденным, мучиться разницей преднамечавшегося и осуществившегося, искать виновных, находить их в конечном счете в самих себе да в тех инстанциях, что бережно и осторожно собрали и обобщили злую волю людей и вообще все, что приносило соблазн в мир: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит» (Матф. 18, 7).

Приведя слова святого апостола, которые могут до известной степени примирить нас со злом получше просветительской теодицеи — рационально-разумного оправдания зла, примирить хотя бы до какой степени, чтобы мы не ярились со злобой на все прошлое зло, неустанно обличая его и показывая друг другу свои душевные раны, но думали бы и над тем, как бы не совершить зло самим, что, как то ни прискорбно, почти неизбежно и бросает от нас мрачную тень на судьбы наших потомков, — приведя слова святого апостола, я уже не могу остановиться и не привести другой новозаветный текст, который, по моему ощущению, точно так же относится сюда и собственно сказан для нас:

«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откровение Св. Иоанна Богослова, 3, 15—17).

Что же такое «тепл» и что значит быть теплым? В нашей-то действительности этому состоянию, расположенному посредине между крайностями и, казалось бы, напрашивающемуся на положение золотой середины, соответствует как раз равнодушие. Равнодушие — это ведь и не ровный дух, и не безмятежность, и не бесстрастие, и даже не простая способность смотреть на вещи со стороны или сверху, а это безразличие, которое убивает и терзает теперь нашу страну как официально насажденный, эгоистически-удобный и легко переносимый порок. Целая ограда выстроена вокруг моря-океана, чтобы уберечь его от волнений и воспрепятствовать его кипению. Отвлекая громадную энергию на житейские пустяки, их разрешение и переживание, на всякую бытовую нервотрепку и неразбериху, эти неколебимые и непоколебленные устои способны основательно искажать и само пробуждающееся волнение. Недовольство населения переливается либо в бурление по внешним поводам и пустякам, либо в террор одних против других, грозя призраком гражданской войны, в нее уже и переходящий. Последнее иррационально, и кровопролитие замещает тут мысль и возможное разрешение проблем. Первое же заставляет тратить силы на симптомы, которые будут возникать до тех пор, пока длится сама заразная застарелая болезнь.

Лишь очень постепенно возникает дельная, основательная оппозиция режиму, которая с известным опозданием начинает осознавать, где копать, и которая отдает себе отчет, что цель не в разрушении существующего, не в разваливании того, что разваливается само по логике заложенного в основания режима глубочайшего обмана и самообмана и что без того подталкивают с разных сторон к окончательному падению, а в деловой переорганизации всего целого и в спасении из-под обломков и самоучиненной разрухи здоровых начал традиционного русского хозяйствования. Однако и эта оппозиция, исходящая по преимуществу из промышленных центров, пока еще далека от того, чтобы принимать во внимание и сердцем чувствовать всю важность культурных факторов такой реорганизации общества и государства.

Однако переорганизация неотделима от опамятования — от подлинного осознания и осмысления того, что мы и где мы, что стряслось с нами, а это немыслимо без общего единого душевного порыва, без сердечного покаяния и нравственного очищения. От общности душевного порыва мы, однако, далеки, как никогда, а перестройка, не способная и за пять лет хотя бы чуточку смягчить полицейско-бюрократический режим

в стране, зависимость гражданина от инстанций и институций, не говоря уж о том, чтобы сломать режим, ведет к скорейшему развалу всего целого и всякой цельности, к разрушению неложной коллективности труда и творчества, где еще была она у нас. Итак, и эту возможность опамятования мы упускаем, едва она появилась у нас, и новый шум и треск в пространствах мнимой свободы затрудняет в обществе любую сосредоточенность на мысли, на углубленном созерцании-осмыслении нашей сущности, нашего места в мире, наших реальных, наконец, возможностей. Но разве не пора нам выйти из состояния болезненных галлюцинаций, сколько бы десятилетий они ни длились, и ощутить себя вновь идущими тысячелетним путем русской истории? Разве не пора выйти из полосы чужеродных искушений и соблазнительных видений? — «По плодам их познаете их»... Неужели же нам так и не дано через всю наносимую шелуху пробиться к собственной сущности? Неужели нам не справиться даже с социальной болезнью равнодушия-безразличия, этим самым сильным и прочным оружием, сработанным против нас? Или же всем нам шуметь на торжище, где в суете, отвлекающей внимание, новыми средствами отстаивают прежние эгоистические интересы и где нередко умнейшие люди невольно тратят свои силы лишь на то, чтобы помогать другим разворачивать свои дымовые завесы? ...Уж не отправиться ли нам в киевский музей на его «программу»?..

Не думается ли, что слова Откровения больше относятся к нам, чем к Ангелу Лаодикийской церкви, и что они с особенным смыслом прилагаются к нашей сегодняшней ситуации?

У Достоевского Ставрогин однажды говорит: «Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц». Признание это — тактическое в большой и нервной игре; не будь оно тактическим, оно могло бы способствовать всеобщему очищению, повернуть действие романа в лучшую сторону и по-новому направить этого героя романа. Однако, помимо этих нервных движений, должен же был в душе героя оставаться какой-то слой благородства, не разъеденный душевным развратом, и только он, этот слой, допускал возможность хотя бы и тактических чистосердечных признаний и пусть минутных, скоропреходящих опамятований. Если бы в нашем обществе, за игрой эгоистических и групповых интересов, помимо справедливых и несправедливых взаимных обвинений, была бы способность пусть даже к такой самокритичной откровенности, если бы...

Вот чем теплые, то есть равнодушные, несравненно хуже горячих, особенно если их пыл направлен исключительно на злое. Положительно злая и активная воля встречается не так уж часто, да и на что способна она сама по себе? Вот активность ее и тратится по преимуществу на то, чтобы заполучить на свою сторону равнодушных, задобрив их чем-нибудь таким мелким и преходящим, для чего они еще в состоянии разогреваться, не будучи ни холодными, ни горячими. А тогда чудовищно колоссальная масса отложившегося в обществе равнодушия укрепляет злое начало, которое обретает возможность в буквальном смысле слова передвигать горы и менять теченье рек, ложно чародействуя. Ведь вообще суть зла, наверное, в том, что отрицается смысл и все дельное, полезное и ценное замещается чем-то пустым и ненужным, так что зло всегда творит тщетное и напрасное. И, должно быть, зло — это по большей части только распалившееся и раскалившееся равнодушие. Если уж равнодушие сумело раскалиться и озаботилось тьмою вольных и невольных приверженцев, тогда наступает время, когда **всем всё всё равно**, и это самое ужасное. И самое злое. Тогда-то какой-нибудь мелкий злой человечек, которого, может быть, хватило бы только на кухонные и базарные ссоры да на несколько доносов, вдруг сделается палачом всемирноисторического значения и губителем народов. В зле более всего присутствует не активность, а попустительство, которое в своем безразличии позволяет всему рушиться, и всему пропадать, и всему валиться из рук. Уже потом, вторично, наступает какая-то систематизация, и какая-то организация развала и распада, и тем, что и как должно распадаться и разваливаться, начинают даже управлять и развал начинают планировать, так что и активно-злое начало уже вовсю подключается к этой бездне попустительства. Но все-таки в основе всего то безразличие, которому ни до чего нет дела и у которого от равнодушия все валится из рук.

И как в высоких горах от какого-нибудь неосторожного покашливания может начаться мощный снежный обвал, так и немыслимое зло, потрясающее весь мир, все-таки не обходится без мельчайших, почти невидимых глазом частичек и крупиц равнодушия и с них берет начало.

Вот почему я с ужасом обнаруживаю и наблюдаю повсюду в нашей жизни, и прежде всего в самой мелочной нашей житейской повседневности, эти невообразимо незначительные молекулы равнодушия, — они же и мелки, и их же целые россыпи встречаются у нас на каждом шагу, и это тонкое молекулярное вещество, почти незаметное, а притом и изобильное, — оно же насквозь проело всю нашу жизнь, и никакая перестройка не могла до сих пор поубавить количество этого вещества в нашей действительности. Никакие самоупоенные пляски святого Витта на просторах новооткрывшихся свобод не снизили пока количества этого вещества. Оно-то, нейтральное пока, то есть еще не примкнувшее решительно к какой-либо политической силе, и составляет ту основу, на которой совершается сейчас наше расстройство, рассеяние, наше разъединение. Оно дает, оно допускает,

чтобы разваливалось целое. Вот почему всякие молекулярно-ничтожные проявления равнодушия внушают такой ужас.

Тут я не могу противостоять искушению привести слова, которые часто цитируют в последнее время, привести их как бы лишний раз, притом несмотря на то, что я отлично понимаю, что сказаны они, собственно, не нам, не так, как слова «Откровения», а что сказаны они в конкретной исторической обстановке, не похожей на нашу. Все же я приведу лишний раз эти слова П. А. Столыпина: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Наверное, можно упрекнуть меня в том, что я не просто без нужды привел всем известные слова, а даже и не к месту.

Однако я сначала хотел бы обратить внимание на одну особенность этого текста. Она, скорее, неожиданная. Вот она — в этом тексте нет, ни в его лексике, ни в его синтаксисе, обычного налета времени, нет явных примет того, что произнесены они в 1907 г., а не теперь. Нет этих примет, а зато (и это еще удивительнее!) в них обозначено, и притом очень четко, то самое, к чему, вот уже долгие годы, как-то пытаемся вновь подойти и вернуться почти все мы, притом и довольно широкие слои населения, и даже власти, сознающие свой долг, — это «историческое прошлое России» и «культурные традиции». Ведь помимо, пожалуй, только самых крайних и бестрепетных наших развальщиков, все с давних пор (и еще задолго до перестройки) постепенно стали ощущать и все яснее осознавать, что страна наша для выхода из кризисов и для здравого осмысления самой себя, своих возможностей и своей роли в мире, должна всеми силами стремиться, залечивая тяжелые и глубокие раны, восстановить непрерывность своей истории и своих культурных традиций, обрести сознание непрерывной и цельной своей истории, — истории, которой не 70, а тысяча и более лет.

А коль скоро так и коль скоро сознание цельности, единства и непрерывности русской истории вышло из состояния предчувствий, но передается в широкие массы и людьми постепенно, — несмотря на всякое все продолжающееся раздирание страны, — усваивается, коль скоро восстанавливается такое сознание и оно есть реальность, то нам, следовательно, и нет резона отождествлять себя с теми радикалами, к которым обращал Столыпин свою речь в 1907 г.: те хотели, напротив, освободиться от исторического прошлого и от культурных традиций, а мы, почти все мы, — напротив, примкнуть к ним.

Круг описан, и наши раны, а это наши глубокие и нами же нанесенные раны, мы должны понять теперь частью всей цельной и единой нашей истории. Мы и эти раны, которыми уничтожалась и губилась русская история и русская традиция, и эти раны, которыми собирались ее совсем доизрезать, мы и эти раны должны вписать теперь в образ всей русской истории. Хорошо отдавая себе отчет в том, что история — это не царский путь и не триумфальное шествие и что во всех периодах своих она была полна и ран, и унижений, и всяческих бед, и предательств, и всяких мучительств и самомучительств. Но и не только этого, потому что история народов, пока они способны к покаянию и не склонны к унизительному самобичеванию (одно исключает другое), обладает природным свойством самоочищения, — тогда-то выводится светлый итог мрачного прошлого и тогда-то обретаются силы для того, чтобы строить свое будущее. А светлый итог и оправдан, и реален — как элемент самочувствия народа он вообще обеспечивает его жизнеспособность, да и ту естественную связь времен, в которой взаимно отражаются прошлое и будущее, будущее и прошлое, умудренность опытом и чаяние света.

Одну примету времени оставлял я пока нарочно без внимания в словах Столыпина, потому что одна, надо признать, все же есть, и не малая. Это слово «государственность». Вот оно-то совсем, кажется, и выпало из нашего лексикона, а смысл его — из наших голов. И звучит оно, пожалуй даже, недопустимо высоко — что-то «одическое» слышится теперь в нем, чего не скажешь ведь в обычной речи. Какая уж тут государственность, если русское государство вынуждено терпеть всякую брань и поношения, но мало этого — это ведь не где-нибудь, а у нас, в нашей стране, принято на каждом шагу говорить о России как об империи, даже как о колониальной империи, говорить о современной России как об империи, думать, что эта неясная метафора (потому что где же эта империя и что это за империя?) что-то реальное означает, и вбивать себе в голову это представление, как нечто будто бы само собой разумеющееся, до такой степени, что я встретил однажды это слово «империя» даже в газетной статье журналиста-международника, который писал вовсе не о России и просто так, походя назвал ее «империей». Конечно, всякой империи присуща государственность, однако принято именовать Россию империей в таком утонченно-ироническом смысле, чтобы одновременно дать почувствовать, что империя такая (если бы только она была!) не имеет ни малейшего права ни быть, ни претендовать на свою государственность, что империя такая — что-то вроде своего собственного отрицания, потому что существовать она не смеет, существует тем не менее против всякого права и существует для того, чтобы лягнуть ее словесно и навредить ей на деле. Ей, этой империи, должно быть как бы стыдно быть. А поскольку и я, и все мы, и даже те, кто говорит об «империи», твердо помнят, что Российской империи в настоящее время не существует, то я, честное слово, плохо понимаю, что имеют в виду, когда говорят — против всякого здравого смысла — о колониальной империи, будто бы существующей, продолжающей существовать и теперь.

Я плохо понимаю, какой смысл вкладывают во все эти игровые метафоры, только слишком хорошо чувствую, для чего все это делается — для того, чтобы, всячески унизив Россию, пристыдив ее, по возможности отнять у нее право помнить о своей истории. Тогда легче обирать ее и рвать ее на куски — эту бесправную, противоправную «империю», которой нет.

Тогда слово «государственность» в тексте Столыпина звучит для нас совсем как из другого мира. Мы же, напротив, стоим на каком-то отчаянном перепутье, когда сами знаки и символы государства стыдливо умалчиваются, не уважаются, не признаются, существуют, как если бы их и не было, — должно быть, изо всех государств нашего времени наше одно такое! Но ведь и на деле — что считать этими знаками и символами? Те ли, под которыми совершались великие подвиги и страшные преступления последних времен, или те, которые знаменовали (и знаменуют) величие России в ее прошлом и будущем, или те и другие вместе? Если одни, то они неправомерно отрывают нас от большой и долгой истории страны и народа, если другие — то где же это величие и могущество страны, которое усердно попирается теперь до такой степени, что уже и не верится, существует ли вообще такое государство — Россия и куда же вдруг расточилось все несметное богатство ее, которого еще совсем недавно хватало даже на всех грабивших и разносивших ее по косточкам снаружи и изнутри?

Где уж там, какая тут государственность? От слов не убудет, твердит пословица, но нет — убудет. Потому что вслед за словами, попирающими достоинство России, следуют и дела, за словами, полными унижений и самоуничижения, следуют и меры, и привычки — меры, превращающие Россию, эту будто бы колониальную империю, в колонию, жителей — в униженных и обездоленных аборигенов, нищих и полунищих (которыми они — вот только что, вот еще совсем недавно! — не были и которыми себя не считали), меры, которые всю страну покрывают сетью лавочек и ресторанчиков, только для колонизаторов (вроде как бы «только для белых»), куда нет доступа местному населению, меры, которые непостижимым образом и вопреки, казалось бы, всякому здравому смыслу, обесценивают деньги государства, лишая их реальной и признанной стоимости. Послушайте, да это и в самом деле какие-то колонизаторские замашки? Только кто же тут колонизатор и кто житель колонии, и чьей же? И какой же колониальной империи принадлежит вся эта нищая, и бесправная, и безответная, словами и делами попираемая страна? И кто же это, какой колонист, лишает достоинства жителей этой страны? А вместе с тем лишает их и достояния — и даже, сходя совсем на прозу жизни, совсем небольших честно заработанных средств к существованию? Кто сделал так, что все больше человек этот ходит по своей же земле приниженный и прибитый — пусть хоть и словом — и все более нуждающийся в опеке доброго колонизатора?

Где уж там, какая уж там государственность, к лицу ли нам теперь такое выспреннее слово...

И все это взросло на почве попустительствующего равнодушия... Как и всегда. И это тоже плод того безразличия, с которым почти каждый делает свое малое дело, по давней уже инерции не задумываясь о значении его в целом: вроде бы эта исчезающая малость и не сопоставима с целым. Однако целое-то, которое всегда складывается как сумма и в один прекрасный день вдруг возьмет, да и сложится в ошеломляющий и уничтожающий нас итог, как уже не раз бывало, — целое-то всегда помнит о мелочах. А мы порой живем, как будто у нас есть еще семь жизней про запас, и не хотим нести ответа перед самими собой перед лицом смерти каждого из нас, и даже не хотим думать об этом, и не только думать, но и знать об этом не хотим. А нам — тут как тут — знай подкидывают все новые темы для нервного возбуждения и самоистощения — то колбасу, то чай, то сахар, то мыло, то сигареты, — то есть подкидывают, конечно, в виде их внезапного исчезновения; вот целый завод и бунтует, потому что нечего курить, и он бунтует и кипит вместо того, чтобы вращать в головах настоящие и жизненно важные проблемы, обдумывать и осмыслять их, постепенно приходить к дельным практическим выводам. Словно нарочно подкидывают нам эти «пустоты» — эту мнимую «бессахарность», эту бесчайность и немыльность... Словно нарочно — нарочно и есть. Тут, пока люди кипят и внутренне бесятся, для их пользы откроют где-нибудь за углом валютный ресторанчик, пригласят туда, для их же пользы, повара с каких-нибудь Филиппинских островов, даже напишут, как вкусно готовит он из привозных колониальных товаров... Апартеид же...

А мы живем, как будто у нас семь лишних жизней впереди, и всему, ну решительно всему даем выводить нас из состояния покоя, внутреннего покоя, в котором только и можно придумать что-либо хорошее и дельное, и с готовностью перебрасываемся на всякий новый бытовой фронт, который для нас заботливо открывают, и не щадим своих сил, сражаясь на этом малом фронте. Вместо того, чтобы решиться плюнуть на эту колбасу, которой нет, и поста-

вить все вопросы ребром. Ведь, положа руку на сердце, разве в самой колбасе дело?

КТО ТАКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ?

Кто такие консерваторы вообще, я не знаю, но я знаю, что сам я консерватор. Во всяком случае я предпочел бы назвать себя таким словом, если бы смел прилагать к себе такие громкие слова. И если бы да, если бы посмел, то и сущность консерватора конечно же выводил бы из самого себя, как из материала, наиболее мне доступного.

Но тут мне попадаются на глаза пугающие меня слова: «Консерваторы высказали свое отношение к перестройке довольно ясно: они против рыночного выбора, против радикальных реформ вообще» («Московский комсомолец», 8 августа 1990 г.).

Нет, это все-таки не обо мне, это о каких-то других консерваторах. Потому что ведь тут получается, что если ты против «рыночного выбора», то ты и против перестройки, — но почему же? Ведь когда начиналась перестройка, то ни о каком рыночном выборе и речи не было (это ведь все помнят!), это только потом уж заговорили о рынке и о рыночном выборе, и стали спорить между собой, и стали не соглашаться между собой, и довели этот спор до того, что теперь, кажется, все (то есть, конечно, все экономисты) согласились между собой, что должен быть рынок, хотя я твердо знаю — рынок у нас уже на носу, но экономисты еще даже не сошлись между собой, каким он должен быть и должен ли он быть регулируемым или нет, и еще неизвестно, если регулируемым, то кто и что будет регулировать. Рынок будет — только что никто не знает, что это такое. Это я хорошо представляю себе, что они, экономисты, этого не знают, и полон к ним сочувствия, — да и как это знать, если мы не знаем до сих пор, живем ли мы в колониальной державе или в колонии и кто мы — колонизаторы, пьющие живые соки Украины и Узбекистана, или аборигены, живущие по милости своих господ и сами милосердно раздающие милостыню друг другу. Так и экономисты не знают, кто и что будет регулировать. Одним словом, экономисты договорились, что будет у нас рынок, пускай и неизвестно какой, и решили: будь что будет! И это мне очень нравится, потому что это очень по-русски — решиться сделать, а потом посмотреть, что получится. Из этого я заключаю, что все наши экономисты русские, и радуюсь этому, потому что со своими и пропадать не страшно.

Вот только беда, что я консерватор — или по крайней мере я на пробу, так сказать, в экспериментальном порядке объявил себя консерватором, чтобы посмотреть: а что будет? Я тоже поступил по-русски: ладно, стану консерватором, решусь, сделаю и посмотрю, что будет. Вот я решился, но тут я вижу, что, раз я консерватор, так ведь я против рыночного выбора. Хорошо, я сказал: будь, что будет, — но ведь это я о себе, не о рынке, у меня и полномочий таких нет, чтобы делать или не делать рыночный выбор, это у наших русских экономистов, наделенных властью выбирать, есть такие полномочия, вот они сошлись и сделали свой выбор: нехай, мол, будет, что будет, — и именно этот выбор так по душе пришелся мне своей русской отвагой и истинно славянской широтой, но тем не менее у меня-то самого нет права делать или не делать такой выбор, тут мною только управляют, а я могу решать только такие пустяки, как, например, консерватор я или нет. И тут я замечаю, что с одной стороны схожусь с экономистами, с другой нет: я тоже, как и они, кричу: будь что будет, — но только у меня это относится ко мне, а у них — ко мне. То есть у них — и ко мне, и ко всем остальным, кто не смеет делать или не делать рыночный выбор. Это я о себе говорю — будь, что будет, стану-ка я консерватором, действуя методом проб и ошибок и вводя консерватизм в экспериментальном порядке на своей территории, а они говорят — будь, что будет, пусть он делает рыночный выбор по нашему велению и по нашему хотению. «Он» — это для них всякий «я», который сам не смеет делать выбор, стало быть, и я, и все другие «я». Ну, вот и получается, что, как я ни экспериментирую с собой как консерватором, за меня все равно делают выборы экономисты, например, Лариса Пияшева, и они проводят радикальные реформы. Я же хотя и помню, что перестройка начиналась не с рынка и не с радикальных реформ и к ним не сводится, все равно, как консерватор, увлечен к рынку и к реформам, и мой личный экспериментальный консерватизм ни для кого не стал помехой.

Ну, а ты-то, ты, как консерватор, чего хочешь? — пусть спросили бы меня. Тут я ответил бы, что я, конечно, против рынка, потому что я ведь не знаю, что это такое, я ведь не экономист, и я в то же время вижу, что экономисты не знают, что такое рынок и какой такой рынок будет у нас, и что они поэтому и делают свой выбор — пусть будет рынок и пусть будет, что будет. А я по этой же самой причине и сделал бы другой выбор, но не знаю, какой. В моих глазах помеха выбору то, что для них причина. Мы из одного и того же незнания делаем противоположные выводы. И я бы сказал так: консерватор — это тот, кто воздерживается от выбора в случае, когда не знает, как его делать. Конечно, если ситуация позволяет, а не так, чтобы: либо подыхай, либо головой в омут. Может быть, экономистам она рисуется именно так, и теперь они решились меня (всякого «меня»!) бросить именно головой в омут. Что ж, это их право. Это их право кидать меня головой в омут. Такая уж раскладка сил: в Великобритании консерваторам противостоят на выборах лейбористы, в Великороссии — экономисты.

— Но позвольте же, дорогие и уважаемые представители правящей партии экономистов! Опомнитесь! Перекреститесь! О каких радикальных реформах вы говорите. Вы же не консерваторы, вы сторонники радикальных реформ, вы готовы броситься головой в омут, вы решительны, вы говорите: Будь, что будет, но пусть будет рынок, — я потрясен смелостью ваших — нет, не планов, не программ, не предвидений, которых нет, нет, смелостью ваших решений. Так скажите же мне ради Христа: почему за пять лет мы так ни на шаг и не ушли от самой дохлой и пошлой бюрократической полицейщины? И это вы в таких условиях намереваетесь проводить свои радикальные реформы? Да в таких условиях даже и головой в омут никого нельзя швырнуть, ведь и милиция не позволит, и кто держит меня (то есть опять же всякого «меня») на коротком поводке, тот ведь тоже не позволит так необдуманно поступать и расправляться с его имуществом. Я, может быть, давно бы и без вас бросился головой в омут, чтобы не гореть вместе с вами синим пламенем, так ведь удержат же, и хорошо...

Положим, это монолог консерватора, нескладный, потому что пробный. Но, говоря совсем всерьез, разве настоящему консерватору нужны радикальные реформы? Ему тут, пожалуй, и Столыпин опять некстати пригрезится, который возражал против пути радикализма, и не без оснований ведь. В общем, опять консерватор скажет что-нибудь не то. Консерватор нужны не радикальные реформы, ему важнее всего как-то выпутаться из-под всех этих хитроумно подстроенных наслоений, мешающих всем жить, как-то выбраться из всех этих колесных механизмов, понаставленных и понастроенных без ума и толка, — короче, как ни пытайся выразиться консерватор, как ни пробуй он описать с помощью довольно куцей образности то, что мерещится ему вокруг, все сводится к одному — как бывают нежилые квартиры, помещения, в которых нельзя жить, до такого состояния их довели жильцы и владельцы, так, видно, бывают, и нежилые деревни, целые нежилые города и целые нежилые государства. То есть государства, владельцами их доведенные до такого состояния, что жить в них очень трудно, хотя и приходится. Одним в таком нежилом государстве поскорее хочется переехать в другое, жилое, но ведь мы-то знаем, что от этого наше государство не станет вдруг жилым, так что все равно должен быть кто-то, кто его поправит. И вот, как бы ни описывать это нежилое состояние государства, с помощью все равно каких образов и сравнений, из этого состояния консерватору очень хочется выбраться, и ему даже очень хочется и того, чтобы все лишние надстройки, механизмы и все прочее, что делает нежилым это государство и безобразит и уродует эту землю, было поскорее разрушено и снесено с лица земли. То есть здесь консерватор выступает как самый настоящий разрушитель, может быть, более решительный, чем экономисты, но только он предлагает разрушать не вообще все, что под руку попадется, лишь бы поскорее, а только лишнее, например, связывающее по рукам и по ногам и людей, и государство. А уж как хотелось бы встать на почву здоровой русской государственности, об этом и консерватору не сказать. Вот поэтому консерватор и не принимает радикальных реформ, потому что это ведь проводится необдуманно, наобум, как всегда экспериментально, и консерватор даже осмеливается подумать — и лелеет про себя такую мысль: а что бы нашим экономистам не попробовать один-единственный раз поступить не по-русски, а в точности продумать, что они собираются делать, согласиться между собой и поступить, скажем, по-корейски? А головой в омут и будь, что будет, — это уже бывало...

И еще ошибаются экономисты (они ведь только и делают, что ошибаются) в том, что думают, — раз уж консерватор, так он непременно выступает и против радикальных реформ, и за привилегии партаппарата, и горой стоит за Кузьмичей и Ильичей (Леонидов). Нет, я-то знаю лучше — что ему это? А потом много ли может консерватор, если его уже продали и перепродали на рынке?..

О ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА

Теперь удивительное настало время. Мне довелось слышать от людей, более чем осведомленных, весьма ученых, что Маркс — совсем не философ и никакой философии у него не было. Зато для многих, кто заведомо не читал Фридриха Ницше, он, слышу я, несомненный философ, причем безусловно очень интересный и значительный.

И в том, и в другом суждении сказывается предвзятость, психологические корни которой понятны. От этого предвзятость не делается менее удивительной. Кто-то читал Маркса и не читал Ницше, — следует ли из этого, что первый безусловно не философ, а второй — безусловно философ?

Не будем никого убеждать в том, что Маркс был философом, — сейчас это было бы и не к месту, да и что доказывать явное? А мне сейчас хотелось бы только привести два-три примера того, какой нечитанной по сю пору остается философия марксизма и какой глубокой она может быть. Разумеется, примеры совсем небольшие и такие, чтобы сразу становилось видно, в каком направлении движется мысль.

Вот одно поразившее меня место. В ранней работе «К критике гегелевской философии права» Карл Маркс пишет: «Критика религии освобождает человека от иллюзий, чтобы он мыслил, действовал, строил свою действительность как

освободившийся от иллюзии, как ставший разумным человек; чтобы он вращался вокруг себя самого и своего действительного солнца». Конечно, поражает здесь не мысль, коль скоро она как бы уже известна, а то, как выражает ее философ и как строит она сама себя. В оригинале Маркса есть та тонкость, что он пользуется одним глаголом в необычном значении или, скорее, сразу в нескольких: «освобождает от иллюзий», «освобожденный от иллюзий» — все это у Маркса человек «раз-очарованный», то есть такой, с которого снимают пелену обмана, а сам он при этом разочарованный. Очень существенно то, что Маркс готов положиться на силу самого слова и смотреть, что скажет «само» слово. И слово это сказало много: разочарованный (значит, во всех смыслах, какие тут предполагаются) человек — это и человек, который лишился всей поэзии действительности и остался наедине с ее прозой, и этим он может чувствовать себя весьма разочарованным; это и человек, с которого спала пелена, а потому он теперь представляет себя таким, каков он на деле, — он «пришел к себе»; наконец, это совершенно «естественный» человек, коль скоро для него уже нет возможности и надобности представляться чем-то иным, не тем, что он есть на деле, как таковой, и это человек, который остался отныне наедине с самим собою — в том отношении, что нет уже никакой высшей силы, которая задавала бы ему смысл и ставила перед ним цели и задачи, — ему только и остается вращаться вокруг самого себя (никто уже не поправит его и не поведет его за руку).

Я-то уверен и знаю, что это самая настоящая, причем нетривиальная философия. Когда выдающийся немецкий мыслитель Макс Вебер вновь весьма впечатляюще начал говорит о протрезвленности современного человека, то это уже было примерно через полвека после Маркса. А здесь, в одной фразе Маркса, соединились важные мысли, которые и можно, и нужно развивать в разные стороны. Тут многое сжато сказано и о человеке, и о действительности. И сказано так, что если следовать такой мысли по-настоящему, то оказывается, что вслед за тем обязательно должны перевернуться многие привычные для нас представления — для нас, то есть не только для людей 1840-х годов, но и для людей конца XX столетия, несмотря на усердное чтение ими того же Маркса.

Тогда же Маркс и Энгельс пишут «Святое семейство», и, в частности, Маркс подготавливает для этой книги очень обстоятельный разбор романа Эжена Сю «Парижские тайны».

И вот что существенно в этом разборе. Ведь если мы установили, что человек, или человеческая сущность (разочарованные) остаются теперь в мире наедине с собою, придя к себе и ставши самими собою, то любая попытка представить какое-то высшее, разумное, смыслополагающее начало в мире — это не что иное, как попытка исказить уже найденую человеческую сущность, уже постигшую себя человеческую разумность, вновь окружить ее пеленой обмана (или чем-то вроде опиума для народа). А тогда для такого уже нашедшего себя и уже удостоверившегося в своей сущности человека утверждать подобное высшее разумное начало будет уже не чем-то возвышающим душу, а только чем-то унизительным — причиняющим его, человека, достоинство. Так и рассуждает Маркс, говоря о романе Эжена Сю: «Попу уже удалось превратить непосредственно-наивное восхищение Марии красотами природы в религиозный восторг. Природа для нее уже до такой степени принижена, что воспринимается ею как богоугодная, христианизированная природа, как творение. Прозрачный воздушный океан развенчан и превращен в тусклый символ неподвижной вечности. Мария уже постигла, что все человеческие проявления ее существа были «греховны», что они лишены религии, истинной благодати, что они нечестивы, безбожны. Поп должен очернить ее в ее собственных глазах, он должен повергнуть в прах ее природные и духовные силы и дарования, чтобы сделать ее восприимчивой к сверхъестественному дару, который он обещает ей, — к крещению».

«Поп» этот из романа французского писателя — это в глазах Маркса типичный реакционер, и вообще реакционным для марксизма, и вполне логично, становится отныне все то, что отнимает у человека его уже установленную, найденную, равную себе сущность, что лишает человека этой его разочарованной естественности, сбросившей с себя обман. Нет высшего: понимать природу как творение значит принижать ее, физическое небо (то есть «воздушный океан») выше вечности, приобщать к вере значит чернить природную сущность человека. И вот несчастье в романе: «Флёр де Мари уже считает предосудительным воспринимать новое, счастливое жизненное положение просто как то, чем оно действительно является, как новое счастье, то есть относиться к нему естественно, а не сверхъестественно. Она уже обвиняет себя в том, что видела в человеке, который ее спас, то, чем он действительно был, — своего спасителя, и не подставляла на его место воображаемого спасителя — бога. Она уже охвачена религиозным лицемерием, которое отнимает у другого человека то, чем я ему обязан, чтобы передать это богу, и которое вообще рассматривает все человеческое в человеке как чуждое ему, а все нечеловеческое в нем — как его подлинную сущность».

Читая этот текст и следя за подчеркиваниями автора, можно видеть, что сознание философа поражено новооткрывшимся для него смыслом действительности, а именно действительности, которая есть как таковая, которая является «просто как то», что она есть. Это большое открытие, которое у Маркса заставляет переворачивать сложившиеся традиционно, идущие из глубины веков отношения: теперь бог ниже человека, физическое и преходящее выше вечного, божественное ниже человеческого и природного и т. д. Это колоссальная переоценка всех ценностей, которая не состоялась, однако, в том смысле, что по всей видимости оказалось невозможным, нереальным так «перекрутить» вертикаль смысла в сознании людей, чтобы, скажем, Бог становился у них внизу, а человек — наверху (даже и в сознании последовательных атеистов). Можно было только отвлеченно переворачивать сложившуюся вертикаль смысловых соотношений или, положим, возвеличивать оставленную наедине с собою сущность человека, восславлять «вращающегося вокруг самого себя» человека, пробовать писать его с заглавной буквы (Человек — это звучит гордо!). Одним словом, всячески усиливаясь утвердить самоначалие и единоначалие человека. Быть может, и забывая или не зная при этом, что такой обретший самого себя человек у самого Маркса-то — это еще и разочарованный человек. То есть человек, который, если уж полагаться на силу мыслящего слова так, как положился на нее Маркс, остается в вечной сопряженности со своей «очарованностью», то есть с тем состоянием, какое исторически предшествовало всему этому спаданию пелен и обманов и всему этому вступлению в сугубую прозу мира, вроде бы совпавшего с самим собою, и только. Такому разочарованному человеку, если он еще помнит о своей былой очарованности, может ведь и захотеться назад, может, его и потянет назад, а может случиться и так, что сама действительность откроется перед ним совсем иначе, то есть, к примеру, не в такой оголенности, когда она просто есть то, что она есть, а как-то иначе; сама действительность может напомнить о себе совсем иначе.

Ну неужели кто-нибудь усомнится еще — теперь, когда хотя бы самый маленький уголок приоткрылся от той мыслительной озадаченности, какая наличествует в текстах Маркса, от их смысловой сгущенности, от тех резких и крутых поворотов, какие стремится совершить здесь человеческая мысль. Вообще говоря, в философии чрезвычайно важна не только мысль в ее, так сказать, чистом виде, но и сама словесная ткань и сама фактура смысла. Нередко существенно не только то, что сказал и что хотел сказать философ, но и то, что как бы само сказалось в этих текстах. Бывают философские работы, в которых это последнее не играет никакой роли, но как только мыслитель начинает доверять самим словам, начинает поверять им свою мысль, — они тогда перестают быть пассивными и послушными передатчиками смысла, но активно мыслят вместе с философом, со-мыслят ему. Так вот у Маркса, бывает, что что-то перепоручается и слову, которое должно создавать объемность и многогранность смысла, — философ предполагает, что смысл не плоский, не просто сухо и холодно однозначный, а потому и доверяет так слову с его самоценным весом, потому и прибегает к помощи необычного слова и необычного словоупотребления.

Характерно, что Энгельс очень часто пользуется выражением «ирония истории». Есть очень известные его высказывания об этой иронии, из которых не грех и повторить одно. Вот оно: «Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, — что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которой избежали не многие исторические деятели». Но вот что не менее характерно: сама история выступает ведь в таком высказывании как субъект действия, от нее исходит инициатива, — люди что-то задумывают, а история с ними играет шутку, совсем по пословице «Человек предполагает, а Бог располагает» (такие пословицы есть и в других языках), совсем вразрез с новым представлением о «единственности» человека. Но вот какой-то рефлексии по поводу такой неожиданно самочинной Истории у Энгельса, кажется, нет, — он не задумался над тем, что же это за существо такое История, которая помимо воли людей поступает так, как ей бывает угодно. Но и более того — если Энгельс все вновь и вновь задумывался над этой иронией истории в связи с революцией, то, казалось бы, эта тема должна была бы найти отражение в теории революции, потому что как ведь совершать революцию, если классик марксизма твердо уверен, что из революции получается совсем не то, что задумывали сами революционеры. И все же не было и после Энгельса такой революции, которую совершали бы, помня о подобных предостережениях (да и не предостережения это морального свойства, а куда более фундаментальные указания), которую совершали бы хотя бы с исчезающе малой толикой самоиронии, умения смотреть на себя со стороны и хотя бы чуточку недоверчиво.

У Маркса и Энгельса сказано гораздо больше того, — в том можно быть твердо убежденным, — чем угодно было замечать их читателям, иной раз больше того, в чем могли отдать себе ясный отчет сами же мыслители. И вот все такое «сказавшееся само собою» — это ведь тоже мысль философа, допущенная им в круг своих идей, хотя не всегда досконально и последовательно осмысленная им.

И вот теперь Фридрих Ницше, которого в отличие от Маркса некоторые читатели хотели бы в наши дни счесть философом. Ницше и был философом, но только другого калибра, другого класса, с иной направленностью и фактурой мысли. В последние годы своей сознательной жизни Ницше сосредоточенно занимается проблемой «переоценки всех ценностей», и здесь, в такой переоценке, перед ним в качестве наиважнейшей вырисовывается необходимость «перевернуть» все традиционные

религиозные представления, то есть сложившиеся представления тысячелетних культур, продемонстрировать только-естественность и только-природность человека, причем не только метафизически, но и психологически и физиологически, разоблачить всякую веру в высшее как обман и как извращение природной человеческой сущности и т. д. Религиозный «обман» же Ницше, как ни странно, понимает иногда совсем еще по-просветительски, по-вольтеровски, как нарочитый, сознательный обман «жрецов», как обманывание, введение в заблуждение. И еще потому так трудно дается ему «переоценка ценностей», что Ницше одновременно мыслит ее и как своего рода болезнь и нигилистическое проклятие человечества, от которого страдает сам, принимая на себя такой крест. Но ведь ясно, что Ницше делает свои попытки переоценки ценностей с большим запозданием, — правда, его радикальные усилия по различным причинам тотчас же стали достоянием широкой общественности. В неотправленном письме императору Вильгельму II Ницше писал в декабре 1888 г.: «Переоценка всех ценностей» — вот формула, которой обозначаю я акт величайшего самоосмысления, какой должны совершить люди». И в том же письме пишет о грядущем «колоссальном кризисе, какого еще не бывало на земле», о «глубочайшем конфликте совести в человечестве, который будет вызван решением, принятым вопреки всему, во что до сих пор веровали люди, чего они требовали, что почитали священным». В своем предвидении величайшего кризиса Ницше оказался прав, так что мы можем сказать: чего-то да стоит философия, которая может делать правильные предвидения! Но ведь вот что странно: это решение, которое будет принято вопреки всему традиционным верованиям людей, — разве не означает оно переоценки всех ценностей, то есть того самого, что пытался ведь произвести и сам философ? То есть он вроде бы предупреждал кайзера против себя самого... И все же отметим для себя, что «глубочайший конфликт совести в человечестве» — вот в чем видит суть кризиса мыслитель, давно ославленный как имморалист...

А Маркс?

Теперь мне хотелось поместить сюда небольшой коллаж — сопоставление нескольких извлечений из журнала «Вопросы философии», № 5, 1990, где в сопровождении комментирующей статьи опубликован текст Троцкого «Их мораль и наша». В коллаже одна цитата пусть комментирует другую, а я только замечу, что в своей работе Лев Троцкий рисует себя как невинного сизокрылого голубя философской диалектики с ясными глазами. Итак, коллаж:

Лев Троцкий: «Сверхклассовая мораль неизбежно ведет к признанию особой субстанции, «морального чувства», «совести», как некоего абсолюта, который является ничем иным, как философски-трусливым псевдонимом бога... Небеса остаются единственной укрепленной позицией для военных операций против диалектического материализма».

А. А. Гусейнов: «Этика Троцкого, несомненно, принадлежит марксистской духовной традиции. Это доказывается не только идейной манифестацией самого автора, считающего себя в этике, как и во всех других областях теории и практики, революционным марксистом самой высокой пробы, не только содержательной близостью, а часто даже дословными совпадениями его суждений о морали с высказываниями В. И. Ленина. Более важно и существенно другое: Троцкий завершает марксистскую теорию морали, наиболее полно и адекватно представляя ее в социально-практической части, на выходе в ту область реальной человеческой деятельности — область классовой борьбы и революции, которая согласно теоретическим канонам научного коммунизма является единственно возможным, абсолютно необходимым и весьма желательным способом нравственного самоочищения цивилизованных обществ».

«...Тезис Троцкого о том, что революционная мораль сливается с революционной стратегией и тактикой пролетариата, органично входит в марксистскую этическую концепцию, является ее итоговым — и в логическом, и в историческом плане — выводом».

Лев Троцкий: «Если бы революция проявляла меньше излишнего великодушия с самого начала, сотни тысяч жизней были бы сохранены».

«После того, как парижская Коммуна была утоплена в крови, и реакционная сволочь всего мира волочила ее знамя в грязи поношений и клевет, нашлось немало демократических филистеров, которые, приспособляясь к реакции, клеймили коммунаров за расстрел 64 заложников во главе с парижским архиепископом. Маркс ни на минуту не задумался взять кровавый акт Коммуны под свою защиту».

А. А. Гусейнов: «То новое, что вносит марксизм в этику и что действительно отличает его (отличает принципиально, так что здесь можно говорить о революционном перевороте, разрыве традиции) от всей предшествующей этической мысли, состоит в следующем: марксизм переводит общегуманистический моральный идеал в практическую проекцию, мыслит его реально осуществимым в ходе исторического развития».

«Основной упрек, который... мог бы выставить этик, состоит в следующем: Троцкий отождествляет практическую необходимость и целесообразность с нравственной оправданностью; политическое принуждение он возводит в моральное убеждение».

Лев Троцкий: «Как быть, однако, с революцией? Гражданская война есть самый жестокий из всех видов войны. Она немыслима не только без насилия над третьими лицами, но, при современной технике, без убийства стариков, старух, детей».

А. А. Гусейнов: «Насилие было и остается мощнейшим орудием истории. И этика, разумеется, не может не считаться с этим фундаментальным фактом. Она и считается с ним, рассматривая насилие как основную подлежащую нравственному осуждению реальность и констатируя абсолютную несовместимость морали с насилием».

Лев Троцкий: «...наиболее искренние и, вместе, наиболее ограниченные мелкобуржуазные моралисты живут и сегодня еще идеализированными воспоминаниями вчерашнего дня и надеждами на его возвращение. Они не понимают, что мораль есть функция классовой борьбы; что демократическая мораль отвечала эпохе либерального и прогрессивного капитализма; что обострение классовой борьбы, проходящее через всю новейшую эпоху, окончательно и бесповоротно разрушало эту мораль; что на смену ей пришла мораль фашизма, с одной стороны, мораль пролетарской революции, с другой».

«После Шефтсбери жил Дарвин, после Гегеля — Маркс. Апеллировать ныне к «вечным истинам» морали значит пытаться повернуть колесо назад».

А. А. Гусейнов: «Так как мир плох, человек желает, чтобы он стал иным: на этой основе формируется идеальный образ морали, который связан с реальным человеческим бытием как его отрицание. Поэтому-то общегуманистический канон не только в своей отрицательной части («не убий», «не лги», «не кради»), которая является наиболее определенной и предметной, но и в позитивной (требование добра и любви к ближнему) представляет собой простое переворачивание фактических отношений между людьми».

«Марксизм принимает общечеловеческую мораль, осмысленную в рамках классической этики, как отрицание реально бытовавших в жизненной практике нравов. В том, что касается нормативного содержания морального идеала, он не вносит ничего нового. Гуманистический пафос, вдохновлявший этические поиски классической философии, в полной мере свойственен также марксистскому миропониманию».

В ЧЬЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НАХОДИТСЯ РУССКИЙ НАРОД?

Ошибется тот, кто подумает, что я сейчас так и дам ошеломляющий грандиозный ответ. Нет, я не знаю ответа. Ну, а откуда же тогда сам вопрос? Почему думать, что русский народ не сам по себе, а кому-то принадлежит и находится в чьем-то владении?

Виной привычка спотыкаться о всякие мелочи, которые обычно и сам не замечаешь, а когда-нибудь один раз и заметишь. Опять же с газетой перед глазами. Спотыкаешься, видя в очередной раз, что у кого-то что-то сказалось знаменательное, причем, конечно, далеко не так существенно, кто именно сказал, а важно только, что нечто знаменательное вообще излилось на бумагу, быть может, даже и полусознательно. И, конечно, привычка спотыкаться о мелочи и вслед за тем думать, что они означают несравненно более крупную тенденцию, может показаться надоедливой. И тем не менее...

Читаю в новой статье, посвященной переходу к рынку, о том, что в неприятии рынка некоторыми слоями нашего населения проявляются «и наши национальные особенности; еще в первой половине нынешнего столетия Н. Бердяев, характеризуя психологию русского народа, обратил внимание на недостаточное развитие личного начала в русской жизни. «Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери»,— писал он. Тяга спрятаться за коллектив отчетливо проявляется и в поведении наших современников. А рынок делает ставку на творческий потенциал человека, где личные качества значат больше, чем принадлежность к тому или иному институту».

Обо что же тут спотыкаться? Ну, прежде всего, откуда эта новая манера ссылаться на Н. Бердяева так, как если бы то был В. Ульянов или Н. Ильин и его устами глаголила истина. Притом еще с формульно значимым введением в цитату: «Еще Н. Н. говорил...» — а раз говорил, так уж ничего не попишешь... Это одно, а другое: развитие личного начала в жизни и творческий потенциал личности — разве это не несколько разные вещи? И, третье, разве сказанное философским эрзац-классиком — такая уж непогрешимая истина?

Хорошо. Пусть мне и покажется, что здесь спутаны довольно элементарные вещи,— разве русская история и история русской культуры может пожаловаться на недостаток людей с творческим потенциалом и личными качествами, даже и вне зависимости от «институтов»? — главное ведь, главный урок истории культуры, что личное начало исторически выявляется, и проявляется, и развивается среди коллектива не по одной какой-либо стереотипной схеме, а крайне многообразно, так что современная наука только подходит сейчас к осознанию этих почти не учтенных еще многообразных возможностей выделения и становления личности.

И все же, хотя мне Н. Бердяев отнюдь не представляется безошибочным оракулом, в его словах наверное заключена большая доля истины, — той истины, которая по-разному просматривается в русской истории. Примем даже эти слова на веру. И что же будет, если мы, спокойно и целиком приняв эти слова на веру, вместе с тем автором, из которого я привел большую выдержку,— что же будет, когда мы с этой верой вдруг перейдем или перепрыгнем сразу к той рыночной экономике, что неуклонно движется на нас? И движется с такой неумолимой силой, что та самая газета, из которой я беру материал, в первой же строке своего выпуска утверждает: «Характерная черта сегодняшнего дня — это рост популярности идеи перехода к рыночным отношениям», — хотя эта

цепочка из трех родительных падежей — «рост популярности идеи перехода» и т. д. верно, сомнительнее даже бердяевского утверждения? Так что же будет, если мы от Бердяева скакнем сразу в этот сегодняшний день? Будет то, что с полной ясностью вспыхнет перед нами вдруг: русский народ тянут к такой организации экономики, которая не отвечает устройству русской жизни.

Но и это только одно — из того, что вдруг становится ясным: потому что есть и другое: и в прошлом, насколько оно обозримо, организация экономики в нашей жизни не отвечала психологии русского народа..

Конечно, тут кто-нибудь скажет: вот ведь откровение, как будто этого раньше не знали! Или приведет свое любимое латинское изречение: Желающего идти судьба ведет, не желающего — влачит (или «волочит», или еще и «тянет»). Конечно, знали, и, конечно, тянет. Но ведь одно дело, когда это мне скажут в лоб (и я, быть может, не поверю), а другое — когда это у кого-то естественно сказалось (а он, может быть, и не хотел), и тут я подумал, подумал, и понял; последнее как-то вернее — когда подобные увесистые вещи начинают просыпаться в текст сами собою... И о требовании считаться с международной экономикой, ее организацией и ее устройством я безусловно слышал тоже. Но мне-то именно сейчас было важно другое — именно то самое, что с такой внезапной ясностью и открылось мне. И, скорее, не в таком неведении стоит меня упрекнуть, а в том, что я все время говорю о «русском народе», о «русской жизни» — так, как будто они наличествуют просто так, в чистом виде. Уверяю, что это и меня очень коробило. Я ведь твердо знаю, что этого просто так нет. И тысячекратно убедил меня в этом приведенный текст. Ведь из него я понял, что «русский народ» куда-то тянут (или, если угодно, волочат), куда ему, если бы он был, ему не хотелось бы тянуться. А тогда и вставал бы сам собою вопрос: кто же это тянет и кто же это имеет над ним такую власть, чтобы тянуть, и, коль скоро имеет власть, чтобы тянуть, то, следовательно, им владеет, а он, стало быть, народ, будь он только тут, находится в его собственности? Отсюда и мой вопрос, и тут я осекаюсь, потому что действительно не знаю. Я не знаю и спрашиваю не для того, чтобы дать ответ, а чтобы мне ответили. Ясно только одно, что кто-то им владеет и он — чья-то собственность. Но чья?

Повторюсь, дабы не было недоразумений. Я о русском народе и о русской жизни говорил только для краткости и с известным смущением — только потому, что так говорит автор текста, столь многое для меня прояснивший. И кроме того, я вовсе не собирался утверждать что-то от себя. Я хотел только разобраться в том, что мне говорят, и не хотел нести отсебятину. Я от себя никогда не посмел бы говорить о русской жизни. И вообще за каждое слово от себя я готов нести ответ, но это не мое. И слово «тянуть» тоже не мое — я, размышляя над чужим текстом, все время думал, что русский народ куда-то тянут, но ведь и это слово тоже есть в тексте. Не будь его в тексте, можно было бы сказать — влачат (в высоком стиле), волочат (согласно излюбленной манере цитировать классиков). Влачит — судьба, а, скажем, «тянут» — это те, в чьей собственности народ. Так и это есть в тексте — там ведь сказано о «тяге спрятаться за коллектив», а это ведь и означает: человека тянет, или он тянется за коллектив,— и, конечно, в этот самый миг, когда его тянет и когда он тянется, его, естественно, и тянут в другую сторону. Если бы его не тянули (куда он не хочет тянуться и куда его не тянет), он, понятное дело, и не тянулся бы и его не тянуло бы в другую сторону — в ту, куда ему хочется. Он не тянулся бы и его не тянуло бы, а он бы просто находился там, где ему хочется находиться. Выходит, он куда-то тянется, потому что его тянут туда, куда ему не хочется, где ему не хочется находиться.

Ну а куда же его тянет? Спрятаться за коллектив. И почему же? Автор мой говорит: нет у него, у того, значит, которого тянет и которого тянут, нет у него творческого потенциала, нет личных качеств, которые значили бы больше и т. д. Вот тут я к ужасу и стыду своему начинаю расходиться с автором, которого так оценил, пока он раскрывал передо мной столь трудные и объемистые для постижения истины. Я начинаю с ним не соглашаться, потому что меня вдруг тянет выйти за рамки текста. Мне кажется, не потому этого человека потянуло спрятаться за коллектив, что Н. Бердяев еще в начале века сказал, а потому, что теперь этому человеку говорят: ты будешь беден, ты будешь нищ, ты станешь безработным и потеряешь даже то, что имел (ну хотя бы такую абстракцию, как право на труд), ты будешь ходить в столовку для бедных (до сих пор он, верно, ходил в столовку для богатых, но там хоть расплачивался сам) и т. д. Разумеется, сказали это ему не так, чтобы прямо уж пообещав: будешь, и все тут. Нет, сказали о возможности сделаться всем этим и тем самым обрести невиданные и неслыханные доныне социальные ценности и достижения. Но, не вдаваясь даже в психологию русского народа, скажите честно,— разве недостаточно хотя бы этих немногих, пусть и не вполне твердых обещаний, чтобы человека сильно потянуло спрятаться за коллектив? Скажите же честно! Тем более, что ведь не Лариса Пияшева же и не Сергей Колобанов это сказали, и не я это пообещал и не покойный Н. Бердяев, а вполне правительственные и ответственные уста одного из русских экономистов. И сказали так, что для ушей, которые слышат, это, может, прозвучало, как вполне внятная маленькая иерихонская труба-пикколо. Так удивительно ли, что потянуло прятаться за коллектив? Если так трубят и так тянут, изображая судьбы, то, пожалуй, потянет. И, пожалуй, потянет даже совершенно независимо от психологии русского народа. Просто потянет куда-нибудь спрятаться, все равно, казах ты или якут. Я потому и памятник первому фарцовщику предлагал в шутку поставить, что этот шуточный памятник мог бы с давних пор служить предостережением и напоминанием — напоминанием о необходимости вырабатывать в себе творческий потенциал, на который сделает ставку рынок; уже давно люди знали бы, куда их потянут, и успели бы накопить большой творческий потенциал, и приготовились бы ушами к звукам трубы.

«...а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг»...

Я поначалу, дописав до этого места, хотел признаться, что совсем раздваиваюсь и расстраиваюсь, не зная, о чем в первую очередь теперь говорить, — так много на меня накатилось от моего автора — от того, в которого я старался внимательно вчитываться,— больших, волнующих тем.

Говорить ли о бездомности человека, которого тянет и которого тянут — в разные стороны тянет и тянут его! О бездомности, так сказать, метафизической (а притом и до последней, до последней мыслимой степени конкретно чувственно осязаемой), что присуща человеку, которого все только тянет и которого все только тянут и у которого, видно, нет своего места и своего дома на земле, нет совсем настоящего и абсолютно и безраздельно своего места на этой земле. Отчего так и было мне не по себе, когда мой автор говорил все только о русском, да о русском, как будто у этого русского человека и у всего этого русского есть совсем, и окончательно, и бесповоротно свое место. Так, как если бы не отнимал и последнего близко родственный по крови Петр Харченко из Киева (простите за неуместную отсылку к личности)!

Говорить ли моему автору о том, что, пожалуй, особенно не надо и «элементов сталинского мышления» (как пишет он ниже), чтобы кого-нибудь упрекать «в предательстве классовых интересов»,— тут ведь, в этой обстановке, когда все запуталось и когда все еще больше и больше запутывается, уже не знаешь, кого и винить. Вот люди и бросают друг другу обвинения, но в кого попадут они и на ком залипнут? Когда кричат друг другу: «фашист!» — то это в кого у нас попадает? Или этот плевок сразу же начинает вращаться вокруг Земли как спутник? Так и со «сторонниками радикальных перемен», которых, пишет автор, в том-то и в том-то упрекают. Да кто эти «сторонники радикальных реформ»? Я ведь тоже сторонник радикальных реформ, потому что мне давно надоела вся наша убогая унизительная полицейщина. Но я же не из тех сторонников радикальных перемен, которые обещают людям нищету и безработицу. И которые, может быть, надеются, что в нашем самом справедливом обществе на земле в безработные выпадут только люди, лишенные творческого потенциала и недостаточно личностные, так что и поделом им, мол. Конечно, я о себе зря сказал, не к месту, потому что кому же какое дело до меня и моих мнений, я и готов считать себя и считаю той молчащей безличностью, которая если что и скажет публично, то не для того, чтобы заявлять свои мнения и программы как общезначимые; я лучше спрячусь за коллектив, голос которого должен быть весомее голоса единиц. И напрасно я сказал, что я тоже сторонник радикальных перемен и что я другой, не то, что другие сторонники. Потому что никто и так бы нас не перепутал. Ведь сторонники радикальных перемен — это у нас те, кто так прямо выходит и говорит: вот я сторонник, и вот слушайте меня. Сторонники — это ведь те, которые тянут и помогают тянуть, или волочить, или влачить (кому как нравится), это те, которые вместе с судьбой, те, которые прислушиваются, откуда дует... труба. Это прежде всего русские экономисты. И другие люди. Да и те, в собственности которых находится пусть и не русский, но вообще народ. Вот эти неведомые личности.— Послушайте, может быть, это те, которые ГУМ-то могут купить?..

Говорить ли о том, об этом, раздваиваться ли, расстраиваться ли... Я хотел говорить, а потом передумал, и вот почему: тут опять пришли на ум слова апостола: «...а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг». Они, как всегда, кстати пришли. И если мне поначалу хотелось говорить об одном, о другом, о пятом, о десятом,— все под впечатлением прочитанной статьи, которая так открыла мне глаза, — то потом уже не захотелось, и я только рассказал о том, о чем стал бы говорить, если бы это все еще было к месту.

Потому что мысли пошли об ином. Вот приходят к человеку и говорят ему: ты будешь несчастен и нищ. А что же он? Он же — в зависимости от темперамента — он отвечает: Да вы что? Да не вы ли обещали мне, что я буду богат и ни в чем не буду иметь нужды? И прочее, и прочее (я вкратце пересказываю и в литературной форме, чтобы никого не смущать,— мало ли чего он там насказал!).

А вот другой «он», и этот другой «он» отвечает, к примеру, так: «Вы говорите, я буду несчастен и нищ? Спасибо за добрые вести, ибо сказано в Писании: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг». Я это читал и давно знаю. Вы говорите — я буду, а я уже есмь. И вы что-то от себя мне обещаете, но мне не надо ваших обещаний, потому что у меня уже все есть. Или, может быть, вам кажется, что я богат и ни в чем не имею нужды. Но это — богатство в ваших глазах, и это мое богатство — нищета пред Богом. Так что вы можете взять и присвоить себе то, что в ваших глазах кажется богатством, а я останусь с той нищетой, которая была и будет со мною».

Ну вот и представим себе, что такой

«он» нашелся бы. Так ему не надо было бы даже прятаться за коллектив — он же сам всегда с собой, и его никак даже сдвинуть нельзя со своих владений, потому что он заведомо владеет всем своим. Так что разве что можно пресечь его существование и разделить его с его жизнью, но только и смерть ведь ему не чужда и тоже входит в то, чем он искони владеет. Он не страшится смерти, и она уже в нем. Правда, не так владеет он собою и всем самим, чтобы вращаться вокруг самого себя как вокруг Солнца, но это только свидетельствует о многообразии тех форм, в каких для человека возможно владеть собою и своим (равно как существует множество форм, в каких человек не обладает и не владеет собою и всем своим). Для такого человека, который так владеет собою и всем своим, сейчас же отпадает неисчислимое множество вещей, ибо они становятся совершенно ненужны ему. Например, станет ли он размышлять над тем, как получше применить насилие в истории? Или станет ли он размышлять о Льве Троцком? И, например, войдет ли Лев Троцкий в пределы его владений? И, например, если придут и скажут ему: И ты будешь нищ и гол, и не будешь читать Льва Троцкого, и не увидишь книг, написанных им,— так, вы думаете, он начнет рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом и решать вопрос о том, завершает или нет Лев Троцкий марксистскую этику, что, впрочем, трудновато решать, не имея под рукой текстов? Или, положим, он захочет волочить куда-то людей? Вместе с судьбой и с другими?

Пытаясь вообразить себе этого иного «его» — не того «его», что немедленно придет в ужас и исступление, как только ему пообещают, что он станет нищ, — пытаясь вообразить себе этого иного «его», я твердо знаю, что бесконечно отстаю от него, от его реальности, — потому что ведь он вне всякого сомнения всегда существовал и существует в самой жизни. Им же спасались целые города! Я не столько пытаюсь сказать что-то от его лица, сколько пытаюсь лишь отдаленно намекнуть на то, что мог бы сказать этот «он», появись он теперь между нами.

Этот «он», конечно, сейчас же бы сказал нам, что же нам нужно всегда помнить и твердо держать в себе, чтобы уже никогда не могло быть так, что нас куда-то тянут, или волочат, или влекут, или влачат.

От себя я только одно скажу: единственное средство борьбы с нетерпением — это терпение.

Но какое уж тут терпение, если мы все дрожим от нетерпения? Если уж нас всех скрючивает от нетерпения?

А посмотреть с другой стороны, что это за терпение, что это такое?

Ведь терпеть удары судьбы (когда она нас волочит) — это не многого стоит. Тут даже все равно, будем ли мы вопить под ее ударами или будем, стиснув зубы, молчать. Результат ведь все равно один — «волочат!»... Терпеть с воплями — это уже и не терпение, а нетерпение, самое настоящее. А терпеть, стиснув зубы,— это разновидность равнодушия, которая и на руку судьбе, что нас волочит.

А терпение более настоящее — это когда удары бьющей по нам судьбы не достигают цели и падают как бы в пустоту. Надо иметь крепкий запас знания и мудрости, чтобы было так. Тот, кто всегда сам с собою, кто владеет собою и всем своим, того никуда не поволочешь. Тот останется всегда сам с собою. С тем ничего не поделает и сама судьба. И, как бы нелепо ни обрывалась жизнь его, она всегда полная и цельная, она и перед нашими глазами, нам в пример. Сколько таких людей было у нас в XX веке, сколько имен уже знаем, сколько имен еще не знаем.

И все же, когда нельзя волочить одного, других-то волочат. Так что для совсем всех это еще ничего не решает.

Но это говорит нам лишь об одном — о том, что настоящее противостояние судьбе — это дело и моральное, и коллективное. И безусловно только такое. То есть это дело, которое можно сделать только вместе, коллективом или обществом. Вот тогда на месте равнодушия и беспамятства вырастет препятствие для волочащей судьбы. Для этого нам только крайне необходимо очень многое заново вспомнить и усвоить, то есть сделать своим, внутренним. Вот тогда не нужно будет прятаться за коллектив — совсем не нужно будет прятаться.

Терпение не сладко.

Тут надо помнить, например: «ты нищ и слеп и наг». Знать это как свое. Тогда и отнятие зрения не страшно. Неисчислимы богатства твердо знающего, что он нищ. Надо только уметь твердо знать!

Тут надо вспомнить и знать, например, что наша историческая ситуация при всей своей конкретности, при всей неповторимости того, чем она наполнена, что эта ситуация все же предвидена и что, стало быть, она есть в человеческом знании:

«Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это — суета и зло великое!» (Екклесиаст, 2, 21).

«Человек» и, правда, ждет уже — то он подстерегает нас за углом, то кроит свои экономические планы, то спекулирует — промышляет валютой, чтобы вскоре купить нас же на рынке, и т. д.

Но ведь раз такая ситуация есть в человеческом знании, раз она есть, и она предвидена, и описана, то нам не надо так уж страшиться ее — она не новая, и не последняя, и не окончательная. И это тоже может быть источником терпения. Пусть не сладкого, а горького.

Ибо бывают горькие утешения, и настоящие — это горькие:

Река времен в своем теченьи
Уносит все дела людей...

Последние, утешительные стихи Гавриила Романовича Державина...

ДВА ГЕРОЯ
(окончание)

Со стыдом должен я признаться, что не знаю имени нашего героя. Настоящего героя наших дней. И что уже быльем поросла память его, как столь многих наших героев, подвижников.

Что же, и в том есть высшая справедливость. И самое русское в том, что самоотверженность приносит себя в жертву, не думая о том, чтобы творить себе имя, не думая об имени и славе. И уходит жертва в тело народное, и отражается в самочувствии народа, в его ощущении, что он и зачем он на свете, без слов.

Чем совершеннее явление, или дело, или вещь, тем меньше о них можно сказать. Это не случайность какая-то и не несовершенство человеческих сил выражать все высокое. Ведь у Данте, как говорят, интереснее, красочнее получился «Ад», чем «Рай». Не потому, что сил и вдохновения не хватило. Это понятно со всех сторон: ведь чем глубже погружаются вещи в реальность, чем больше распадается в них единство смысла, чем больше единый смысл, как говорится, дифференцируется, обретая многообразие и изобилуя деталями, тем красочнее и занятнее становятся вещи, тем легче о них говорить, изображать их, всячески расписывать и обсуждать. По той же причине у Толстого в «Анне Карениной» сказано, что счастливые семьи похожи одна на другую, а несчастные — несчастны каждая по-своему. Это хотя и не совсем буквально так, но все же счастливые семьи совершеннее, пусть и ненамного. О совершенном слушать бывает «скучнее», а похождения какого-нибудь разбойника можно рассказывать с продолжениями, в нескольких номерах газет. Мерзавца можно разоблачать годами, а рассказывать о праведнике, притом интересно, редко кто возьмется. Потому что в «интересе» проглядывает хотя бы и сама малая корысть, а праведник бескорыстен и непривлекателен порой отсутствием такого слишком человеческого.

Поэтому и Гете было мало что сказать о Фаусте, когда его поднимают в небеса ангелы и когда к нему пристали только лишь самые остатки земного, а о Фаусте, пока он жил и творил свои бесчинства на земле, возвышаясь постепенно до самых что ни на есть государственных масштабов мышления и подлинно строек коммунизма, о таком Фаусте Гете повествовал шестьдесят лет с лишним и еще задолжал нам ответ: отчего надо было возносить в небеса вот такого бесчинствующего персонажа.

Так что есть и высшая справедливость. Настолько наш настоящий герой сделал мало, что не сделал почти ровным счетом ничего — не потряс никакие масштабы и никакие пространства, и трехсекундный подвиг его совершился вдруг сразу,— настолько мало он сделал, что сделал сразу все без деталей и без всякой красочности. Так он — наикратчайшим путем — и достиг сразу самого совершенства.

И тогда, именно благодаря такому совершенству, опять становится ясно, что самый высокий и совершенный подвиг состоит по большей части не в делании чего-то, а в неделании чего-то, и, для примера, прежде всего не в том, что кто-то что-то будет с усердием и не покладая рук, восторженно и ожесточенно, строить, строгать, рубить, резать, сочинять, писать, говорить (что, разумеется, и хорошо, и необходимо), а в том, что всякий миг будет осуществляться или, если не прямо осуществляться, то делаться видимым и ощутимым единство цельного смысла — его полнота.

Такого единства прямолинейными ходами никак нельзя достигнуть, как нельзя ничего, в сущности, сказать о совершенном. Единство людьми достигается всякими косвенными средствами, и среди них — всякое искусство. Музыка хороша тогда, и это внимательные слушатели музыки подтвердят на собственном опыте, когда она, пусть даже и громкая, дает прозвучать окружающей звук тишине и дает сказаться безмолвию. Это достигается весьма по-разному, и иногда музыкальное произведение звучит, как бы пребывая в середине организованного ею широкого пространства, где словно звучит сам воздух, то есть тишина окружающего безмолвия тоже начинает входить внутрь такой глубоко продуманной и прочувствованной музыки.

То же и поэзия: слова поэта бывают красочны, красивы, выразительны, но когда поэзия — настоящая, то и слова поэта бывают окружены безмолвием и это безмолвие окружает смысл слов и множит его, нередко делая и самые обычные слова необыкновенными, носителями такого смысла, о котором впрямую не скажешь ничего.

Так приближается искусство к Слову и так приближает к нему нас. Так приближается и совершенное дело, подвиг.

Слово, о котором нельзя сказать, безмолвно. Слово, невыразимое, безмолвно. Его проявляют для нас музыка, поэзия, живопись, подвиг. Они проявляют его для нас, делая ощутимым для нас безмолвие, безмолвие в его совершенстве, безмолвие сокровенной полноты смысла.

Скорбна судьба колоколов, которым велено молчать. Это трагедия связанных языков. Им велено молчать.

Звук колокола проявляет гармонию вселенной, гармонию бытия. Однако и гармония вселенной невыразима и безмолвна. Звук нужен, чтобы проявить беззвучие совершенства. Поэтому над гармонией колоколов звучащих еще возвышается гармония колоколов, безмолвствующих в своем звучании, молчащих среди самого звона. Проявляющих полноту единого смысла и Слова.

Гармония молчащих колоколов.

Чудо молчания.

...Не думать о завтрашнем дне? Да ведь для нас ли это сказано, для тех ли, кто погряз в суете дня настоящего...

ПОЭЗИЯ

ВИКТОР БОКОВ



ЕСТЬ РАДОСТЬ РОДНИКОВ

Россия

Россия — хаты и лачуги,
Засýха, бедность, недород.
Она ж — и Муромец в кольчуге,
Когда злой варвар у ворот.

Она же и Аника-воин
С мечом, карающим врага.
Поют: «...Мы наш, мы новый мир
построим...»,
Но Русь раздета донага.

Ее часовенки разбиты
Заботой, где достать кирпич...

Не побоялися бандиты,
Не защитил родной Ильич!

От Чингисхана и Мамая
Среди холмов, ухабов, меж
Лежит дороженька прямая
До наших собственных невежд.

Всё рушили! И богоматерь
Не избежала топора.
Встань грудью против зла, ваятель,
Клади кирпич, пришла пора!

* * *

Пристанционные березы,
Пристанционные киоски,
Пристанционная толпа,

Которая всегда похожа.
И не боюсь сказать, итожа:
Как сто веков назад — глупа.

БОКОВ Виктор Федорович родился в 1914 году в деревне Язвицы Загорского района Московской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор более двадцати пяти стихотворных сборников, а также широко известных в народе песен «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет...», «Колокольчик», «А любовь все жива» и многих других. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

А поезда идут в Воронеж,
На лозунге «За что боролись?»
Написано: «Да ни за что!»
В вагон полез Мурло Мурлович,
За ним знакомый мой — Мироныч,
И чье-то серое пальто.

И одичалый окрик галок
Мне чем-то мил и чем-то жалок,
А чем? Да кто их разберет!
Стою, как многие, с авоськой,
А рядом парень с папироской
Мне говорит: — Везде народ!

* * *

Есенин мне все ближе, все дороже,
Он неотступно следует за мной.
Поэзия его меня тревожит,
Как поднятый плугами пласт
земной.

Телега пахнет маслом конопляным
И веником березовым чуть-чуть.
Понюхаешь и сделаешься пьяным,
И широко вздохнет от счастья
грудь.

Не мудростью Сократа сердце
бредит,
Не обличеньем нынешнего зла,
А тем, что сельский парень
тихо едет,
Прислушиваясь к скрипу колеса.

Казенная земельная затея
Не стала изобильем на столе.
Вся сила современного Антея
Не в космосе—в навозе и в земле!

\+\+\+

Университет

Московский университет
Стоит, гербом упершись в небо.
Учиться мне теперь не треба,
Зачем учиться? Я поэт!

Мне не поможет Менделеев,
Другой мне предназначен путь.
До трех я дожил юбилеев,—
Четвертый — справлю как-нибудь!

* * *

Твои глаза — два синих дыма.
И синий лед реки Ловать.
Мне каждый день необходимо
Глядеть на них и целовать.

Ты идеал и совершенство,
Со смелым вылетом бровей.

И нескончаемо блаженство
В улыбке солнечной твоей.

Идешь и травы никнут долу,
И лес навытяжку стоит,
И по лесному коридору
Навстречу иволга летит!

Анна Ахматова

Голос ее звучит во храме,
Он спокоен и величав.
В нем решительность и упрямость
И сиянье церковных глав.

Под ногами земля тверская —
Поле, бабы, суслоны, серпы.

Анна — сельская иль городская?
Божья матерь иль вождь толпы?

Будь божественна, осиянна
И не меркни во веки веков!
Как ты гордо держалась, Анна,
И терпела от большевиков.

* * *

Мне твое левение
Кажется придуманным.
Не было неверия
У меня в роду моем.

Мать молилась боженьке,
Не жалея спинушки.
Кланялася в ноженьки
Кормилице-нивушке.

Было выше разума,
Выше света белого:

Если слово сказано,
Значит, дело сделано!

Речь не пустяковина
Не пустые новости.
Тонет пустословие
В нашей бестолковости!

И твоя начитанность
И твое кричание
Умопомрачительное
Омутомельчание!

* * *

Есть радость родников,
Есть подлый дух застоя.
Коль спросят, кто таков?
Отвечу, что никто я.

Хожу, надев кожух,
Юродивый наивный.
И будоражу вслух
И реки и долины.

Возьму я ноту — ЛЯ —
На дудочке-свирели.

И спросит вся земля:
— Ты это в самом деле?

Возьму я ноту — МИ —
Она придет из жизни,
И, может быть, людьми
За это буду признан.

Перехожу ручей,
Вода о камни бьется.
И целый сноп лучей
На дне его смеется.





ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II
ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
РЕВОЛЮЦИЯ

66

Могилёв напоминал огромную офицерскую гостиницу: всё время прибывали, убывали. Полковники и генералы, приехавшие с фронта, могли рассчитывать быть приглашёнными и к высочайшему завтраку или обеду — но для этого надо было заявиться, а потом ждать. Такой цели, однако, и такого желания у Воротынцева не было.

Издали видел он, как Государь перед своим домом делал смотр терской конвойной сотне, воротившейся с фронта, довольно и этого погляденья.

В офицерской столовой при Ставке многие не успевали узнать друг друга, приезжали накоротко по служебным предписаниям, уезжали, состав обновлялся от завтрака к обеду и к ужину, и за столиками сочетались всё понову. А между тем наблюдатель, сторонний духу этих людей, даже не догадался бы, что они вовсе не сознакомлены хорошо, что они не служат вместе годами. И всегда свойственная кадровым офицерам (а прапорщики не попадали сюда) взаимообязанность, так выраженная в общности формы, поведения, отдачи чести, сильно углубилась войной, уже о третьем годе, смягчились прежние мелочные разногласия между гвардией и армией, родами войск, училищами, полками; напротив: между любыми двумя офицерами-фронтовиками, оказавшимися рядом, проявлялись дружелюбие, сочувствие, даже забота, как между старыми однополчанами, — особая дружественность, когда нет обязательных служебных отношений. Одно общее все отведали, одно общее всех ждало, сегодня полковник, а завтра покойник. И если кто-то мог другому посоветовать, объяснить, помочь,

Окончание. Начало в №№ 1—11 за 1990 г.

облегчить, — каждый спешил это сделать по некоему высше-семейственному чувству. Их, таких, за годы войны поредело втрое и вчетверо, а долг и задача разлагались по плечам, по погонным прямоугольникам оставшихся.

Так и усевшиеся за столик с Воротынцевым завтракать капитан, подполковник и пожилой сапёрный полковник с тяжеловесной головой, друг друга не знали — и знали хорошо. Ни фамилий, ни частей своих ещё не назвали, а, едва усевшись, держались знакомо, приязненно.

И Воротынцев с удовольствием принял этот тон, после короткой поездки и небывалых встреч опять переводивший его через свой порог — в армию, в полк, в невылазное и привычное фронтовое бытьё. Принял и перебегающий разговор: подполковник и капитан поругивали столовую и порядки в Ставке, и само расположение её, и офицерскую гостиницу, но всё это в шутку, взамен выдвигая преимущества жизни в землянках. У подполковника с золотым зубом из-под дерзких губ особенно легко, забавно получалось. Он уверял, что если уцелеет, то в городе уже всё равно не сможет жить, а построит на окраине блиндаж с хорошим обзором и ещё на дерево будет лазить смотреть.

А вот и анекдот. Пленный немецкий офицер сказал: «Вы, русские, утверждаете, что вы не готовились к войне. Но как же бы вы в такое короткое время могли сделать свои дороги столь непригодными? Ясно, что вы испортили их заранее.»

Воротынцев подумал: как странно, что за всё путешествие по столицам нигде не пришлось ему посмеяться легко. И какое ж это спасительное людское свойство, что чем хуже живётся, тем легче открывается человек смеху: совсем не смешное, а разбирает.

Коснулось могилёвских дам, местных и беженок, и золотозубый подполковник с жёлто-белыми усами балагурил:

— Был я когда-то молодым в гусарах, и то успехом таким не пользовался, как сейчас эти *земгусары.* Дамы расчётливые стали: этих не убьют, и оклады высокие, и форма защитная почти военная, ремни и портупеи навешаны гуще нашего. А как только Милюкова поставят военным министром, так нас уволят всех, а их — вместо нас, и будет армия вигов.

Сапёр, не принимая смешливого тона младших, качал головой мрачно:

— Вакханалия дармоедства на государственный счёт. Приезжают с тысячами командировок, втираются в доверие фронта и везде разъясняют, что правительство никуда не годится, это во время войны! Почти поголовно левые и много евреев. А — в уездах, в губерниях как распоряжаются! Делают власть ненужной, и всё.

— Ловчат от мобилизации, — оценил капитан. — Ферты самой здоровой комплекции, если так любят Россию и победу, лучше б уплатили *налог крови.*

— А ещё — Красный Крест, нейтральная держава. Развели этих частных госпиталей только для разложения солдат. Нянчатся с ними, одевают в полотняное бельё, кормят изысканной пищей, нежат их там разные барыньки, а кто-то и брошюрки подсовывает. А потом — лезь в окоп, вошь, — не хочу!

— В Москве чуть не на каждом четвёртом доме флаг Красного Креста, — вспомнил Воротынцев, — Тысячи частных маленьких лазаретов, а врачи штатские, и никакого там армейского контроля.

Чего ни коснись, наворочено к третьему году войны, как теперь из этого выходить? Искусство надо.

— А ещё беженские комитеты по всей России! — вспоминали. — И тоже там призывной возраст сидит. А хорошее бы место для женского равноправия.

— Это и с беженцами, — заявил золотой зуб. — Взялось бы заве-

дывать ими правительство, и умерла бы одна девочка, — все газеты подняли бы вопль, и портреты этой девочки перед смертью и раньше, с мамой и с братьями, в пол-листа и в целый лист, переполнили бы прессу. А заведуют беженцами общественные комитеты, и умрёт две тысячи человек — будут писать и говорить: как мало! это — при миллионах беженцев!

Тут разговор расширился. Со столика через один послышалось громкое, и все стали оборачиваться туда. Там и не скрывались. Интендантский подполковник в пенсне, немного гундосый, со смачным удовольствием объявлял, что час назад разговаривал по телефону с Петроградом и ему сообщили: газеты вышли с белыми пятнами, во всех думских речах большие пропуски, о смысле можно догадываться только по оборванной связи. Но кто вчера был на хорах в Думе — потрясены речами, особенно милюковской.

— Такой исторической речи ещё не слышали четыре Государственных Думы! Он сказал что-то небывалое, сорвал все завесы!

Какие завесы? Не представить. Но тяжело ложилось на сознание: *сорвал все завесы!*

Батюшки, мы пока тут что — а там события шагают!

— Ничего, земгор постарается, теперь заработают пишущие машинки и ротаторы, все запрещённые речи будут и у нас, в армии, даже литографскими листками.

Кто дальше сидел — переспрашивали, и быстро передалось от столика к столику, уже гулом, разноречивым. Кто-то воскликнул, нарочито-громко, для многих:

— Отрадно, что есть в России трибуна, где за тебя скажут!

Чем меньше ясности, тем больше предположений. Угадывали: что б такое мог Милюков сказать?

— А Шингарёв не выступал, не знаете? — не удержался Воротынцев спросить противного интенданта. Стал ему Шингарёв совсем как свой.

— И что теперь будет? — спрашивали. — Разгонят Думу?

— Да никто никого не разгонит. Правительство утрётся, и так же останется на месте.

Сапёрный же полковник мало голову крутил на всё это оживление. Тут, над столиком, бурчал по-домашнему:

— Я не знаю, господа, как можно значение придавать, кто там с трибуны пукает, Милюков или Родичев. Вы спросите, они хоть одно дело настоящее знают? Я не говорю — сапёрное или артиллерийское, но вообще — заводское? горное? земледельческое? И куда ж они тогда лезут в ответственное министерство?

За соседним услышали, возмутились:

— Они никуда не *лезут*! Они выражают свободное мнение России!

Гудели многие, по-разному, но больше раздавалось в пользу Думы, как бы громче. Сапёр махнул безнадёжно:

— Нынешние министры хоть дерьмо, так служить умеют, приучены. А эти думские — только болтать. Поставьте завтра их Россию вести — они из клозета не будут вылезать.

Отзавтракали, расходились. Звенела столовая шпорами.

Снаружи стоял пасмурный, но тёплый день.

На крыше генералквартирмейстерской части торчал пулемёт в чехле, против аэропланов. И около него — часовой.

Воротынцев пошёл в оперативное отделение, на второй этаж, к Свечину. По приезде он видел его лишь бегло.

У Свечина был отдельный кабинет, обвешанный картами, обставленный папками, с тремя телефонами на столе.

— Да-а-а, — огляделся Воротынцев. — В Барановичах мы не так сидели: по три стола в халупной комнатёнке, и на всех один полевой телефон.

— Дело растёт, важнеет, — развалился Свечин в полумягком

скруглённом кресле. У себя на служебном месте не был он лихим башибузуком, как в петербургском ресторане в те несколько часов.— Впрочем, в Барановичах всю эту игру в вагоны и халупы ввёл Данилов. Можно было нам спокойно и в палатах жить.

Тоже и посетителю стояло кресло удобное, Воротынцев уселся.

— И кто ж это всё возглавит? Как с Головиным?

— Уже-е, пролетел наш Головин, не котируется.

— Так Рузский?

— До сих пор надеется. Но не выйдет.

— Так кто ж?

Улыбался Свечин, нечастой своей улыбкой, обнажая зубы непомерные, здоровые:

— Вообще-то, честно говоря, хотел бы его величество обойтись Пустовойтенкой. Чем не полководец? — почтительный, исполнительный, поперёк не скажет ни слова и об себе не возомнит. А инструкции? — ему Алексеев перед уходом на три месяца вперёд выпишет. Но так как его величество должен часто ездить в Царское Село — тогда что ж? Пустовойтенко уже и за Верховного останется? Это уж как-то не то.

Наружного пасмурного света не хватало, светилась настольная под зелёным матовым стеклом. Помягчевший Свечин набивал трубку и Воротынцеву другую протянул:

— Набей, хорошо.

— Так — кто же? — взял Воротынцев.

— Никогда не догадаешься, — черно поблескивал идол. — Отгадывай до трёх раз. Ищи из тех, на кого совсем, ну совсем подумать нельзя.

— Ты! — выпалил Воротынцев.

— Ты!! — перехватил Свечин. — Сказал Государь: «Эх, вот был у меня полковник Воротынцев, чуть самсоновского сражения не выиграл, вот бы я его назначил.» — «Так Ваше Величество, жив ведь!» — «Да ну? Где?» — «Вот, под Москвой где-то, штамп неразборчив.» А думаешь, я так легко мог бы тебе вызов послать?

В прошлый раз даже вспышка рассерженности была между ними, а сейчас — всё по-старому, устойчиво.

— Только на Николая Николаича не подумай. Хотя едет.

— Сю-да?? Это — первый раз со снятия?

— У-гм. Исторический момент. Хотел приехать к шестому — его день рождения и праздник царскосельских гусар, дядя ими командовал, племянник тоже служил, оба любят мундиры надевать. В общем, хотел дядя мириться или вдвоём без Алисы поговорить. Но — не разрешено. Велено ему приехать — после праздника, на другой день.

— Да в общем, да в общем, — покрутил головой Воротынцев. — Что ж — дядя? Пустомеля тот дядя. Один парад.

А Свечин это раньше него говорил. Теперь требовал:

— Ну, что-нибудь невозможное придумай! Ну, глупость скажи, но отгадай!

И смотрел со значением. Воротынцева как толкнуло, брякнул:

— Крымов?!

Свечин оскалился, широкозубый. Погрозил крупным пальцем:

— Ещё не забыл, не выкинул? Мне под конец показалось — ты образумился, не спутаешься.

Воротынцев даже и сейчас покраснел, перечувствуя тот стыд:

— Да у меня действительно в тот раз сложилось... Но были и другие соображения, не думай... Да собственно я и не полностью отказался от мысли...

— Ну и дурак, если так, — вывернул крупную губу Свечин. — А я за тебя порадовался, думал — ты хорошую отговорку нашёл.

— Какая же хорошая? Срам. Но не только...

Свечин надвинулся через стол:

— А что в их перевороте хорошего, Егор? И посыпется, и посыпется... Им, гучковистам и этому Жёлтому блоку, сейчас самое трудное кажется — как сшибить. Нет, вы мне покажите, кем и чем вы замените. Если худшими или неизвестно какими, так лучше не сшибать, крутится — и крутится. Из дома Романовых — ну скажи, кому заменять? Мальчик? Игрушка будет у регентского совета. Да и слабый, неразвитый, ну что это — в двенадцать лет обливает генералов водой? Портят его общими усилиями. Михаил Алексаныч? Полковник ниже среднего, куда ниже нас с тобой. Николай Николаич? Уже сказали. Владимировичи? Тот пыжится, тот кутила. Константиновичи? Пускай стихи пишут. И выходит — республика? кадетское правительство? Да надо себя не уважать, чтобы под ними остаться. Чтобы под них Россию отдать.

Это всё было верно. Но не Воротынцева была и задача это всё наперёд решать.

— А Гучков — регентом? — жёг чернотой Свечин. — Или премьер-министром?

— Он — не стремится. Помнишь, сказал насчёт провиденциального...

— Сказа-ал! Ещё как ли искренно? Не допускаю, чтоб совсем не... Такую штуку затевать — и не прозревать себе долю власти? Уж коли с таким делом спутаешься — так непременно и стремишься. А ты бы — не стремился? Сразу в сторону отошёл бы?

Воротынцев мимолётно улыбнулся. Он нисколько не стремился, честно — нет! Он только хотел действовать для спасения России. Но, прийдись до дела — сразу пришлось бы как-то и устраивать. Верно.

Свечин засек улыбку:

— Ага!

— Да нет...

— А скажи, они все хором обвиняют правительство в неуважении к идее права, что права их будто попирают, — а сами лезут на государственный переворот — так что же остаётся от прав? А?

Воротынцев думал, непривыкши потягивая трубку.

— И мясоедовская смерть на Гучкове. И вся история какая гадкая, раздули чего не было — а зашлёпали всё императорское правительство.

— Да, — встрепенулся Воротынцев, — а в чём именно мясоедовское дело, по сути, было, ты знаешь?

— Хорошо знаю. Мне варшавский комендант рассказывал, при нём был суд. В 1912 году Гучков Мясоедова разоблачал — кукиш! ничего не доказал и доказывать было нечего, демагогия. Но в газетах прогремело, и осталось пятно, что шпион, прилипло. А в декабре Четырнадцатого является в генштаб такой сукин сын подпоручик Колаковский, 23-го полка, там у вас в самсоновской он попал в плен, а потом, чтобы вырваться, изобразил из себя малороссийского сепаратиста, нанялся к немцам мнимым шпионом, они его перепустили в Россию, а он тут саморазоблачается. И чтобы больше веры — придумал, что очень ему, новичку, хвалили немцы своего шпиона Мясоедова — только не знают ни адреса его, который в петербургской адресной книжке, ни — где он сейчас. А просто этот Колаковский из газет запомнил, сработало старое гучковское враньё. Ну, как полагается, бумажка на Мясоедова пошла на Северо-Западный фронт, а он там переводчиком в 10-й армии. И тут бы ещё ничего не было, никто серьёзно, но через месяц армия потеряла в Восточной Пруссии корпус. И волнение на всю Россию. А ещё есть, ты знаешь, такая сволочь Бонч-Бруевич.

— Ну как же!

Задница. В Академии три раза диссертацию защищал, три раза проваливался, поставили его на администрацию.

— Так вот, он придумал и Рузского подтолкнул на это третье

вторжение в Восточную Пруссию. Теперь надо было найти виноватого — и ухватился Бонч за шпиона-изменника. Схватили и поспешно судили в Варшавской крепости. Главный доносчик Колаковский даже не присутствовал на суде! Защиты тоже не было. Улик — ни одной, хотя два месяца был приставлен к Мясоедову секретарь-наблюдатель. Для верности дали и вторую казнь — за мародёрство: в немецком доме, мол, статуэтки подхватил. Начали судить утром, к вечеру приговор, не дали послать телеграмму Государю, даже не дали попрощаться с матерью, она была в Варшаве, — и через пять часов той же ночью повесили. Заметали след?

— Хо-го-о-о! — только мог протянуть Воротынцев. В таких случаях представляешь невинно-казнённым самого себя. Верещагинский сын! — И никто не остановил?

— Николай Николаич утвердил по телеграфу. А Бонч после этого стал начальником штаба армии, потом и фронта. А Гучков не только не отступился, но теперь-то и разжигал это дело, чтобы свалить Сухомлинова.

Если приближённый военного министра — шпион, тогда и министр шпион?.. А тогда — что царь?..

Да, вот и Гучков. Вот — и пути политики.

— А что там вообще за публика, вокруг Гучкова дальше? — наседал Свечин. — Может похуже его намного?

— Да, перекосили его кадеты. Теперешний Гучков — не прежний.

— А конспирация? — Свечин обдымливался из крупной трубки. Сизо колебалось. — Конспирация — смех один? Встречным поперечным в любом кабаке всё открывает.

— Ну, на нас он мог рассчитывать.

— И это который раз уже наверно? И что ж ты думаешь, про их заговор не знают? Да весь Петербург говорит, что Гучков готовит заговор. Да уж в департаменте полиции, наверно, сто донесений. Какой он заговорщик? Любое дело погубит. Просто власть у нас робкая, не знает, с какой стороны каждый столб обойти.

— Да, на деле — Гучков ни к чему ещё, видимо... Всё на словах. А сложностей может оказаться... хо-о!.. — Воротынцев отложил погасшую трубку. — Да и программа его странная какая-то. Со всем этим можно завести Россию и похуже, да.

— И что придумали — откуда революцию? Откуда она у них выперла, я не вижу. Эти общественные деятели сами накричали, сами себя и запугали. Россия у них всегда пропала, уже пропала, от самого Рюрика, вопрос решённый. Конечно, августейший больше всех и виноват, он их и распустил. Всё мечется, не приткнётся, никогда у него не хватало смелости потеснить их. Не дай бы Бог ему одной дивизией непосредственно командовать — так бы и замыкался и на пулемёты навёл. Как его лучшие любимчики и делают. Но это — и не его задача. А восседает на троне давно, и уже это хорошо. И слава Богу.

— Он — не дивизию, он — всю армию так и навёл, — полновесно настаивал Воротынцев.

— Да это тебя Румыния довела, тебе и мерещится. Ты просто пересидел на передовых.

— А пойди, там повоюй.

— Чего ради я пойду, ты — сюда иди! Вздор какой! Разваливают, скотины, военную власть во время войны во имя якобы победы.

Воротынцев — на локти и ближе к нему через стол:

— Да не победы! Андреич. Деятели, может, и пугают, не видя. Но кто *знает* — пугаться есть чего. Поди да посмотри, из этого кабинета не видно.

Никуда Свечин не собирался, прочно утвердился:

— Просто — мятеж у тебя в крови вечно бродит. Ты — изродный мятежник. Ну, а у тебя какая программа? *Задремать*? Как это реально можно сделать при сближенных боевых линиях?

Да нет, если честно — так дрёмой одной не спасёшься, конечно. Что у Кюба сразу не выговаривалось — здесь теперь, после всего уж сказанного... Очень тихо:

— Надо — выйти из этой войны совсем. Влипли не по разуму.

Сколько он проехал с этой мыслью, и уже бывала на кончике языка — а ведь так нигде и не выговорил, совсем это не просто произнести офицеру. А вот — уже как будто и поздно, и не место?

Растаращился Свечин, вот заорёт. Но тоже тихо, головы близко:

— Значит, всё-таки — се-па-ратный?

— А что остаётся?? Если грыжа через весь живот — как тянуть? Я тебе говорю: наш к о р е н ь выбит. Упустили мы в Четырнадцатом уйти в нейтралитет — так хоть теперь.

— И чтоб у нас кусище оттяпали?

— Ни-ка-кого. Да немцы будут радёшеньки сдыхаться. Нашей земли у них почти нет, очистят. А Польшу? Так Польшу всё равно освобождать, пусть немцы и разбираются. А от мамалыжников мы сами уйдём.

Не зарычал Свечин ни о присяге, ни об измене, а:

— Да ты же военный человек, подумай! Садись сюда — и отлично увидишь. Да кроме вашей говённой Румынии мы уже второй год нигде не отступаем, что ты, не знаешь? Это земгор внушает, что война проиграна, но не тебе...

— Да не войну! Я тебе говорил: мы свой н а р о д проиграли.

— Ригу — держим, плацдармы за Двиной! Двинск, Минск, и по самый Пинск — всё наше! Снабжение, снаряжение? Лучше, чем в любой месяц с Четырнадцатого года. Вот, для тебя одного: по трёхдюймовым сколько выстрелов мы израсходовали за всю войну — столько же имеем сейчас в запасе! Пулемётов Тульский завод выпускал семьсот в год — а сейчас тысячу в месяц! Трубок артиллерийских раньше — пятьдесят тысяч в месяц, сейчас — семьдесят тысяч в д е н ь! ТАОН — слышал?

— Нет. Да счёт единиц ещё ничего не...

— Тяжёлая Артиллерия Особого Назначения. Такую теперь громоздим до купы. И для неё — уже резерв боеприпасов. Упарт готовит на весенний прорыв. Такой силы мы ещё не проявляли, немцы ахнут. Тайна! Весеннее наступление будет грандиозное! На Балтийском флоте — Непенин, боевой. Как он и Колчак — таких молодых адмиралов во всей Европе нет. Весной 17-го Колчак хочет десант в Босфоре!

Движеньем руки сбок себя по настенной размашистой карте скользнул и по Чёрному морю.

Ну, этим Воротынцева как раз и не захватишь: Босфор отдайте сумасшедшим.

— А хоть бы и ничего у нас не было. Хоть бы и правда мы сейчас сложили лапки и задремали — и то бы войну выиграли. Вот на днях в Америке президента выберут, у него руки освободятся — смотри, как бы и он в войну не вступил, да ведь не за Германию же! Какой же дурак пойдёт на сепаратный мир, когда Германия уже носом хлюпает?

Отмахнулся, отмахнулся Воротынцев:

— Американская победа — не наша победа. Они, вон, нам денег на войну не давали. Нам — какая победа? Земли нам больше не нужно, нам народ надо выручать.

Да, разумеется, из штаба Верховного всё выглядит пободрей, даже и убедительно. Сидя тут, можно и поддаться этим аргументам. А спустись в окоп — а там плечи не прежние.

За эти три недели наговорено, наговорено было вокруг Воротынцева и им самим — а ясней не стало. Все мы вразнокос раскладываем сегодняшние события, предсказываем завтрашние, а истинный путь, как дело перейдёт, — один, да никто его не может разглядеть.

— Егорий, Егорий! Сколько раз я тебе говорил: чтобы делать

историю — не надо взбрыкивать, не надо из упряжки выбиваться. Норов у тебя несчастный. А где поставлен — там и тяни. И так идёт история.

Воротынцев смотрел на глыбно-уверенного приятеля. На блестящий металл телефонных рычагов. На свою погасшую недокуренную трубку. Постукивал по кресельному подлокотнику.

Вздохнул.

Зрело у него— и в окопе, и пешком, и на коне.

А за эти три недели как-то растеребилось.

Вспомнил:

—Да! Так кого ж назначат?

—Сдаёшься? — заухмылялся Свечин. — Не догадался? — И, смакуя, перемывал крупными руками: — Этого и нельзя догадаться. Это тоже клонится, брат, к тому, что мы войну никак не проигрываем. — И почти крикнул: — Гу́рку!

Так назвал изменённо-шутливо, забыто — Воротынцев не понял. Обомлел. Переспросил:

— Гур-ко? Василь Осича? Гу́рочку? Быть не может!?

И уже не усидишь. Вскочил! Стал бить себя, бить себя по груди той ладонью и этой, и по кабинету бегать:

—Да как же это могло стрястись? Да как же...?

—Вот так, — сиял Свечин. — Михаил Васильич настоял, представь. Половину того, что я против старика говорил, — беру назад. Государю, конечно, очень невместно принимать такого дикаря и грубияна, — чужой, не такой, будет правду лепить. Но уступает старику: лежит, 38 градусов. Ещё не подписан приказ, но всё к тому.

Уж это-то, правда, нарушало весь стиль анемичного императорского руководства. Не был назначен ни какой гвардейский остолоп, ни какой великий князь, обойдены все ласкатели, искатели, воспитатели собачек, рассказчики анекдотов, фавориты Царского, все дутые генерал-адъютанты, все самонадеянные седокурые старцы, и в обход командующих фронтами, и в обход всех старшинств между командующими армиями! — в руководство русской армией назначался настоящий боевой отчаянный умный неутомимый непримиримый генерал, во цвете решительности и сил, да к т о? — исконный вождь младотурок!!

— Э! э! Ты — не забирай! не забирай! — заметив и поняв, одёргивал Свечин. — Ты — опять своё думаешь? Если эту детскую игру в младотурки — так ты её кончай, забывай, выкинь! А какую он сейчас храбрую демонстрацию под Владимиром Волынским сделал, ты ещё не знаешь. Он — в отличной форме. С таким генералом мы...! И ты — теперь будешь здесь опять!

Такой начальник штаба при таком Верховном — да! это будет властный Верховный Главнокомандующий! Такие звёздные взлёты не могут оставить спокойным сердце истинного офицера. Только так и взлетают настоящие полководцы! Только так и появится новый Суворов, которого жаждет Россия всю войну. Он и не смеет медленней, тогда он не Суворов!

И, может быть, повернётся ход войны? Вот так и повернётся?

Или — уже поворачивается?

Но тогда... Если сам Гурко становится на это место — так переворот по сути уже и совершён? Лучшего кандидата — не избрать ни при каких обстоятельствах.

Так власть уже почти у н а с?..

ЕХАЛ БЫ ДАЛЕ, ДА КОНИ-ТЕ СТАЛИ

А пока что надо было отработать свой вызов в Ставку — пойти в разведывательный отдел и там несколько часов позаниматься, дать сведения, заполнить некоторые ведомости.

Занимался, а захвачен был новостью, то и дело думал о Гурко. Неужели назначат? в обход стольких? Да если б только назначили! Как могло бы всё измениться, сколькое — исправиться!

В первый момент взлетело неожиданностью: как его могут назначить? А если вспомнить, подумать — то может быть и не так неожиданно? Когда-то, в лучшие столыпинские годы, Василий Гурко поставлял военных советчиков для гучковской думской военной комиссии, да на его квартире и собирались с думскими деятелями, готовили мнения по законопроектам, — и среди тех первых советчиков был и Алексеев! Но потом, очень осторожный, Алексеев отбился и не попал под ругательную кличку «младотурки». И вот — не приходится ли подумать о нём лучше, чем говорили со Свечиным? — памятливый, добросовестный и беззавистный, он не упускает заслуг и талантов? После того, что в Восточной Пруссии Гурко своей одной кавалерийской дивизией совершил рейд к Алленштейну и назад — для Самсонова поздний, для Ренненкампфа разоблачительный, что можно было всем успеть, а сам по себе дерзкий рейд и безупречный, — Гурко был возвышен до командующего корпусом. Но так на том и засох. Однако последний год Алексеев назначил его, ещё генерал-лейтенанта, на армию, где под него подпадали полные генералы, и временно давал ему Северный фронт, затем гвардейскую армию— и вот теперь притягивал сюда, единственным себе на замену. Благородно.

Захвачен был Воротынцев этой новостью, и всё теперь — его собственная завтрашняя судьба, где быть ему, и судьба расплывшегося за поездку и уже самому себе непонятного тайного замысла, — всё начинало зависеть от Гурко. Замысел был сильно пошатан Свечиным, а в чём-то и Ольдой, — но ещё искал себе какую-то неизвестную форму.

От Ольды — письмо бы получить! Как давно он не видел Ольды, как соскучился! Столько уже прошло после неё! Да — есть ли она у него вообще? Так это отгорожено было теперь и пансионными объяснениями. Грудью, телом Георгий не забывал Ольду ни на миг, носил в себе, при себе. А головой — даже и забывал.

За эти часы средний пасмурный тёплый день переходил в пасмурную бурю. Разыгрался ветер и по серому гонял чёрные тучи, хотя дождя из них не было. Разыгрался, кидался, толкал крупными сильными порывами, срывал шляпы, надувал одежды, отмётывал конские гривы и хвосты, посреди широкой Губернаторской площади даже останавливал в грудь пешеходов. Но что необычно для этого времени года и при таком мрачном небе: этот ветер нанёс тепла, избыточного, чуть не летнего, которое не могло удержаться долго, но вот к концу дня перед темнотою вносило сумбур в дыхание, в настроение. И когда Воротынцев после занятий собрался на почтамт, ему жарко, тяжко оказалось в шинели, в папахе, пожалел, что нет с ним плаща и фуражки.

Справа слышно обсвистывал ветер белую пожарную каланчу с золотистым верхом, как каской пожарного. Даже с удовольствием напрягаясь и наклоняясь против ветра, Воротынцев по плотно выложенному камню пересек Губернаторскую площадь, держа направление к старой ратуше — с башнею, видно не без польского влияния, до высоты шестого этажа. И вышел на Большую Садовую улицу позади ратуши, где вдоль каменной монастырской стены приставлены были мелкие еврейские лавочки и даже сейчас торговали для малышни «перепечками», «смажёной редькой» и другими забавами.

За монастырём с голубой колокольней дальше тянулась эта длинная торговая улица, и на ней все лучшие могилёвские аптеки, фото-

графы и магазины — на вывесках красные перчатки, золотые сапоги, гирлянды малороссийской колбасы. И два конкурирующих кинематографа — «Чары» и «Модерн». Было к сумеркам — и по ней же начиналось гимназическое гуляние, по две и по четыре гуляли гимназисточки в шапочках пирожками, а над ухом отвевался бант — то коричневая лента с золотистой кокардой, то синяя с серебристой, то малиновая с золотой. И попадались прехорошенькие и почти взрослые. А за ними, также по нескольку, вышагивали гимназисты в тёмносиних с белыми кантами фуражках «мятого фасона», как у кавалерийских офицеров, и реалисты в зелёных с жёлтыми кантами.

Тоже теперь своего рода столица, своя жизнь, своё оживление. И бурный тёплый ветер не мешал, а только подбодрял их всех.

Воротынцев шёл на почтамт в надежде получить «до востребования» письмо от Ольды. И чем ближе к почтамту, тем густилось в груди и колотилось только: Ольда!!! Сколько с тех пор ненужных лишних дней, объяснений, переломов! И в невыносимое ж положение он поставил её, да и Вереньку в глупое, если Алина нагрянула туда объясняться. Зачем? Зачем поторопился? Как он мог? Дурак. Чуть и само ольдино имя Алина не выманила у него, как у простофили. Наказала за откровенность.

О самой Алине третьи сутки он ничего не знал, но именно тем был даже облегчён: не видишь, не слышишь, не ноет. Только бы не в Петроград поехала, не с Ольдой разбираться. Помогла ли милая Сусанна? Удержала ли?

Алине — больно, да (а может — уже и меньше), ещё предстоит с ней встречаться, жить, быть, — но сейчас лишь усилием ума могло это вспоминаться. Сейчас хотелось — не думать о ней совсем.

Сперва подошёл к окошку телеграмм. Спросил. Сразу подали. Петроградская. Чуть не разорвал, разворачивая. От Веры. Всё в порядке, Алины не было.

Хватило рассудка, слава Богу.

А что Веренька пережила? Что она там думает? Неприятно ужасно.

И уже с отпавшим грузом, уже с другим чувством ожидаемой сладости, Воротынцев пошёл спросить письмо. За дубовым исполированным старым барьером чиновник точными пальцами стал перебирать пачку на «В» и нисколько же не торопился найти (и ни за что же не пропустил бы). Воротынцев глазами вытягивал из его пальцев ожидаемый конверт, ещё не зная, как будет он выглядеть, ещё не получав никогда, ещё к почерку Ольды не привыкнув, чтоб узнать его издали и в повороте, но заранее желая и любя тот конверт и тот почерк, и всё, что будет им написано, от чего горячим польёт по жилам, уже сейчас лило!

И милый чиновник — нашёл! Нашёл такой конверт — уменьшенного размера, но не дамский, а чуть удлинённый, из плотной, слабо рифлёной бумаги, белой, но с сероватым отливом, в переминании уже издававший шелест нежной тонкой подкладки. А почерк был — не склонёнными, не сбитыми ни книзу, ни кверху строчками, из маленьких собранных замкнутых букв, как Ольда сама — с руками, замкнутыми вкруг себя, и ногами, подобранными на диван.

Вгоряче, а не хотелось небрежно рвать драгоценный конверт. А чиновник-душа, заметив стесненье полковника, протянул ему и ножницы. И всё это — не улыбнясь нисколько. Воротынцев ещё не резал, уставился в марки. Марки были из серии «в пользу воинов и семейств», знакомые, видывал, но сейчас сочетание их — не случайное? — ещё пригорячило: одна — Георгий Победоносец, копьём разящий с коня, другая — женщина в боярской шапочке, обнявшая ребятишек-сироток. Эта боярышня, видная со спины, была рослая, никак не похожая на Ольду, но своей высшей нежной королевской сущностью — конечно она!

Безопасно обрезав лишь реберко конверта, не захватив никакой

полоски, Воротынцев отошёл читать к дубовой конторке, где боковые косые четвертные перегородки заслоняли его от возможных соседей.

Как соскучился он взять крохотные руки Ольды в свои! Слушать её голос пониженный, с напеванием!.. А сейчас — это всё наступило сразу: он не письмо держал, а — руки её, и слушал голос. Он не слова читал — он слушал Ольду. Он читал беспорядочно, неосмысленно, счастливо, перескакивая, возвращаясь, а то одну фразу трижды подряд, и никак не осваивая. Закрытый перегородками и наклоном конторки от соседей, углубился в Ольду, лицом окунался в неё, болтал с ней, и весь тон их счастливой болтовни был важнее незапомненных, недояснённых, пронесшихся фраз, — на то ещё будет время.

Только постепенно разбиралось, что вот так же беспорядочно писала письмо и она: долго ходила, ходила, полная им, как будто он не уехал прошлой ночью, но всё ещё здесь, ходила и разговаривала с ним. И уже уставши, без пяти минут полночь села записать хоть остаток, хоть несколько фраз из говоренного. Села? — или опять ходит? — по своей исхоженной комнате, как по новой, и руки раскрывши: ты — здесь? С какой стороны? Подхвати меня! Подними меня!

Воротынцев глаза прикрывал — лучше видеть, как она идёт с распахнутыми руками, будто в жмурках. Возьми меня на руки! Беру, моя сладость! Беру, моё пёрышко!

Ходьба? письмо? разговор? поцелуи? — всё перепуталось, где это всё? Кто — кому? Стоял и перечитывал над конторкой, изомлевая, о конторку локтями держась. Никак не понять: когда кончится война — куда-то пойдём... босиком по лугу...— ступни её босенькие он ясно видел — сверху целованные, с исподу целованные, и каждый крохотный палец отдельно.

И спрятав письмо-сокровище, Воротынцев пошёл, пьяно ощущая ногами гладкий плитчатый пол почтамта. Уже в дверях подумал: а что-то было там и серьёзное? Читал, но в голову совсем не вложилось. Прочесть потом? Нет, сейчас.

Вернуться — только до стены под лампой.

Нет, опять назад — к нагретой четвертушке своей конторки.

Вытащил снова письмо из конверта, а при этом выпала ещё маленькая бумажка, приписка — как же он её не заметил раньше? Могла и потеряться, ай.

«А это — утром. Просто так. Жаль отсылать — станет одиноко. Слушай ветер! — это буду я. И слушай шорохи ветвей! — это буду я.»

Клочок, две строки — а сердце опять вскинулось, взмолодилось, вырывалось навстречу: Ольда! дар мой! награда моя!

Да, но что же — серьёзное в письме? А вот что, нашёл:

«Раз ты *там* сейчас — прошу тебя: оглядись, присмотрись, разговорись: с кем можно делать то, что я так хотела в тебя вдохнуть. Ищи верных! Ведь это одно — наша общая, всех нас жизнь, не дадим ей оборваться!»

Всё так же плохо чувствуя пол, пошёл к широким, тяжёлым, самозакрывным дверям.

Вышел наружу — а со ступенек кинулся в грудь ему шалый ветер, — сильный, но по необычной своей теплоте — игривый.

Слушай! — это буду я!

За то время, что Воротынцев пробыл на почтамте, уже установился ранний, но тёмный вечер, засветили фонари, по Большой Садовой нередкие. Кажется, прошёл и небольшой дождь: свежие лужицы, к фонарям поблескивали мостовая и тротуар, украшая городской вечер. Но и от дождика только ещё теплее стало и ещё охватистей неровный буревой ветер. Что за погода! — весна в ноябре!

Воротынцеву хотелось идти, идти, и радостен был этот ветер. Шинель и папаха уже не тяготили его, таким он себя чувствовал невесомым, лёгким, и с лёгкостью отдавал встречную честь. Гулянье было уже в разгаре, и не только гимназическое, но появились и парочки,

кто и с военными, кто уединяясь потемней, где углубленье от уличной черты. И Воротынцев чувствовал себя ровесником этим юным влюблённым, но не млел шагом, а быстро, как по делу, прищёлкивал по плитам и призванивал, несла и подымала его радость.

Он только что, на почтамте, держал за руки свою Ольду, он за пазухой нёс её, маленькую!

Как легко: всё твоё, твоею грудью схвачено, и несётся здесь, с тобою!

И сам несёшься, как воздушный шар, наполненный горячим воздухом.

Ещё проезжали и конные, и военные автомобили, и повозки, прошла солдатская команда — а как будто не были признаками войны. Этот город, обременённый постоем и заботами множества военных, оттого ли что незнакомый, впервые видимый, или от налётов этого безумного тёплого ветра, или от фонарно-лужных отблесков — казался красивым местом беспечного молодого счастья. И только.

Не хотелось заворачивать в свою скучную гостиницу — тянуло быть с этой молодостью. Дошёл до Губернаторской площади — и с удовольствием толкаясь о ветер, борясь и перешагивая его, — стал опять пересекать площадь, но не полевей, к квартирмейстерской части, а поправей — к скверику с солнечными часами, где был проход в городской небольшой парк, называемый Вал за то, что возвышался над крутым откосом к Днепру, может и насыпным когда-то. Шёл — и не надышивался жарким влажным радостным воздухом!

Вторая жизнь?.. Могла начаться... Ольда — как новая галактика: с бесконечным числом ещё не исследованных, ещё подлежащих открытию миров.

Нисколько не замедлился, а так и нёсся по аллее Вала, не рассчитывая его краткости, что сейчас оборвётся деревянным заплотом и откосом. Фонари тут были редкие, увеселительных заведений не было, хотя темнела сбоку эстрада — да ведь не сезон. По сторонам тут ещё больше было приволья для гуляющих пар, откровенно целовались — ещё паруся ликование Воротынцева.

Слушай шорохи ветвей — это буду я!

Так он быстро простегнул весь Вал насквозь — сперва по одной аллее, потом по другой, свернул вбок.

В свету фонаря увидел одинокую высокую фигуру генерала, шедшего навстречу. Генерал как раз вступал под свет, но печально-медленно, с опущенною головой, держа руки за спиною, — а Воротынцев был далеко, но очень быстро его выносило, и встретились они под самым фонарём.

Ещё издали что-то немного знакомое привиделось в этой узкой фигуре. Когда же, на подступе, Воротынцев с непринуждённостью чуть-чуть изменил свой свободный шаг к строевому и вскинулся, приобернувшись, а генерал тоже вытянул руку из-за спины и тоже приобернулся, — как раз под фонарём Воротынцев не мог не узнать:

— Добрый вечер, ваше превосходительство!

И — остановился, как же иначе?

И генерал остановился, ещё не узнавая.

— Добрый вечер, полковник... О-о, Воротынцев?..

Протянул руку. Вид и голос его были староватые, а пожатие — цепкое, крепкое.

— Да вы разве в Ставке опять?

— Я-а? Нисколько, Александр Дмитрич, — весело отвечал Воротынцев. — Дня на два, случайно. А вы?

— А я-а-а... — тоже протянул Нечволодов, но совсем иначе, безрадостно и слова подыскивая. — Закисаю тут в генеральском резерве. Второй месяц. Должности не найдут.

Так разогнан был Воротынцев, и так ему, счастливому, этот тон

сейчас противоречил — тянуло его сорваться и нестись бы дальше, хотя ни к чему была вся его прогонка.

Нечволодов заметил его наклон:

— Вы торопитесь?

— Да... нет, — отрёкся Воротынцев. — Не тороплюсь. Гуляю просто.

— А тогда — не откажетесь, пройдёмте вместе?

— Да что ж. Пройдёмтесь.

И — повернул, потерял свой полёт, пошёл нечволодовским шагом, размеренным до похоронности.

Тут, на гравии Вала, сапогами, шинелью повернул, а нагретый воздушный шар его груди — и дальше понёсся, понёсся в шальном ветре, в темноте, куда попало.

68

Ногами повернул и шаг почти оборвал, но от счастья Ольду нести с собою походкой мчательной и вдруг отпустить её одну в жаркую темноту, а самому побрести с генералом в его, кажется, тяжёлом настроении, — не сразу очнулся. Отвечал и даже спрашивал, а ещё не с полным смыслом.

(Подхвати меня! Подними меня!)

Однако история Нечволодова стоила внимания. Месяц тому он был устранён от должности Брусиловым за крупные неприятности с Земгором, с которым Брусилов не хочет ссориться. Устранён — и, как генерал-майор, вызван в резерв Ставки за новым назначением. А тут уже немало накопилось отставленных генералов — и виновных, и ждущих прощения, и нового высокого назначения. И второй месяц Нечволодову дивизии не дают, бригады же теперь упраздняют, а полк ему брать обидно. И второй месяц дело его как будто потерялось в дебрях Ставки, и стал он как бы никому не нужен. Идёт такая война, а он в русской армии как бы лишний.

Этого Брусилова, лису, Воротынцев и сам терпеть не мог. К тому же зная, что полководец он — никакой, всё дуто.

О Нечволодове же когда-то и прежде была у Воротынцева мысль, что они похожи своими молодостями: тем же выбросом способностей, тем же несмеренным ощущением своей силы, тем же порывом едва ли не самому, одному, всё улучшить в российской армии. Только угодил Нечволодов в худшую пору, когда и действительно остался один. Да разницы между ними было всего 12 лет, не поколение. Но — царствование. А ещё: взлетал Нечволодов ярче и быстрей и офицером стал моложе, и в Академию поступил на целых 20 лет раньше Воротынцева. Так что по товарищам, по памяти, по службе пролегло как бы и поколение.

(Когда кончится война, пойдём босиком по лугу...)

Лишь недалеко за пятьдесят Нечволодов, а выглядел под фонарём если не старым, то сильно измученным, щёки ввалённые, сразу видные на его, редком среди офицеров, вовсе бритом лице. Вот уже можно было и присудить, что не удалось ему в жизни ничего. И холодило Воротынцева продолжить сравнение. Летом Четырнадцатого, начиная эту войну, Воротынцев ещё гордо был уверен, что блистательно приложится. За два же года войны надежда затмилась и покинула. А в минуты проблескивающие начинало опять вериться, что призван многое сделать: ведь не изранен, не ослаб, не состарился, и способности не притупились. Только душа упадает. (Может, из-за этого он и рвался найти себе применение шире, чем строевой офицер.)

Нет, даже и сегодня не допускал Воротынцев поверить, что и он вот так же, к старости, окажется ненужный, неприменённый, так же будет бесславно угасать.

Медленно-траурно шли, и горько говорил генерал:

— Зато — полное раздолье левым. Чуть завозятся — им уступают. Открытая дорога всем, кто расшатывает власть. Когда Ганнибал угрожал Риму, властный римский сенат вышел навстречу плебею Варрону, уже виновнику позора и бедствий, — чтобы только укрепить военную власть. А наша Государственная Дума во время войны открыто призывает не подчиняться министрам — и воюющая армия читает поносные отчёты газет.

При их скорости, как они шли, от фонаря до фонаря надолго входили они в чёрный тоннель деревьев, и друг друга совсем не видели. А тоннель колебался над ними, деревья ахали, барахтались, хлестались и сыпали последними листьями.

(Слушай ветви, это буду я!)

— А на самом деле только торжество своей партии их заботит. Все эти кадеты не того боятся, что правительство проиграет войну, а наоборот — что выиграет, да без них. Оттого они так и добиваются кадетского министерства — именно сейчас. Они всё рассчитывали, что без них не выиграют. А теперь — снаряды есть, фронт крепок, обойдутся без них — и всё у них пропадает. После войны на чём им выскочить?

Побывал среди кадетов Воротынцев, а так не подумал. Не Шингарёв, конечно. Но — Милий Измайлович, отчего бы нет? Но — Павел Николаевич?

Жгли генерала неурядицы не своей застоявшейся судьбы:

— «Реакционная внутренняя политика»! А — какая сейчас политика? Победить, вот и вся политика. Дошло до того, что городские самоуправления — в оппозиции к высшей власти, где это видано? А печать? Вся — левая, вся — разрушительная. Поносит Церковь, поносит патриотов, только что прямо трона не называют, усвоили лаяться — «режим». Любой прохожий журналист выражается от имени России. Обливают нас помоями, но нашего опровержения никогда не поместят, это их «свобода». А если кто за правительство, тех — «рептильная» печать или «казённобутербродная». А большой русской национальной газеты так и не сумели создать. И даже правительственной не догадались, наверно в одной России. А почему мы годами должны слушать только брань против правительства?

— Но видите, — с превосходством счастливого человека над несчастным, мягко уговаривал Воротынцев, — гласность быть должна. Называться — всё должно открыто, злоупотребления — оглашаться всенародно. Чтобы проходимцы в закоулках трепетали.

— Так дорогой вы мой! Конечно! Да разве они огласят злоупотребления своих земгоров? или промышленников? или банков? или спекулянтов, которые продукты прячут? Этих — они всех покрывают, главные проходимцы у них и не трепещут. Они единственно поносят только власть.

Тоже верно.

— И народ узнаёт о жизни своей страны в освещении её злопыхателей. Слава Богу, большинство народа этой заразой не тронуто. Но просто газет не читает.

— Если б только большинство народа, Александр Дмитрич. Но и большинство офицеров тоже ни во что не вникает. Нам — чины, продвижения, ордена, темляки, традиции части, традиции училища, да как прошли парады, — а в общественных вопросах мы ведь невежды косные, круглые. Мы думаем — оно само, и без нас вот так будет держаться.

— Вот! вот! — оживился голос генерала.

— Впрочем, — развивал Воротынцев так, без цели, — большинство никогда ничего и не решает. Всегда меньшинство. Которое действует.

— Или которое кричит.

— Но всё же, Алексан Дмитрич, — в той же лёгкой манере

умягчал Воротынцев, — свобода выражения мнений должна быть. И какая-то форма для неё, Дума, газеты...

— Да чья это свобода? — по голосу судя в темноте, остановился, ужаснулся Нечволодов. Остановился и Воротынцев. — Какая-нибудь «лига образования» кишит по Руси — сотнями, тысячами учителей. А какое у них *образование*? Для них в России ни святынь, ни исторических прав, ни национальных устоев. Они ненавидят всё русское, всё православное, всё уходящее вглубь веков. «Образование» их — революция. Только для смягчения называется «свободой». Какая «свобода»? Из десяти наших соотечественников — восьмеро крестьян да один мещанин. И никого их эти *партии* не выражают. Ни — духовенства. Разве отчасти — дворян. Все эти партии только самих себя выражают, это банда. Они говорят «народоправство», а это значит — *их* власть. И сколько бы вы парламентов ни открывали — засядут всё юристы, а сколько бы газет — всё журналисты. И все вместе будут дружно гавкать на Россию. А Россия — молчать. Страна состоит из мужиков, а Дума забита столичными адвокатами.

— Так что ж у нас тогда за избирательный закон, я не пойму. Ну, изменить избирательный закон.

— Ничего не поможет, всё равно юристы да журналисты пролезут. Парламент — это специально для них форма такая. А если они ещё «ответственного министерства» добьются, так совсем перебесятся. Да нельзя же отдавать Россию в бешеные руки! Неужели вы предполагаете, от нашей Думы можно дождаться добра?! Чего они требуют? Министров, которые бы отчитывались только им, — то есть нарушить основные законы государства. Амнистии террористам и революционерам — то есть распустить на свободу врагов государства, чтоб могли заново приниматься. Да ещё: чтоб в обход Думы не установили ни малейшего закона. А они — любой закон в болтовне утопят.

— Н-ну... а... что же тогда? Какой же выход вы...?

— Да немедленно распустить! — скомандовал генерал.

Ну вот! Застеснялся Воротынцев.

А голос Нечволодова налился торжественностью:

— Роспуск Думы — единым манием царя!! Слушай, моя страна! Мы возвращаем себе Россию!

Вот эти повышенные чрезмерности, не подверженные улыбке и сомнению, всегда стесняли Воротынцева. Такие вещания проплывают над снованием сегодняшнего общества, а не могут его увлечь.

По смыслу — совсем бы тихо, но из-за ветра громче:

— Думу распустить — не будет ли хуже волнений?

Нечволодов из темноты положил руку точно на плечо Воротынцеву, не проминул:

— Соображение трусости. Как раз наоборот. Это первый верный шаг в ы й т и из революции. Что за слабоумие — бороться с революцией уступками? Если власть составляет сделку с общественными болтунами — то она только ослабляется. Революция — у ж е п р и ш л а, неужели вы не видите? Она охватила нас уже который год. Она нас — уже кидает и разносит. Она — почти победила! А мы всё боимся её разбудить и вызвать. И не действуем.

Ого! Не только — грозит, но — уже пришла? Воротынцев же — никак революции не видел. Спорил и с Гучковым. И сегодня в устроенном кабинете, в душистом трубочном дыму, смеялся Свечин, что революцию выдумали. Но сейчас тут, в продувной темноте, с наложенной на плечо крепкой рукой генерала, вдруг поразило совпадение Гучкова — и Нечволодова, с разных полюсов. И понеслось, понеслось всё безнадёжное, чего он наслушался в этой поездке, — и вправду: не *подошла ли*?

Застоялись они. Нечволодов взял Воротынцева под локоть, при разнице ростов их — сверху вниз, и, так придерживая, повёл дальше по Валу. Жаркий больной ветер промётывался между деревьями, вы-

ворачивался на них, толкал, обнимал, обгонял, заворачивал и шумно мёл листвой по земле. На что-то твёрдое наступала нога иногда, вроде камешка или каштана, раздавливая.

Да ту же самую, воротынцевскую, тревогу о России, только совсем с другой стороны продувал Нечволодов:

— Неужели не видно вам, полковник, до чего доведена Россия? Не от войны мы в катастрофе! Не от потерь и не от дурного снабжения. Мы в катастрофе оттого, что *уже* завоёваны левым духом! Прежде всякой этой войны страна уже была расшатана языками и бомбами. Давно стало опасно мешать революции и безопасно ей помогать. Отрицатели всех русских начал, орда революционная, саранча из бездны! — ругательствуют, богохульствуют — и никто не смеет им возражать. Левая газета напечатает самую возмутительную статью, левый оратор произнесёт самую зажигательную речь, — но попробуйте указать на опасность этих выступлений — и весь левый лагерь вопит: «донос!». И этого слова панически боятся все честные люди — и так проходят молча мимо любого подстрекательства. Патенты на честность раздают левые. Вся печать, вся профессура, вся интеллигенция, — все над властью насмехаются. И дворяне — туда же. И мы — тоже немеем перед левыми, русоненавистническими фразами, так они признаны естественно современными. И даже вымолвить слово в защиту православия — освищут, позор. Собирается пироговский съезд — кажется, врачи! — и о чём же они, идёт война, — о раненых? как лечить? Нет, всё о том: изменить государственный строй!

Из тёмной невидимости шёл к Воротынцеву неотклоняемый голос:

—Вся русская жизнь — в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми — черносотенство, спорить с молодёжью — охранительство, спорить с евреями — антисемитизм. И так вынуждают не только без борьбы, но даже без спора, без возражений отдать Россию. И тогда восторжествует *прогресс*! Россией по внешности управляет ещё как будто Государь. А на самом деле давно уже — левая саранча.

Ну уж, хватил! Ещё пока левые не управляют. Но, конечно, царю — не надо быть ничтожеством. Вот и надо уметь управлять.

(Это, впрочем, — не вслух, как-то неловко обидеть монархическое почитание.)

А Нечволодов — крепче за локоть, крепче шагом по Валу, в обезумную темноту, в непристойное ветряное кружение:

— Это — смертельная болезнь: помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений на Дальнем Востоке? Это уже были — не мы, нас подменили, какое-то насланиe злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился, ещё от нашего освобождения крестьян, — и закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть. Появилась кучка пляшущих рожистых бесов — и взбаламутила всю Россию. Тут есть какой-то мировой процесс. Это — не просто политический поворот, это — космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает с России, а наслана — на весь мир? Достоевскому довелось быть у первых лет этого наслания — и он сразу его понял, нас предупредил. Но мы не вняли. А теперь — уже почву рвут у нас из-под ног. И у самых надёжных защитников падает сердце, падают руки.

Проходка, начатая из чистого сочувствия, сбив Воротынцеву настроенье любви, однако начинала сбивать его и больше. Наслание злого воздуха? Это — передавалось. Ещё с новой точки увиденная Россия, уж так дурно и крайне, как Воротынцев не видел. Но — тоже это касалось наших корней, треск вытаскивания которых он ощущал на фронте. Три недели назад он ехал в центры русской жизни — с цельным, как ему казалось, нерасщеплённым представлением. Но от каждой встречи он изменялся, сомневался, поворачивался, спотыкался. Только одно он усвоил: что всё — куда сложней. А вот — как именно??..

Спотыкался. Но выводил:

— Однако, и столетия были у нас всё это предупредить. Не допустить, чтобы в каком-нибудь Ново-Животинном не хватало бы кислой капусты на зиму. Где же раньше были наши глаза? Сердце? И высочайшие пальцы, на всяком смелом проекте пишущие — «отказать»? Отчего же не на сто лет раньше «наслания» мы освободили крестьян? А уж освобождать — так надо было пощедрей, не держать в земельной тесноте. Из какой же низкой дворянской корысти, что удорожатся наёмные цены в поместьях, десятками лет не отпускать на вольное переселение в Сибирь, а уехавших возвращать силком? Свою же пустую Сибирь имея, не давать туда переселяться, это — как?..

Над чем ни задумайся — над всеми путями нависал убитый, остановленный Столыпин.

— Был человек, могуче вытаскивал Россию, — кто ж его и травил, прежде правых? Да не они ли его и убили? Он — умел двигать, так ему руки связывали.

Всем этим правым, как бы право они ни смотрели — не хватает крестьянского мироощущения, счастливо зачерпнутого Воротынцевым в Застружьи. Плавают — не на той глубине.

— Эта левая профессура — действительно, не крестьянам сочувственна. Но — какой же им дали разгон для фраз?

При медленном их шаге так же медленно подходили они под фонарь, так же медленно расставались со светом его, и доставало времени запечатлеть спутника, а потом в неосвещённости соединять с голосом образ его: шинель не франтовскую, но плотно схваченную по высокому твёрдому туловищу, фигуру удручённую, но не сгорбленную, и сильно исхудалое лицо, но из одних энергичных черт. И по хватке на локте и по боковым толканиям угадывалось тело мускулистое и ещё гибкое. А если было впечатление старости, то — от горечи речи.

— Да. Профессорам — России не жаль, революционерам — тем более. Но — м ы?! — где же мы? Отчего же мы костенеем перед саранчой? Отчего ж в летаргии — мы? И все рассеяны. И все поодиночке.

В это «мы» он уверенно объединял себя с Воротынцевым — с несомненностью, откуда взятой? Для того, видимо, и весь разговор потёк, чтобы соединяться и действовать?

— Мы даже пера не можем найти в защиту, не то что меча. У нас и писать некому. Косноязычны.

А правда: почему и пера даже нет? Почему такие хилые правые газеты, и ещё друг с другом грызутся, и ни у кого высоты?

Говорят — *правые*. Да разве у нас есть какие-то «правые»? Ни такой партии, ни прочного строения. Ни ораторов. Ни вождей. Ни средств. Это и суть загадочного наслания: защитники все обессилены. (Или оглуплены? Почему все — такие неумелые, неуклюжие, грубые, нетерпеливые, почему всегда обречены на провал?) Нет этой зоркости, что неизбежна борьба, что выиграть её можно только крепостью и чистотою духа. (И где ж ваше высокое лицо? И отчего само слово «правые» вы допустили сделать бранью?)

— А поведём себя так, чтобы не было стыдно. Вот я — нисколько не стыжусь. Я где угодно вслух скажу, что горжусь быть причисленным к чёрной сотне. Если хотите, выражение происходит от чёрной сотни монахов, отстоявших от поляков Троице-Сергиеву лавру, — и так они спасли взбудораженную Россию. А в Пятом году назвали «чёрной сотней» те растерянные чёрные миллионы, которые вышли на защиту власти, когда она сама себя не могла защитить. Но сегодня — сегодня найдите мне хоть сотню! Хоть сотню, готовую к действию, где она есть?

Между тем по крайней аллее они подошли к тому месту, где Вал обрывался вниз к пешеходной тропе на набережную — а по ту сторону ущельица, сразу рядом, поднимался на таком же откосе губернаторский сад. Здесь, подле них, фонаря не было — а за забором в саду

светимые электричеством окна во втором этаже царского дома мелькали, как будто качались, от резкого ветра в голых деревьях сада.

Там, в царском доме, тёк вероятно беззаботный вечер, свободный от государственных размышлений, — долго обедали, или распивали поздний чай, или в карты играли, или рассказывали разные случаи военной жизни?

А тут, в ста саженях, стоял непозванный, ненужный, забытый слуга престола. В слабых дальних отсветах не было достаточно видно его лицо, но можно было развидеть напряжёнными глазами рослую прямую фигуру, а при руке опущенной — пенёк или парковый столбик.

И похоже было, что Нечволодов опирается на меч.

Бездействующий. Не веленный к бою. Воткнутый в землю.

Уже пришла! — и охватила! И стоял против неё готовный рыцарь. Но — не звали его на помощь. Да и сам меч его был в землю врыт, и никакой руки не хватило бы вытащить его.

А если б и вытащить — так сгнил он остриём.

Там, в светящемся запертом доме, откуда любое решение через четверть часа было бы подхвачено телеграфными лентами, — мучились ли и там государственными размышлениями?

Но мучились ими здесь, на тёмном Валу, толкаемые тёплым ветром. От кого решений не ждали и помощи не спрашивали. За забором царского сада нашёл своё место неласкаемый генерал. (Да может, весь месяц каждый вечер он и ходил сюда стоять? — вот и сегодня привёл уверенно.)

— Надо объединяться! Надо действовать! — чеканил Нечволодов, как бы не сомневаясь, что говорит с единомышленником или просто не в силах дольше один. — Надо восставить народ в национальную личность! И это — коренней и первей, чем наступление на внешнего врага.

Вот эта последняя мысль — замечательно совпадала! Прямо прилегала к тому, что Воротынцев эти недели нёс и не мог нигде никого убедить.

Написала ему Ольда: «ищи верных!». Это так, надо же искать.

Нечволодов понимал так: в начале войны вступились как бы за Сербию. Но это развеялось, а оказались: против держав такого же образа правления, как мы, и в союзе с державами правления противоположного.

Что ж, за союзников — не Воротынцев заступится.

Сходное перед собой увидев, Воротынцев увидел однако и возражение: а Центральные державы боятся, что мы будем объединять славян, и потому вынуждены воевать против нас. Зачем мы о славянах так нерасчётливо кричали десятилетиями? И зачем мы это тянем непосильно и сегодня?

Но — и Нечволодов уже не о славянах. Он тоже: как бы только Россию вытащить:

— Надо создать освежённую новую правую силу. От источников нашей народной истории. И себя — как опору предложить ослабшей власти. Наступили решающие дни! Наше дружное мужество под твёрдой рукой может спасти Россию в последний момент. Выступить и отважно сказать — а это ещё трудней, чем выступить, — что Россия без монархии существовать не может, это — природа её.

Всего-то? Опять наводили Воротынцева на то же, и опять декламация, беззащитными боками о землю. Во всех монархических преувеличениях всегда поражало Воротынцева, как могут самостоятельные, стойкие и развитые люди так слепо-покорно относиться ко всем действиям непогрешимого царя? Сила их чувствования могла вызвать восхищение — но программа действий?

— Под чьей же это твёрдой рукой? — не пощадил Воротынцев своего собеседника. — Если венценосец невиданно слаб — то под чьею? Если помутился национальный дух — то не на самом ли и верху? А возиться трону с Распутиным — это не помутнение? Разве может Государь так свободно распоряжаться своей частной жизнью? Где же ореол?

— Что Распутин! — возмутился Нечволодов. — Вся распутинская легенда раздута врагами монархии. Чем подорвать трон? На «проклятое самодержавие» мало откликаются. Но если государыня — любовница распутного мужика и ещё немецкая шпионка, — так это как раз то, что нужно. Распутин так приклинился, что можно бороться против трона — и якобы за Россию.

— Но если твёрдой руки наверху — именно и нет? Если Государь всё направляет не туда или даёт разваливаться?

Первый раз нечволодовский голос, как можно было угадать через ветряные сносы, дрогнул. Но — не от колебания преданности, а от изумления, что вот и офицер высокого ранга, отважной службы, никак не могущий не быть верным слугою престола, — он...?

— Да, Государь наш бывает избыточно-мягкосердечен. Но монархист не может считать себя слепым исполнителем государевой воли, — ибо тогда все ошибки и промахи власти окажутся — чьи? Монархист должен сказать: царь всегда прав, а я — отвечаю за всё, и если виноват, то — я. Государю нужны верные люди, а не холопы. Монархическая сила — выше монарха! Усумниться в одном монархе — значит усумниться во всякой монархии. Царь — воплощение народных надежд.

— Но — не этот, — жёстко отрезал Воротынцев.

— Да кто бы ни стоял на этом месте! — ужаснулся Нечволодов. — Царь и Россия — понятия нераздельные.

— Нет! Только — достойный своей страны. Можно укреплять, когда есть личность в центре. Но невозможно укреплять вокруг пустоты, которая и сама стыдится слишком верных сторонников. Вот так уродливо принято у нас, да судите по себе: что люди, верные престолу, мало что осмеяны обществом, но у самой власти в пренебрежении. Как будто совсем не нужны ей. Или она их стыдится.

— Об этом может Бог судить. А не дано человеку, — прогудел Нечволодов.

— Нет, отчего же, практический вопрос. Я бы даже сказал: стала власть сама до того неверна, что слишком честно служить ей — уже и опасно: предаст, ответно не защитит. Вероятно от этого и служат ей многие только вполкорпуса. Лишь бы казаться в строю. И так обвисает, обстоит трон — превосходительный сброд, без совести, без разума, с одними шкурными интересами, — и разве он собран не по манию царя? Мошенники, а не монархисты.

Первый раз Нечволодов не нашёлся. Молчал, ровный, лицом к царскому дому, держась за врытый сгнивший меч. Вот так. И Гучков — чтоб избежать революции. И Нечволодов в другую сторону — чтоб избежать революции.

Все думают врозь. Все тянут врозь. А Россия — ползёт по откосу.

— Как хотите, Алексан Дмитрич, но вокруг одного символа я объединяться не могу. Должна быть и голова достойная. И не должно быть тления возле неё.

— О-о-о! — гулко дохнул Нечволодов, — когда-нибудь, когда-нибудь мы оценим, что он — очень достоин! Его чистое сердце. Его любовь к русским святыням. Его простодушие небесное.

О да, простодушие — можно растрогаться. Посылать за ружья, за золото, или из одной имперской чести? — 60 тысяч русских душ на французский фронт?

Нет, Воротынцев не вступал в предлагаемое. Но всё ж: это дружное мужество под твёрдой рукой — что оно?

Пошли обратно по аллее. И Нечволодов, голову ниже, уже не колокольно, но заговорно — тайным заговором в пользу власти! — изложил существующий план. Не собственный свой, но выработанный в столице монархической группой Римского-Корсакова.

Простейшие самонапросные действия, всего только последовательные. Пересмотреть всех министров, начальников военных округов и генерал-губернаторов, не оставить ни одного случайного, равнодушного или труса, а только — преданных трону, смелых и решительных людей. От каждого принять клятву о готовности пасть в предстоящей борьбе. И на случай смерти каждый назначает достойного заместителя, подобного себе.

Усумнился Воротынцев: вот это самое трудное — найти в верхних слоях столько людей такого качества. Вот таких-то бескорыстных, жертвенных и отчаянных монархистов именно в том-то слое и не хватает.

— Ну, а если трёхсот верных и твёрдых людей в ведущем сословии не осталось — значит, трона не спасти, — мрачно согласился генерал.

Да вот он был уже здесь, один из трёхсот, губернатор или командующий военным округом, завидный воин, каждый вечер по Валу охраняющий царский дом избыточным часовым.

И полагал, что нашёл второго?..

Думу, как уже сказано, распустить манифестом — и бессрочно. В крупных городах ввести осадное положение. В Петербург возвратить часть гвардии, в Москву ввести кавалерийские части.

— Александр Дмитрич, вы должны отлично знать, что гвардию — перемололи. И не масоны, а Брусилов, Раух и Безобразов, лучший и старый друг Государя.

Заводы, работающие на оборону, перевести на военное положение и тем устранить стачки. Во все земгоровские и гучковские комитеты назначить правительственных комиссаров, поставить деятельность комитетов под государственный контроль и пресечь там революционную пропаганду.

Да как будто и не много. И вполне разумно.

И — быть готовыми к борьбе и к личной гибели, а не ждать государственной катастрофы, положась на милость Божью. Главное: не отступать. Не колебаться. Полумеры только напрягают озлобление. Не дать запугать себя к уступкам. Действовать осмотрительно, но и решительно, как у одра тяжёлого больного. И никакой революции не будет.

— Так ведь — уже пришла?

— Отступит! Пришёл — кризис, но его можно решить в благополучную сторону. Только не закрывать глаза на край катастрофы!

А ветер измученный не утихал, так и кидался — то сверху, то из-под ног, то в грудь толкая, останавливая, то падая сам.

То ли уговаривал, то ли отговаривал.

Проекту нельзя было отказать в энергии, а в простоте — даже и крайней. И был он проще и ясней гучковского. И все требования естественны. (Только не спасал народ ни от войны, ни от союзников.) Но зиял изъян, разъедающий весь замысел:

— Кто же будет этих губернаторов — проверять, переставлять, назначать? Брать клятву? Разве он — может?

Молчал Нечволодов.

— На такую решительность он не способен, вы же знаете. И чтобы к смерти готовить своих приближённых — надо быть в каком величии характера самому? В какой решимости?

Молчал Нечволодов.

Но Воротынцев добивался:

— И что ж Государь сказал на этот проект?

Ещё прошли.

— Проект передали Штюрмеру. А он... пока побоялся его подать в высочайшие руки.

— Побоялся?? Вот! вот! — оживился, как будто обрадовался Воротынцев — уж очень хорошо, уж очень плохо, проверка сходилась. — Во-от! Побоялся ведь — чего? Что самому придётся клятву смерти

давать. Вот! Ничтожество на ничтожестве облепило трон — и как вы это расчистите? И — где ваши триста верных?

Нет, даже Гучков рассуждал реальней.

— Так — сами подайте кто-нибудь!

Генерал закинул голову, там, на своей высоте:

— Как это сделать? Глаза Государя застланы. И входы к нему закрыты.

Вот то-то. Стоял царский дом — рядом. И за каким-то из близких его светящихся окон невыразительный венценосец дослушивал скучные гусарские истории, раскладывал пасьянс?

А прочесть проект своих монархистов не было у него времени. И даже вернейшим бесстрашным генералам своим не мог найти он места и дела.

Огорчил, сбил одинокого генерала одинокий полковник. Но и сам же, как в том начальном повороте на 180 градусов, от полёта к похоронному маршу, — сам потерял, терял, терял, неделю не первую, свой катапультный вылет из Кымполунга в Петербург. Во всех этих перечиях Воротынцев как бы совершил полный круг и вернулся почти в прежнюю точку. Да лицом — не назад ли?..

Невозможно укрепить трон, даже легши трупом на его ступеньках! Но допустимо ли — раскачивать?..

Ну, вот приедет ещё Гурко. Посмотрим.

69

В этом году так засиделся Государь в Ставке — пять месяцев, не отрываясь даже в Царское Село, не пускали военные действия, что съездив туда вокруг годовщины смерти отца 20 октября — и отстояв ежегодную панихиду в Петропавловском соборе, — он ощутил тяготение теперь поехать повидаться с матерью, в Киев. И воротясь из Царского в Могилёв, даже не переселялся полностью в губернаторский дом, а повлёк его поезд дальше на юг.

Ах, Киев! Сохранялось что-то неизбываемо, неотъемлемо святое в этом городе: каждый раз при въезде в него — высокое строгое древнее чувство охватывало сердце. И первой надобностью казалось: поехать и поклониться в Софийский собор. В этот раз с Алексеем так и сделали — прямо с вокзала, лишь потом во дворец к Мамá.

По этому времени года здесь можно было ждать разливистой золотой осени. Но нет, стоял туман, хотя тёплый. И в этой задумчивой безветренности, безглядности тихого дня — как-то особенно строго и ответственно стояли шпалеры военных школ и войск, выстроенные вдоль улиц проезжания. Ещё предстояло ему в тот же день после завтрака произвести во дворцовом дворе в офицеры выпускников школы прапорщиков, и на другой день ещё посетить четыре военных училища, и многими улицами ещё прокатиться средь народа с Мамá и наследником, — но самое сильное впечатление произвели вот эти войсковые вереницы по киевским улицам под надвинутым задумчивым туманом.

Государь даже не понял сперва — почему. И проезжая мимо театра — не понял, не вспомнил, всё так переменилось во времени, в людях, другое. А вот когда понял: войдя в знакомые комнаты дворца, где прожили несколько таких счастливых сентябрьских дней 1911 года, — вдруг ярко вспомнил всё ликующее настроение того киевского торжества, при флагах, гирляндах, царских вензелях, оркестрах и такие же улицы, застроенные рядами, рядами войск, и такие же разголосы «ура», — но в этих комнатах, воротясь вечером к Аликс, рассказывал о ранении в театре несчастного Столыпина. И ещё потом после Чернигова возвращался в эти комнаты, тут узнали и о смерти его.

И вдруг сейчас, через пять осеней, так близко и сильно проступил

Столыпин к царскому сердцу, как ни разу ещё от смерти. Нужно было пройти пустыню перемен и поисков министров, чтобы сегодня очнуться и поразиться: а ведь с тех пор не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководства, какое бы решение был — Столыпин!

И за что Государь тогда был им недоволен? за что думал увольнять? Ничтожные причины, которых уже не вспомнить, задвинутые отрогами войны.

И так остались овеяны грустью оба дня, проведенных в Киеве, оба уютных вечера, когда сидели втроём, с Мама́ помогали Бэби складывать составные картинки, а сестре Ольге давали разрешение венчаться со своим кирасиром.

А в дополнение к этой задумчивой поездке — на обратном пути встретили четыре воинских поезда, следующих из Риги на юг (войска на укрепление Румынского фронта). Видели в окнах множество молодых весёлых лиц, слышали пение,— так радостно! Не оскудевает Россия солдатской силой.

В Ставку вернулись в ужасающий дождь — но, впрочем, это считается хороший признак.

А позавчера получил от Аликс бумагу на передачу всего продовольственного дела Протопопову. (То-то ещё и в Киев была телеграмма от Григория, но как всегда такая труднoречивая, что Государь её не понял.) И охотно подписал: он давно и сам считал так правильно. Он ещё и при отъезде из Царского так хотел — но Протопопов уклонялся. Теперь только помоги Бог! Трудных месяца два, а там всё наладится. Будем тверды.

Едва отправил с курьером — и тут же пришла от Аликс шифрованная телеграмма,— исключительная редкость, они не пользовались: разрешить остановить, не объявлять решение о Протопопове.

Эта телеграмма сильно покоробила Государя. Она всего лишь возвращала дело в канунешнее положение, не требовалось никакого нового решения, и Государю здесь, в Могилёве, не могли быть известны все острые петроградские перипетии. Однако — и слишком уж поворотливо, и слишком уж мгновенно. Можно было и накануне чуть лучше подумать.

Это навеяло уже не первые сомнения о Протопопове: действительно ли он в полном равновесии или есть правда в том, что злословит Дума? — хотя сперва сам Родзянко предлагал его министром торговли-промышленности. Государю приятно было, что Протопопова он отличил своим глазом сам, непредвзято, с первой встречи тот ему понравился как бывший офицер конно-гвардейского полка. Нет, ему не навязали Протопопова, совет Аликс (и Григория) попал уже на готовую почву: Николай и сам всегда мечтал о таком министре внутренних дел, который будет хорошо работать с Думой. Такая надежда была с Хвостовым-племянником, но трагически провалилась. Однако Протопопов был — первейший избранник Думы, и глава её парламентской делегации, и его же хвалила и выдвигала вся печать союзников,— так что теперь остервенясь против Протопопова, Дума только разоблачала сама себя.

Однако... Однако всё-таки в глубине и с досадой Государь понимал, что выбор Протопопова совершён — не им. Как и несчастный выбор Хвостова-племянника, которому он так сопротивлялся в своё время, да не сумел сопротивиться до конца. Как и выбор Шуваева, Волжина, как многие другие выборы, которые потом пришлось с трудом переменять. Сколько раз Николай говорил Аликс: я не могу менять свои мнения каждые два месяца, это просто невыносимо!

А с другой стороны: кто умеет эти выборы делать безошибочно? Разве не проклятия эти топливо, руда, транспорт, продовольствие? — вечная забота, а уже перестаёшь соображать, где правда, и голова кругом идёт ото всего, что наслышишься от разных министров. Ты никогда не бывал купцом, а цены растут, а надо думать о снабжении.

Зашевелилось, заточило в груди мучительно сейчас потому, что в эту киевскую поездку Мама́ говорила с ним строго: что нельзя до такой степени слушаться жену! Что всё общество — слишком накалено, и зачем делать только наперекор ему, зачем углублять конфликт?

Это правда, он очень слушался советов жены.

Но ведь и советы её в большинстве — поразительно верны! До чего она почти всегда права!

И — любил её за это. И — немного угнетался, что именно она всегда права, соображая раньше и решительнее его.

Её постоянная уверенность, однако, не могла же быть всегда безошибочной.

Оба чувства жили одновременно и прорастая друг друга. Уезжал в Ставку или провожал её из Ставки — и испытывал муку от разлуки и одновременно — облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать её и ускорял сроки, чем ближе приезд — тем нетерпеливей ожидание её милого присутствия, и одобрения, и сладких ласк,— и волновался, и с её приездом действительно наступало спокойствие на душе, и хотелось гнать прочь все заботы и неприятности. Но она сама же приступала с ними, и вместе легко выносились решения. А потом—Николай ощущал неловкость, что все главные решения приняты, когда они вместе. И снова был порыв у него — определиться в военной мужской свободе и принять ещё какие-то другие решения, уже одному. (И так он назначил в прошлом году Самарина — а потом две недели лишних перебывал в Ставке, чтобы спал гнев жены.) С новыми собеседниками или по новым докладам вскрывались новые стороны вещей, уже не в тех линиях, как видела Аликс. Но Государь принимал решение — а оно оказывалось потом неверно. И снова падала бодрость Николая, и он томился по новой встрече.

Существенной окраской многих советов Аликс было то, что они одобрены Григорием или им придуманы. В этом было и правильное — желанье всегда слышать трезвый голос народа, человека из народа. И милое — мила и понятна была Николаю жажда Аликс не останавливаться на наглядной поверхности вещей, но проникать в их мистический смысл и узнавать действия тайных сил. Вероятно, только таким и должно быть познание человека. Но по страстности Аликс в этой жажде проявилась такая чрезмерность, которая ощущалась Николаем как стеснительность, уже неловкость. То Григорий пересылал Государю цветы с горячим приветом, то отдельный цветок, то вина́ со своих именин, выпить как лекарство,— и каждый раз требовала Аликс, чтоб Государь благодарил (а на Пасху — телеграфно поздравлял в Покровское). Сперва Григорий подарил ему образ святого Николая, но затем дарил и другие иконы и образки (которые надо было держать в руках в решительный момент), и даже икону для передачи Алексееву (и ужасно неловко было вдруг передавать, но Аликс настаивала), а то ещё — гребешок, которым надо было причёсываться перед всяким трудным разговором и решением. Может быть, в таком гребешке и могла заключаться какая-то тайная сила. (Уж верней, чем когда-то в образе с колокольчиком, подаренным мсьё Филиппом, и будто бы колокольчик должен был зазвонить при каждом злом посетителе.) Но больше: настаивала Аликс, чтоб и перед всякой поездкой, отъездом в Ставку Николай получал бы личное благословение от Григория, как от священного лица, и даже, при долгом отсутствии,— специально приезжал бы в Царское, чтоб обновить такое благословение: прикосновение к груди Григория утишило бы горести и даровало бы мудрость свыше. Этого Николай не ощущал и поверить не мог. «Ты всё же — человек!» — напоминала Аликс. И настояла, что в письмах писала о Григории «Он» с большой буквы и «Друг» с большой, иначе грех. Внушала: думай больше о Григории, перед всякой трудной минутой проси

Его заступничества у Бога, мы должны прислушиваться к Его советам, они не легкомысленно высказываются, Бог Ему всё открывает, для чего-то Бог послал Его нам, Его молитвы нужны для Бэби, для нас, для царствования, для России. Аликс часто упрекала Николая, что он недостаточно обращает внимания на Его слова, уклоняется выполнять Его советы, она молилась, чтоб Государь лучше мог почувствовать: если б Его не было — всё могло бы случиться. Она очень настаивала, чтобы Государь пригласил Григория приехать в Ставку,— это должно было сразу дать решительный успех нашим войскам. В такое действие Николай тоже не верил, а из неловкости перед людским мнением и генеральско-офицерским составом никак пригласить Григория не мог, но не мог запретить его прямых телеграмм в Ставку — то на имя гостящей государыни, то Вырубовой, то Воейкова, то прямо «Ставка. Вручить старшему.»

В этих оригинальных телеграммах была смесь крутизны народного языка, загадочной святости, но и непрояснённого смысла. Был в этих фразах какой-то терпкий народный запах, как от ржаного хлеба или квашеных яблок, что-то было, а не всегда поймёшь: «Ваша победа и ваш корабль.» «Все страхи ничто время крепости воля человека должна быть камнем.» (Это — специально Государю в назидание.) «Вы сказали моих никто не обидит а для чего это всё.» «Люблю вас удержите моего даже на Гороховой.» «Что нам в пользу, то дайте как волки овец ой не нужно твердыня это Бог.» «Напиши всем, чтобы чаще беседовали всё-таки дай власть одному чтобы работал разумом.» (Это — о министрах, и правильно.)

Чувство стеснительности было одним из самых развитых чувств Николая: он очень чётко ощущал всякую возникающую неловкость. Но и был всегда этой неловкостью так скован, что не умел прорвать. Он видел, что с Распутиным возникает какая-то заклиненность, и что иногда выглядит не вполне хорошо (а что-то — и вполне хорошо),— но уже нельзя выправиться. И деликатность и бережность к жене мешали высказать это ей вполне откровенно. Не то его смущало, что в понимании супруги главным авторитетом был сперва Григорий, затем она сама, лишь затем Государь, но то, что авторитет Григория непрерывно проявлялся в его велениях, а эти веления частенько заходили за край. Его молитвы, прозрения, угадывания, а то и просто сны указывали вдруг на то, что надо немедленно наступать возле Риги, то — не подниматься на Карпаты, то — подняться до зимы,— и всегда это были вещие видения, потому что, писала Аликс, «Бог дал Ему больше проницательности и разума, чем всем военным, вместе взятым». Григорий всегда знал лучше и нужные места наступлений (выговаривал, почему крупное зимнее наступление начали, не спросясь его), и нужные государственные назначения. То сочинял и передавал Государю 5 срочных важных государственных вопросов. То слал, в своих выражениях, проект телеграммы, которую нужно послать сербскому королю. То просил быть твёрже с министрами. То был против поездки Государя в Ставку, то упрекал, что он долго в отсутствии из Царского Села и надо приехать хоть на два дня для встречи. Как бы сердечный присматриватель, претендовал, почему в этот приезд царь мало с ним говорил, не сообщил, какие перемены готовит и о чём думает говорить с министрами. Как-то (ещё при жизни Столыпина) настаивал на открытом приёме у царя, чтобы подавить сплетни вокруг себя. (Но Государь никогда такого приёма ему не дал.) А Аликс внушала, чтобы Государь принял за правило: кто против Друга — тот против царя. Она требовала, чтобы Государь не только внутренне уважал и любил Его — но давал бы и почувствовать министрам и государственным людям, что нисколько не брезгует Им и хочет, чтобы те тоже к Нему прислушивались. Всякие неисполнившиеся предсказания Григория о сроках (например о сроках конца войны) Аликс тут же забывала — и чтоб не причинять ей острой боли, Государь не решался напоминать. Неудачные рекомендации Григория, как с Хвостовым-племянником, объяснила она тем, что Хвостов был хорош, но изменился впоследствии, и за это Друг не может отвечать.

Ещё передавал или при встречах всучивал Григорий много чьих-то ходатайств, прошений — о льготах или снятии наказаний, и чаще всего — в обход законов, чего Государь делать не мог, и эти пачки просьб тяготили его. Ещё же более тяготили передаваемые через Аликс желания Григория то прислать новую икону точно ко дню наступления, то особо-истово молиться в день наступления — и поэтому заранее этот день знать. Такие просьбы — прямо от Аликс и настойчивые, доставляли Государю страдания. Как человек природно-военный он понимал всю невозможность сообщать кому-либо вперёд наши военные намерения, места и сроки. Но боялся своим скептицизмом разрушить душевное равновесие жены, к тому ж фантастично было предположить, чтобы малограмотный сибирский мужик и искренний доброжелатель царской четы как-то злоупотребил бы этими сведениями в пользу врага,— он несомненно хотел молиться (и молитва могла помочь!). И Николай, через скрепу, через неохоту иногда в письмах к Аликс давал такие сведения, то — дату, когда нарушится затишье, или будет около Пинска диверсия, или время ввода гвардии в дело, или решение отменить всякое наступление на севере, чтобы беречь силы,— но чаще всего сопровождал горячей просьбой к Аликс хранить это про себя, чтоб не знала ни одна душа, ни даже Друг. И всё равно ощущал неприятное щекотанье от утекшего секрета.

Вот это не покидающее Николая сомнение, неуверенность, что отношения установлены все правильно (и безвыходность изменить их),— и растревожила снова Мамá своим последним разговором.

А вслед за тем как Государь вернулся в Ставку и перенёс это дёрганье с протопоповским назначением — приехал уже давно просившийся на приём великий князь Николай Михайлович, двоюродный дядя царя. Во вторник, вчера вечером, Государь его принял.

Династия разрослась велика, немало в ней числилось и живых ещё дядей Государя, и двоюродных и троюродных братьев его, и, хотя по возрасту моложе многих, по положению своему и по ошибкам многих великих князей, Государь уже давно уверенно привык себя чувствовать отягчённым и ответственным главою династии.

И о самом Николае Михайловиче Государь не мог быть высокого мнения. Николай Михайлович отличался едва ли не дамской суетливостью и притом — кипливым честолюбием. Он делал порой шаги на государственной стезе, но неудачные, последний год прожужжал Государю уши, что надо создавать комиссию для выработки условий мира, которые Россия продиктует Германии (разделить ли только Австрию или Германию тоже?),— а сам он будет председатель этой комиссии. Не находя государственного исхода своим задаткам, дядя Николай с апломбом заявил себя историком незаурядным, чего Государь не находил: сам глубоко любя русскую историю и даже не имея лучшего предмета для чтения и размышления, Государь никак не черпал оттуда этой суеты и критики, как дядя Николай. А ещё Николай Михайлович ревновал к военной славе Николаши, своего двоюродного брата, и о нём наговаривал Государю дурное. В общем, Государь относился к Николаю Михайловичу скорее юмористически.

И ошибся. Визит 1 ноября оказался горький. Николай Михайлович, круглолысый, с посадистой головой, короткой шеей и чрезвычайной тщательностью линий усов и бороды, уже к обеду явился важный и хмурый, а когда уединились,— то очень напряжён, с подрагивающими руками. Он не дал установиться лёгкому родственному тону, но сразу стал декламировать возвышенно.

Уверен ли его племянник, что выполнит свою историческую задачу и доведёт войну до победного конца? Знает ли он об истинном по-

ложении в империи —и докладывают ли ему правду? И знает ли он, где кроется корень зла? Нет, его все обманывают.

По виду и тону значилось, что Николай-то Михайлович знает и истинное положение в империи, и всю правду, и корень зла.

Сразу оба занервничали и закурили — дядя папиросу, а Государь — через свой коленчатый пенково-янтарный мундштучок.

Сердце Государя сжалось тоскливым предчувствием: что Николай Михайлович сейчас ударит в ту же болевую точку, в которую уже нажала Мама́. Да, так и случилось. И дядя даже сослался, что к этому разговору он вдохновлён и поддержан — Мама́ и двумя сёстрами Государя. (И—сёстрами? Они-то зачем?..) Он осмелился заговорить прямо о государыне и прямо о Распутине. По его мнению, они и были корнем зла. Корнем зла было то, что обществу стал известен прежде скрытый метод назначения министров, а именно — через Распутина. Чтобы стать русским министром — надо понравиться мужику Распутину.

Николай Михайлович так нервничал, что у него всё время гасла папироса. Он не успевал найти теряемые спички, как Государь приближался и услужливо подавал ему прикурить от зажигалки. По внешнему виду Государя не было заметно никакого движения чувства.

А чувство было — и очень сжато-больное, чувство уже наболевшего места. Даже отделяя все преувеличения, которые резко нагромождал Николай Михайлович, — нельзя было отделаться, что тут много правды, стеснительно-унизительно.

Но к чему был безукоризненно воспитан и привычен Государь, как к части своего царского ремесла, — это никогда не показывать своих чувств. И он сохранял обезоруживающую любезность.

Николай Михайлович использовал такие выражения как «систематические нашёптывания твоей любимой супруги», «что исходит из её уст — есть результат ловкой подтасовки», — но что изменилось бы к лучшему, если бы Государь стал ему возражать?—бесполезно при его предубеждённости и непонимании всех тонкостей человеческих отношений. А властно оборвать? — и вовсе не служит убеждению старшего родственника. Да Николай и стеснялся бы проявить власть.

Итак, Государь всё выслушивал, не возражая, и подавал зажигалку в нужные минуты.

— Ты всегда сказывал, что тебя все кругом обманывают. А почему ты думаешь, что тебя не обманывает супруга, которую в свою очередь обманывают окружающие? Твои самостоятельные первые порывы и решения всегда замечательно верны, — скорее дипломатически льстил, чем так и думал Николай Михайлович. — Но как только появляются другие влияния — ты начинаешь колебаться, и решения уже не те. Если бы тебе удалось устранить это вторгательство тёмных сил — сразу бы началось возрождение России.

Вот в этом Государю позволительно было усомниться. Тёмных, противорусских сил он больше видел на стороне Думы и Союзов.

Но вслух не возразил. Да он и не умел вести дискуссий. Он хорошо умел разговаривать только с теми, с кем был согласен. А с остальными немел.

А под возрождением России Николай Михайлович оказывается и понимал: сделать министров ответственными перед Думой.

Не встречая возражений, он возвышал напорность тона. Странно выразился:

— Знай! Ты находишься накануне эры новых волнений! И, скажу больше: накануне эры новых покушений!

От кого-то он этого набрался? слышал? знал?

И, ещё более возбудясь:

— Здесь у тебя есть казаки, и много места в саду. Можешь приказать меня убить и закопать, никто не узнает. Но я должен был тебе это всё сказать.

Тирада была, видимо, у него приготовлена заранее — он её и про-

изнёс торжественно. Но сам заметил, что в любезной обстановке она прозвучала неуместно. Ещё потянул несколько папиросу, вздохнул и, всё не слыша возражений, упрекнул:

— Знаешь, ты великий шармёр. Ты напоминаешь мне Александра Первого.

Долго, долго, упречливо выговорясь и так и не дождясь ничего существенного в ответ, Николай Михайлович оставил заранее написанное письмо — всё о том же, но хотел вручить его непременно лично.

И только когда уже простились и проводил — по-настоящему стало расходиться и болеть в Государе.

Письмо — ему было даже гадко раскрыть и прочесть.

В ежедневном своём письме надо было писать об этом визите Аликс — но невыносимо, хотелось избежать.

Пришла пора спать — а сна не было. Всегда он крепко спал, но тут обещалась полубессонная ночь: на самом деле всё взбудоражилось и забилось внутри.

Ведь — и Мама́ была заодно, даже полномочила его говорить. И сестра Ольга (а ничего не сказала, прося о своём разводе и браке). И сестра Ксенья с мужем Сандро, таким близким другом когда-то. И ещё можно было угадать, с кем в династии они выстраивались во враждебное полукольцо.

«Эра покушений»! И это говорит великий князь!..

Да, против Распутина приходило много обвинительных писем в Ставку — но анонимные, и это не укрепляло их авторов. В инсинуациях цеплялась и царская семья — но никто из благородных людей не может верить подобной клевете, она обернётся против своих распространителей. А когда-то Джунковский докладывал о ресторанной попойке Распутина — но если по этому принципу карать, то многие ли уцелеют среди знати?

Что ж, Распутин мог иметь пороки, как и всякий человек. Но он не претендовал ни на какой официальный пост, ни на какой доход (а все великие князья получали). Частное дело царской четы, она имеет право на личные привязанности, даже пусть слабости, и кому это мешает? почему все придают такое большое значение? Ни с чем не сравнимая, вулканическая ненависть к Григорию, воспылавшая в высшем свете и в образованном обществе, могла объясняться только их собственной злостью, силы этой ненависти нечем было объяснить иначе. Встречно — Государь не мог ни перед кем унизиться в оправданиях, как много этот человек значил для укрепления духа императрицы. Николай сам не слишком был уверен, насколько именно Григорий излечивал наследника, но Аликс верила страстно, и это поддерживало её. (Да вот не так давно: не велел Григорий брать наследника в поездку на Юго-Западный, а отец взял. На одной станции Алексей прислонился лицом к вагонному стеклу, а переводили стрелки — и от сотрясения началось кровотечение из носа. Пришлось возвращаться в Царское, и сразу же позвали Григория — а он ведь *наказал*, не приехал в тот вечер, только утром.) Да ведь сама болезнь наследника никому не называлась, скрывалась тщательно — так что этой причины нельзя было и выставить.

А от бесед с Григорием Государь выносил твёрдое ощущение, что этот мужик кореннее смотрит на вещи, чем многие-многие государственные люди, царедворцы или великие князья. Это был бесхитростный правдивый представитель подлинного народа и знающий, что нужно народу. И очень бывало полезно и свежо прислушаться. Сколько раз он призывал остерегаться лишних потерь, не биться лбом — чего не понимали многие генералы, изукрашенные звёздами. И брусиловское наступление Григорий предлагал очень вовремя остановить, с тех пор действительно были только потери под Ковелем, а не продвижение. (Генералы у нас порой такие беспамятные, безразумные, даже идиоты,

не научившиеся азбуке военного искусства, что Государь приходил в полное отчаяние, — но что с ними было поделать? Уж какие есть.)

И очень возвышенно и даже красиво говорил Григорий на темы веры.

Но вот на днях неизбежно предстояла Государю ещё одна встреча с великим князем, на этот раз с Николашей: он непременно хотел приехать в Ставку — и невозможно было запретить такой приезд главнокомандующему Кавказским фронтом после 15-месячного отсутствия. (Аликс очень предупреждала против этого приезда, учила встретить холодно, твёрдо, не дать вырвать никакого обещанья.) Они не виделись даже дольше: сменяя Николашу в Ставке, Государь заменил встречу письмом, что он прощает Николашу за все ошибки, жертвы, неудачи и несчастья на фронте — и что не изменились любовь и доверие Государя к нему. На самом деле на жгучем рубеже лета 1915 года чувства обоих прошли через большое напряжение и пламень; и тот рубец ещё и сегодня не мог сгладиться и у Николаши, как и у Государя.

И хотя решение Государя возглавить армию было собственным, внутренним, давно затаённым, но в колебаниях того августа, при всеобщем сопротивлении, его воля могла и сломиться. И сегодня стеснительно было вспомнить слишком большую роль Григория в поддержке (Аликс всё напоминала, что именно Григорий спас тогда Россию). И Николаша тоже хорошо всё помнит, и, один из ярейших ненавистников Григория, очень может припомнить при встрече.

Теснилось сердце. Так приезд следующего великого князя обещал второе такое же неприятное объяснение, когда ни ответить, ни выразить ничего нельзя.

Из таких разговоров, приёмов, докладов, дел и состояла стеснённая, зажатая жизнь монарха. Как будто всевластный, не мог он выбирать ни — с кем говорить, ни — о чём.

Простор у него оставался очень малый. Снимать негодных генералов он тоже не мог — некем заменять и нельзя создавать хаоса. Направить военные действия вопреки мнению Алексеева и главнокомандующих — он тоже не мог. И из Могилёва он не мог уезжать свободно, особенно при неудачах, как сейчас в Румынии. Как приятно не чувствовать себя привязанным к одному месту! — но Государь не был так волен. В самом Могилёве распорядок его был разгорожен общими со свитой и союзными представителями завтраками, обедами, чаями, а ещё чередой приёма приезжающих, а ещё — совсем тесным садиком, где недоставало прогулки его сильному, молодому, отменно здоровому телу. (Доктор Боткин недавно нашёл, что его здоровье ещё лучше, чем два года назад.) И вынужденный жить постоянно в этой каменной городской клетке, Государь имел в Могилёве только одно настоящее утешение и раздолье, это—дневные прогулки: три времени года — автомобильные за город, а там на просторе нахаживаться вволю пешком, во время же большой воды в Днепре — любимая гребля. Хотя скоро уже пятьдесят лет, но впервые в Могилёве минувшею весною Николай был поражён таким зрелищем: после трёхдневного тумана над речною поймой — величественным днепровским ледоходом. Это зрелище — на всю жизнь. А затем — как было удержаться от гребли против быстрого течения?.. Спортивный задор! — Николай был первоклассный гребец. Собрали две двойки из моряков и всю весну гонялись! — а после гребли такая гибкость во всех членах. Затем — и на быстроходной моторной лодке. Старался больше быть на солнце, чтоб загореть и не походить на бледных штабных офицеров.

А сегодня стоял такой день: необычно тёплый, совсем не по ноябрю, безветренный, но и бессолнечный, даже тёмно-пасмурный, однако и дождь не накрапывал. Такая погода, очень мрачная, когда сидишь в городском помещении,— раскрывается за городом мягко-поэтично: почти всё уже осыпалось и от желтизны перешло в оловянное, а что-то ещё и держится на последних невидимых скрепах, до первого удара

ветра. Всё поднебное, подтучное пространство полей, не слишком далеко видное, выглядит как единый большой ласковый Божий дом. Тишина, безлюдье, все работы закончены, летние птицы тоже улетели, поля взрыхлены на зиму,— тепло и нежно прикоснуться к этой земле. Наткнулись на недокопанную картошку, отрыли даже без лопаты, развели костёр из сухого стебелья и пекли картошку. И костёр горел не большой, не ярый, тихая часть этого тихого дня. Хорошо сиделось вокруг и молчалось.

В такие минуты проклятую политику — совсем забывал Николай. Войны — не забыл, хорошо ощущал — и те далёкие отсюда окопы, вот в такой же земле, и не слышные сюда снарядные разрывы. Но Боже, как охотно он отдал бы и свой трон, если бы было кому, и Верховное Главнокомандование опять Николаше,— и стал бы простым солдатом одного из своих славных полков! — за право вот так сидеть у костра, обжигая пальцы зольною картошкой, ни над чем не измучиваться головой и грудью, но ждать на всё ясного приказа, а пока вести простые человеческие разговоры.

Николай не только не испытывал никакой сласти от власти и пышности, но любил жизнь тем больше, чем она проще обставлена и состоит.

Потянул ветерок, раздувая горячие золинки. Доели картошку, засыпали золу землёй, отряхнули руки и поехали в город.

По дороге ветер усиливался, к перемене. Такая задумчивая погода и не могла устоять.

Сын не ездил с отцом за город, потому что приболела нога. Но у него была сегодня своя забава: опробовалась прямая телефонная линия в Царское Село, и он пытался говорить с мамой. Ничего путём не вышло. Сам Государь ненавидел телефоны и предпочитал ими никогда не пользоваться.

А с ногой у Алексея было неважно: растяжение жилы и, как всегда у него от всякой неполадки, — сразу внутренняя опухоль, нарушение кровообращения. Доктор велел ему лечь. (А пять дней назад у него начиналось опасное кровотечение из носу, но к счастью удалось прижечь.)

И тут же узнал Государь, что разбаливается генерал Алексеев. Государь пошёл его проведать — но Алексеева предупредили, и он успел из постели встать. Государь бранил его, требовал тотчас лечь при нём, старик упирался. Это было затянувшееся недолеченное заболевание почек, теперь и с сильным жаром, и уже ясно было, что Алексееву нельзя продолжать работать, а надо ехать лечиться, уже несколько дней стоял вопрос о замене — и Алексеев неожиданно предложил командующего гвардейской армией генерала Гурко. Да главнокомандующего фронтом и отрывать было нельзя.

Но с Алексеевым — жалко было Государю расставаться. За 15 месяцев он очень к нему привык, так ладно и без споров шли у них ежедневные доклады, и всё руководство. Привык и к его мирному виду как бы гимназического захудалого учителя, да пожалуй даже чуть ли не чеховского Беликова, к его козырьку, наплюснутому на очки, простоватым не холёным усам, ворчливому говорку. Никогда не бывало гневной вспышки меж ними, резкого несогласия, как-то всё убедительно Алексеев обосновывал, а привязанности ко всем министрам, которых Государь постепенно выбирал, он и не мог требовать от начальника штаба. Правда, Алексеев непрерывно должен был иметь дело то с продовольствием, то с транспортом, то с металлом — и этим летом не выдержал, предложил создать пост «верховного министра государственной обороны», который распоряжался бы всем тылом, как Ставка фронтом, и Ставке бы иметь дело с одним таким министром. И много дельного было в этом проекте — но во что тогда превращался совет министров? и четыре Особых Совещания с общественностью? Это грозило новой ссорою с Думой, а зачем их зря дразнить? Так Государь

помялся над проектом и отложил его. Но это не испортило его отношений с Алексеевым.

— Да лягте же, Михал Васильевич, вот так, в сапогах, иначе я не буду с вами разговаривать.

— Уже сижу, трудней подняться, Ваше Величество.

Кресло у Алексеева было потёртое, простенькое, жёсткое, но на сиденьи всегда лежала вязаная подстилка.

Отношения их могли испортить, в эти же последние месяцы, письма Гучкова к Алексееву. Даже не допуская, что Алексеев на них как-то отвечал (а может быть?), обидно было Государю само сокрытие таких гадких, лживых писем: ведь получив — не показал, а спрятал в ящик (уверял, что — и не получал). И уже в столицах письмо Гучкова ходило по рукам, пока наконец его смогла достать Аликс и переслать мужу, только так он и узнал.

Это положило обиду между ними. И все-таки не испортило отношений. Государь любил этого старика-генерала. (Впрочем, и не старика, всего на 11 лет старше. Как раз завтра был день его рождения — и Государь помнил и приготовил подарок.)

Огорчён был Государь и тем, что с болезнью и отъездом Алексеева ему самому тем более уже никак никуда не удастся поездить. Значит, пусть Аликс на будущей неделе приедет сюда.

Ещё поговорили немного, и Алексеев, читавший сегодняшние газеты, сказал, что Дума вчера при открытии дурно себя вела.

Он не сказал о подробностях, а Государю было даже противно расспрашивать — и не менее противно идти брать в руки эти гадкие газеты и искать в строках милости или немилости Думы. Но он сразу рассеялся, расстроился, перестал улавливать тему их разговора. Ушёл.

Что же смотрит безобразный Родзянко, камергер, удостоенный орденами и почестями,— почему он не держит их в руках?

А ведь уговаривал Штюрмер: вообще не созывать Думу этой осенью, продлить её перерыв ещё на год, или совсем распустить, а следующей осенью ей переизбираться.

Но Государь считал такую меру недопустимой и неблагородной. Он всё же надеялся, что у думцев хватит национального сознания — не разжигать грызни и помех сейчас, дать спокойно окончить войну.

Расстроился. И обеспокоился. И не читая всех их тамошних речей — он уже заранее их представлял. И теперь искал тревожно: как же против них устаивать? Что делать с правительством? С этим составом — можно ли устоять? Или кого-то придётся уступить, чтоб успокоить Думу?

В самом правительстве не было дружности и взаимного доверия. Поодиночке, разными способами, в разное время подысканные министры не одобряли друг друга. Старый Трепов, Александр, с которым Государь разговаривал на днях в обратном поезде из Царского,— может быть мог бы стать новым премьером. Он был готов заменить Штюрмера, но непременно снять и Протопопова. Да наверно и Бобринского. (С тех пор Николай ещё не виделся с Аликс и в письмах ей ещё ничего не написал, побаивался, он обдумывал пока в одиночку.)

Как он надеялся в своё время на Штюрмера! Он надеялся, что его назначение грянет как гром. Как строго показывал он всем министрам, что Штюрмера надо уважать! И старик старался. И — честный, хороший, и неглупый старик. Но — кто может понравиться думской банде? Кто может против неё устоять?

Может быть Трепов, он жёсткий человек.

Но это вызовет гневный протест Аликс, даже страшно представить. Протопопова она ни за что не отдаст. (И Григорий...)

Протопопова и самому жаль уступить: с ним удивительно легко разговаривать и работать, нет в нём назойливой резкости слов и поступков (как бывало со Столыпиным: каждый разговор — напряжение

до муки), а Протопопов умеет оставить простор и догадке, случайности, вероятности, недоговору,— славный, лёгкий человек.

Да разве — эти уступки укрепят правительство и трон? А не покажут новую слабость?

Вереница министров, которыми он пожертвовал, пытаясь насытить Думу, протягивалась в его печальной памяти — и любимый Николай Маклаков, и умница Щегловитов, и честный Рухлов, и жизнерадостный Сухомлинов,— но даже своего военного министра — во время войны!— он разрешил отдать под суд! — всё равно как самого бы себя. (И до последнего дня не решался выпустить Сухомлинова на поруки.)

И всё равно не угодил нисколько. И только жарче и разъярённее наседали. Так для чего и уступал?

И положение стало казаться ему таким же нагромождённо-безвыходным, как летом Пятнадцатого года.

Погружённый в это мрачное размышление и во всей Ставке не имея, с кем бы поделиться, Государь между тем со сдержанным лицом отбывал распорядок дня и кого-то принимал,— эти процедурные приёмы изводили его, отбирая всё время и внимание. А на поздний вечер оставались — бумаги, бумаги.

Между тем у Бэби нога опухла хуже, поворачивал с болью, и смотрел привычно-печальными большими отцовскими глазами, не по возрасту привыкнув к своей горькой судьбе.

Когда Алексею подошло время спать, Николай помолился, став близ его постели, а Алексей повторял лёжа.

Они спали на походных кроватях в общей маленькой комнате, увешанной образками и крестиками,— и всю ночь отцу были слышны, под вой ветра снаружи, стоны мальчика здесь.

От этих стонов отец готов был рыдать или бежать куда-нибудь.

Сильный толкающий ветер перешёл в ливень и как будто со снежинками.

70

Не поверить, как всё изменилось за ночь: тот вчерашний тёпло-безумный ураган успел похолодать, вылить ливень, засыпать Могилёв снегом — и успокоиться к утру в пятиградусном морозце. Да столько снегу сразу навалило, что по Губернаторской площади пробивали люди тропки наискосок, а дворники ещё не справились. Кой-где промелькивали первые поспешные сани с бубенчиками, а колёсные ещё торили свою колею, и автомобили недовольно фырчали, размётывая снежную пыль и занося задом.

Но чем неожиданней, тем сильней действовал на душу этот вывал зимы — обеляющий, очищающий, зовущий к какой-то новой строгости. Уже таким смятенным, да и растерянным, да и счастливым, как вчера, Воротынцеву не быть, не мог оставаться. Да и пора было ему очнуться от своей круговертной стыдной поездки. Ничего не решил, ничего не сделал, и никак иначе не очнуться, как возвращаться в полк.

Проснулся бодрый, сильный, и, при всей полноте Ольдой,— сразу вспомнил о Гурко: и времени нет оставаться дальше дожидаться — и как бы его увидеть, поговорить?

И если б не ждал, то не узнал, а так во дворе штабного собрания сразу выделил знакомую спину совсем невысокого генерала с решительным настигающим шагом и несколько увеличенным размахом рук. Это был он! — всегда много дела, заботы серьёзные, расслабляться и мешкать не приходится.

Хотел на глаза ему тут же попасться — не сноровил. Пошёл к столу.

Всё, как Свечин предсказывал! Неужели ж?..

А в офицерской столовой гудела сенсация снова, уже не по телефону полученная, но лично кем-то привезенная из Петрограда: позавчера в Думе Милюков, *имея документы на руках, доказал предательство царицы*!! А уж Милюков зря не скажет! Учёный, историк, он-то знает цену доказательствам!

Передавали газеты. В них этого не было ничего, конечно, но зловеще и беспомощно зияли в колонках «белые места» — как прострельные раны в боках власти.

Гудела столовая, и самые законопослушные и самые равнодушные были потрясены. Если царица прямо передаёт немцам секреты Верховного Главнокомандования — то как же нам всем воевать?..

Некоторые злорадствовали. Царицу — не любили.

Вспомнили и Николая Николаевича, как он давно говорил: в монастырь её!

А Воротынцев вспомнил тёмные солдатские разговоры — всего лишь по слухам ползущим и искажённые беззащитным представлением. Что же взбаламутится теперь, когда дойдёт открыто, когда и офицер должен подтвердить, что в Думе, да, названо: царица — изменница? Офицеры могут съезжаться в штабы, советоваться, хвататься за шашки — а солдату со дна окопа не высунуться, не отойти,— и каково это всё ему? Да ведь он винтовку выронит. Да зачем же ему теперь под пулемёты?

Очень свободно, даже мятежно разговаривали. Знает ли Государь? Что он будет делать теперь? Ясно, что правительство будет меняться. Милюков должен быть очень уверен в своей позиции, если выступил с такой резкостью. Двор — должен сдаться. И наступят перемены!

А что делать — нам? Никто ни к чему не склонялся, ничего прямого не предлагал, а — рассуждали, рассуждали...

Воротынцев возвысил голос на несколько соседних столов:

— А — г д е измена? В чём? Кто из нас, господа, где видел с л у ч а и измены? Когда?

Никто не взялся ответить. Выслушали — и гудели, каждый себе.

Будь Воротынцев нисколько не подготовлен к мыслям о перевороте — он сейчас бы мог закипеть первее всех. Но уже отдумавши о том несколько недель, отведав на зуб крепость ответных аргументов, он пребывал вне решительности или гораздо дальше от неё, чем отъезжая из Румынии.

Неподатливый сапёрный полковник слушал-слушал:

— Да суду его предать за такую речь, мерзавца! У нас — всё безнаказанно. Бабьи сплетники, а не народные представители.

Один подполковник сказал, с видом будто знал: что Думу через несколько дней и разгонят. Что Штюрмер уже едет в Ставку получить подпись Государя на разгон.

Также и тут никто не осведомился: откуда?.. Наступило время такое: кто что слышал. И большей частью передавали верно.

Так же и у Воротынцева был свой тайный источник. Сразу после завтрака пошёл к Свечину:

— Так приехал Гурочка! Я видел сам!

— Поздно вечером, да. И ночью сидел у старика.— Свечин качал неровным булыжником головы.— Старик плох, температура высокая. Но и хуже новость: Живой Труп в Ставку приехал. Вчера же.

Воротынцева взяло гадливостью, как проглотил скользкое:

— Откуда?? Он же во Франции!

— Наверно в Петрограде был. С каким-то докладом придуманным. Как мадмуазелям ордена прикалывал.

— На Алексеева летит? На свободное место?! — взревел Воротынцев.

— Безусловно. Эти вороны чуют далеко.

— Нахальство какое! Бессовестность какая! — расходился по малому кабинету.— Жилинский! Сейчас? Во главу всей армии?! Но ведь это же — конец!! Тогда — жить нельзя!! Тогда — ни минуты терпеть нельзя! А ты говоришь! Вот и нужно меры принимать! Самим! А то — так и будут назначать!

Сшибало надежды, обрезало по макушкам.

— Ну, не горячись. Репутация Жилинского всё же подмочена, не добавлять ещё к Штюрмеру и к Распутину. Мы теперь к репутациям чувствительней стали. Да и Михал Васильич, я думаю, ни за что не допустит, заманеврирует. Скорее сам лечиться не поедет, тут и умрёт, за столом.

Пошли в другое здание, в дом дежурства, искать Гурко.

В одной из малозначительных комнат нашли. Он! — остроусый, остроглазый, с подвижной быстрой головой. Сидел за столом, однако не вовсе письменным, и не своим, и даже на проходе, как случайный гость. На нём были кавалерийские погоны и два георгиевских креста, на груди и на шее, а прочих всех знаков не носил, как и академических аксельбантов, лишней путаницы, хотя и генштабист уже четверть века. И ещё несколько старших офицеров, не отнесенных к этой комнате, собрались тут с ним — не по службе, а по симпатии. Не было папок, подшитых приказов, ни даже карт, всех обязательных принадлежностей штабной работы, а — случайная стопка чистых листов, на которых и писали, черкали и считали, кому придётся и с какой придётся стороны. Гурко, с первыми-первыми серебринками на откиде густых прямых тёмных волос, взглянул, приподнялся, быстро приветливо пожал руку Свечину и Воротынцеву, нисколько им не удивясь, ни о чём не расспрашивая, а своим голосиной звонким сдерживаемым — не по росту генерала и не по этой комнате, а в ином бы месте развернуть его в иерихонское трубенье,— продолжал увлечённый разговор с офицерами, тон которого вошедшие быстро поняли и приняли. Совершенно не касаясь, почему именно здесь, сегодня, и именно с генералом Гурко это обсуждается, тут взвешивали соображения и цифры, по такой идее генерала: в короткое время зимнего затишья, за несколько месяцев, возможно ли (уже до их прихода было решено, что — возможно), и — какими лучшими приёмами, и используя какие резервы, перестроить все полки русской армии от Балтийского до Чёрного моря из четырёхбатальонного состава в трёхбатальонный — и притом не дав противнику почувствовать ослабления военных действий? Выгоды замысла были очевидны: трёхбатальонные полки с самого начала были у немцев; так избегалось лишнее наполнение окопов поражаемой пассивной живой силой. Так можно было выиграть 48 новых дивизий или освободить только из первой линии больше миллиона человек.

Любимая мысль Воротынцева! — армию сократить? Схватился он, приник!

Выгоды были очевидны, но решиться делать так в третью зиму многогроможденной войны мог только генерал отчаянный, покоя не ищущий, да возвышением своим не дорожа, от должности не тая,— и только через то могущий получить полную свободу рук, независимость от Государя и ото всех, кто толкунцом мошкары вокруг него обращается.

Но именно таков и был 52-летний младший сын знаменитого Иосифа Гурко, фельдмаршала последней турецкой войны, штурмовавшего горы. Признаком подлинного полководца в Василии Гурко было то, что он никогда не останавливал свою деятельность на исполнении приказов и на границах своих обязанностей, но из каждого боевого случая, но из опыта своих частей и своих боёв не упускал извлекать опыт всеобщий и предлагать его всем. Так, уже седьмым изданием выходила его брошюра-инструкция о ведении позиционной войны на русском фронте — и шла нарасхват. И вот теперь, ещё и не назначенный начальником штаба Верховного, и всего-то на несколько недель, он не

видел другого смысла своего взлёта, как произвести перестройку всей армии на полном ходу! — и именно сейчас, немедленно, чтобы снизить потери сегодня, чтобы выиграть войну завтра, а не ожидать благосклонных послевоенных канцелярий и комитетов.

Такой замысел не мог не захватить! Свечин побыл и должен был уйти, а Воротынцев уже через пять минут добыл себе табуретку, придвинул к тому же столу и на тех же листах, вместе со всеми, писал, считал, чертил и спорил, как будто для того и шёл, для того был зван. Курили, говорили, доказывали, никакого внимания не обращая на чины, будто одинаковы с полным генералом и его адъютантом-ротмистром. Примерялись строгие быстрые глаза Гурко, сдержанный звонко-прерывистый голос называл, выбирал варианты, а Воротынцеву — жарко было, он просто пылал от счастья, давно-давно не прикасавшись к такой настоящей штабной работе!

Радость работы с талантливым человеком! Чем Гурко был замечателен: он поразительно быстро схватывал суть всякого дела, давал себя и переубедить, не упорствовал, — затем принимал ясное определённое решение, а уже в пределах задачи не вмешивался в мелочи.

Проблема быстро расширялась, не так легко её ограничить. Оставлять ли тогда дивизию из четырёх полков? А корпус из двух дивизий? Или единообразно всё по три? Упразднить до конца ненужные пехотные бригады? А артиллерию? Давно пора и батареи из шестиорудийных сделать по четыре: тоже простой стволов, тоже избыточный расход снарядов. Но осилить ли две переформировки сразу? И на пехотную дивизию нельзя оставить ослабленную до 24 пушек артиллерийскую бригаду. А удвоить число бригад? — надо пушки просить у союзников, не дадут. А бинокли, стереотрубы, буссоли, телефоны?..

Всю жизнь Воротынцев влёкся к решительным людям и отвращался от мямль. Решительнее же Гурко нельзя было даже вообразить. По его худому подвижному запятому лицу, по его оценкам в полслова можно было оценить и его самого. И как свободен от изумления, потупленности, потерянности перед внезапным резким расширением обязанностей, как естественно прирастает к новому назначению, ещё даже не назначенный! — как растение молча и просто растёт, не умея не расти. Только бы не удались козни Жилинского, только бы не передумал вечно переклончивый неверный Государь! Вот наконец своевременный человек, приходящий на своё природённое место! С такой быстротой и дерзостью ему подействовать бы год. Как ни уменьшились возможности полководца, а необходимость в нём не уменьшилась. Этому генералу год посидеть в Ставке — и русская армия победоносно кончит всемирную войну. Отсюда кажется, да: не проиграли мы ничего! Прав Свечин.

И что, в самом деле, дал так опуститься своим рукам?

Сам из того же материала, Воротынцев несоревновательно оценивал генерала Гурко через потресканный крашеный неписьменный стол бывшего окружного суда, оценивал — только с желанием въединиться в деятельный хвост его кометы.

Идя сюда, Воротынцев ещё удерживал затаённый смысл, даже построил вход: в Петрограде он встретился с Гучковым, вспоминали всех, и Гучков с особенным расположением и вниманием расспрашивал о Гурко. (И то не ложь, то — угаданная правда: говорили о кандидатах на алексеевское место, а если б Свечин уже в тот день мог назвать Гурко — разве меньше заволновался, заходил бы по кабинету Гучков? разве не в ту же связь поставил бы он назначение? не с теми же мыслями искал бы увидеться? Придумать так — даже долг перед Гучковым, неразгруженная обязанность перед ним.) Выразить это со значением — и вглядываться, высматривать в генерале встречную склонность?..

А сейчас тут показалось: зачем? Так сразу захватили расчёты по перестройке дивизии, что тот гучковский задний план, тускневший с тех

пор, вот сам опрокинулся и окончательно погас. Реальная работа лежала на столе. Она — вмиг возвращала вечно-деятельное состояние с вечно-бодрым настроением. И конечно так же, десятикратно так же, должен был чувствовать Гурко. Даже заикнуться ему о том было бы стыдно, неловко, невозможно. Служить надо, лямку тянуть, а не под ногами мешаться.

Сжатый, решительный рот генерала, природное естественное состояние суровости грозно исключали даже касание раз навсегда данной присяги.

После Свечина ушёл ещё один офицер, потом другой, а ещё один пришёл, — Воротынцев же, как сел, так и не уходил: весь день у него был свободен и ничего лучшего он себе не желал.

Всю реорганизацию они додумали, и на многих листах расписали по родам работ, по принадлежности исполнения, по числам, составам. Можно было и подробней, и дальше, но затрагивался, подымался уже миллионный счёт: где людская неисчерпаемость России? Куда провалились наши миллионы? Полевой интендант кормит на фронте 6 миллионов, а бойцов насчитываем только 2. Значит, 4 миллиона обслуживают, а не воюют? Как это вычерпать? Или: тыл считает, что дал армии 14 миллионов, во всех видах потерь убыло 6. Так должно остаться 8, а их 6. Где же 2?

Потом — с кавалерийским генералом! — о судьбе кавалерии, всё меньше нужной на войне, всё больше сглатывающей зерна, когда нет его, и самих лошадей миллионы, пригодились бы в тылу. И об армейском провианте: круп, сахара и мяса — ещё вдосталь, а муку плохо везут.

Наконец, и о Румынии, — румынские заботы совсем не чужды оказались Гурко, даже очень давили на него, да его Особая армия (называлась так гвардейская, чтобы не быть 13-й) стояла ведь на Юго-Западном. Проблемы румынские он отлично понимал: при перемешанных по фронту русских и нестойких румынских частях — как держать фронт? Сколько можно ещё удержать? Очень понимал Гурко эту беду и проклятье, свалившиеся на нас: союз с доблестной Румынией.

Подходило время царского обеда — Гурко по какой-то ошибке не оказался приглашён к императорскому столу. И Воротынцев испугался: неужели это интриги Жилинского? неужели оттеснил уже?

Но не хотелось верить. Нет, наверно просто кто-то не знал, не распорядился.

А вообще — ох, наберётся с ним император хлопот! Его не пригнёшь, не изогнёшь и приглашением к высочайшему столу не посахаришь, — а всегда услышит Государь правду матку. И каждый свой временный день этот неслух будет вести себя как назначенный пожизненно. Ещё от его голоса заложит уши его величеству. Однако — назначайте, назначайте же скорей!

Ротмистр пока добыл в двух тарелках чего-то сухомятного, и они, вчетвером, жевали между делом. И теперь уже не подразумеваемо, а открыто поминая своё возможное назначение, Гурко пожалел, что придётся работать всё с новыми, а в каждом месте за этот год, что его стремительно протягивали через корпус, Пятую армию, Северный фронт, Особую армию, — везде он находил и привлекал неоценимых офицеров, и многие просились за ним при каждом переходе, и многих он охотно перетянул бы сюда, того же генерала Миллера из Пятой, а — нельзя, неприлично, суетно.

И тем самым Воротынцев понял, что сюда, в Ставку, его не зовут, что вот этим увлечённым счастливым днём всё и кончится.

А впрочем, тут же это повернулось и с разумной необходимостью: теперь, уже зная весь смысл и приёмы реорганизации, Воротынцеву и надо оставаться именно у себя, там, на краю, и там работать по этой программе, только уже в штабе своей Девятой, которую будут скоро

увеличивать из-за негодности румын, слать туда корпуса. Гурко пришлёт распоряжение, как только заступит.

Если заступит.

Ну что ж, как часть единой реформы освещался и дальний румынский угол...

Э т о т — будет жалеть русскую кровь.

Да Воротынцев и не собирался в Ставку, это Свечин сбивал, уговаривал.

Ещё недавно ему казалось, что до конца войны он так и не уйдёт с позиций, и не хочет даже. А от этой поездки — расслабел, и теперь вдруг обрадовался льготе. Правда: переустал он от полка.

Уж когда выходили вместе, Гурко надевал свою шинель на общеофицерской серой, а не генеральской красной подкладке, Воротынцев, повинуясь всё-таки не отданному долгу, петроградской своей вине перед Гучковым, неожиданно высказал версию о встрече с ним и привете, — и всё-таки посмотрел, посмотрел на строгого генерала, испытывая в т о м смысле.

Но Гурко — не выразил большого тепла, даже почти никакого. Поджал губу под усами.

— Александр Иваныч... Александр Иваныч... Очень смел... Очень настойчив. При всех своих, — что-то качкое показал кистью, — убеждениях. Но... Из-за того, что много ездил волонтёром и просто по фронтам, сильно преувеличил своё понимание войны и армейских проблем. Масса знакомых у него в армии, не всегда лучшие, вроде этого фельетониста Новицкого. Все ему что-то рассказывают, обо всём наслышано... И вот он...

И подумал Воротынцев: а для Гурко на его новом посту Гучков — разве не груз? Можно не дорожить должностью, можно дерзить царю — но по делу, но для дела, а Гучков если уж на Алексеева тенью пал, так на Гурко — тем более, сколько связано в прошлом. Приедь сейчас Гучков в Ставку — ка́к станет выглядеть всё это назначение, вся эта подстановка со стороны Алексеева?

И Воротынцев не щеками, но внутренне покраснел: и что за вздор, правда? И до каких пор носиться с этим отозревшим младотуречеством?

А какая-то вмятинка от Гучкова — всё же на совести осталась.

Крымова — повидать? не повидать?

71

(Государственная Дума, 3 и 4 ноября)

Думские первоноябрьские речи вышли в газетах с белыми местами, с пропусками даже у Левашова и Балашова. Пошли по рукам апокрифические, несхожие тексты, и ловкачи продавали их по нескольку рублей. Истинного текста милюковской речи даже правительство не могло получить от Думы, зато по стране распространялся именно он, и даже с добавлениями. Всё *общество* говорило, что Думу надо беречь. (Бурцев, искатель и дегустатор тайн, затем обратился к Милюкову: откуда он взял свои факты, больше похожие на неправду. Ответил ему Милюков, что взял их из Neue Freie Presse; что, может быть, они нуждались ещё в проверке, но он должен был употребить их раньше социалистов.)

А Родзянко, отлучаясь с председательского места, предвидел правильно: ночью на 2 ноября он получил записку от Штюрмера — тот ждёт решений Председателя Думы об оскорблении царской фамилии в заседании; и тут же — письмо от министра Двора; напоминает, что Родзянко — камергер, и просит уведомить, какие шаги...

Какие ж... Изъять это место из стенограммы. И — пожертвовать Варун-Секретом, хотя и жаль Варуна. И тут же оправдаться перед обществом: дать заявление в

газеты, что пропуски в речах — не по его вине, он передаёт в бюро печати все речи полностью. Родзянко нисколько не интриган, напротив — он очень склонен к прямоте. Но сознавая себя живою Думой на двух ногах, он вынужден, для России, оберегать себя от риска. Когда в 3-й Думе Гучков готовил запрос о Распутине, Родзянко, уже тогда Председатель, тайно предуведомил царя. Теперь — не шёл предупреждать, а поберечься — надо было.

И вот, благодаря своему предвидению и осторожности, «самый большой и толстый человек России» (по выражению Государя), *Самовар, Барабан* (по думской кличке), сегодня опять уверенно всходит на председательскую башню. Зал успокаивается. Правительство, как завелось, отсутствует, не ищет столкновения, это не столыпинские времена. В ложе министров сидят только помощники их. Хоры публики переполнены гуще позавчерашнего, говорят — даже Шаляпин тут. Ждут нового скандала, особенно набитая ложа прессы.

Всё же — открыть заседание предстоит повинному, оплошному Варуну. Почитали разные скучные бумаги о принятых законопроектах, перечли нерадивых членов Думы, пропускавших заседания, а дальше — не отвертеться, не оттянуть:

> В а р у н - С е к р е т: Господа члены Государственной Думы! В заседании 1 ноября депутат Милюков допустил цитату из немецких газет, касающуюся лиц, упоминание которых здесь не принято, а суждение недопустимо. Не владея немецким, я не применил цензуру председателя, предусмотренную наказом. Теперь эта часть стенограммы устранена, тем не менее не могу не признать себя виновным в упущении и приношу Думе своё извинение. Считаю своим долгом сложить полномочия Товарища Председателя.
>
> К е р е н с к и й (с места): Ходить в Каноссу унизительно!

(Какой вкус, какая точность сравнения!)

Невредимый, полнотелый Родзянко, купаясь в общей любви и радости Думы, заступает председательствовать, сдерживая свой колокольный бас.

Прения — о чём? Не уйти ли правительству? Хорошо ли оно? Такого вопроса не может быть в повестке дня. Прения — по сообщению бюджетной комиссии.

Тонкий, остренький, пикоусый, не без франтовства, но милого, благовоспитанный, обдуманный (как сплёл думский стихотворец Пуришкевич:

Твой голос тих и вид твой робок,
Но чёрт сидит в тебе, Шульгин),

когда-то очень правый, а вот уже «прогрессивный националист», — выходит, волнуясь, понимая особенность дня, и чувствуя это напряжённое, театральное внимание публики, ещё и сегодня ждущее взрывов, —

> Ш у л ь г и н: Не с лёгким чувством я начинаю сегодня свою беседу с вами. Я не принадлежу к тем рядам, для кого борьба с властью есть дело привычное, давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении даже дурная власть лучше безвластья. Особенно осторожно надо относиться к власти во время войны. Поэтому мы терпели бы до последнего предела...

Однако, ораторы раскачивают ораторов, дух соревнования разожжён, и почти непереносимо смолчать человеку, чьи чувства очень склонны к романтике.

> И если мы сейчас подымаем против этой власти знамя борьбы, то потому, что действительно мы дошли до предела, дальше переносить невозможно. (С л е в а: «Б р а в о!») Люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюрмером? (С м е х, р у к о п л е с к а н и я, к р о м е к р а й н и х п р а в ы х.) В этих условиях молчать — было бы самым опасным. О, если бы эта власть шла туда же, куда и мы, хотя бы по-русски, то есть кое-как! — мы бы старались объяснить населению, что она добредёт до желанного конца. Но осталось у нас одно средство; бороться с этой властью, пока она не уйдет! (С л е в а: «Б р а в о!» Р у к о п л е щ е т в е с ь з а л, к р о м е к р а й н и х п р а в ы х.)

Это даже сильней и страшней выглядит, чем Милюков, потому что выступает известный монархист. Если уж т а к сдвинулось — больше нет терпенья, и что-то произойдёт! — сейчас в зале или вообще что-то. Электричество в публике. («Яркий нервирующий свет... ах, эти речи... страшно говорить... слушает вся Россия...»)

И такая борьба—единственный способ предотвратить, чего больше всего следует бояться,—анархию и безвластие. Тогда и офицеры на фронте более уверенно поведут свои роты в атаку, ибо будут знать, что Государственная Дума борется со зловещей тенью. И уполномоченный и земство увереннее закупят и повезут хлеб, зная, что он не просыплется в щель между министерством земледелия и министерством внутренних дел. И рабочие, в руках которых наполовину судьба России, будут усерднее стоять у своих станков. И даже когда в их мастерские будут врываться банды: «Забастуйте для борьбы с правительством!», рабочие ответят: «Прочь, провокаторы! С правительством борется за Россию Государственная Дума, а если будем бороться мы забастовками, то это будет борьба за Германию». (Рукоплескания.) Господа, а как же можем мы бороться? Только одним пока: говорить правду, как она есть!

Здесь были произнесены тяжкие обвинения. Но ужас не в них, а — как их встретили. Ужас в том, что председатель совета министров не придёт сюда дать объяснения, опровергнуть обвинения

что правительство даже не находит силы защищаться, даже не приходит в зал, когда его обвиняют в измене.

(А почему, правда? Почему Штюрмер не пришёл оправдаться? Та заклятая степень отчуждённости, когда уже и разговаривать лицом к лицу упущено, — и тем резче думские речи.

Штюрмер: Если бы я был там, я бы сказал, что никаких взяток не брал, не делил. Но, к сожалению, я не мог этого сделать. Озлобление было настолько сильное, что я не мог и думать выходить на кафедру, не подвергаясь нежелательным выходкам.

Та степень отчуждённости, когда «подавитель» ещё больше перепуган, чем «давимый», когда власть крадётся по задворкам. Ни в измене, ни во взятках не виновый, ничего от Манасевича не бравший, Штюрмер только и осмелился пытаться подать на Милюкова в суд.)

А вместо этого устраивает судебную кляузу с депутатом Милюковым. Господа! Штюрмер — это продовольственная разруха, безнаказанность Сухомлинова, и боимся, что это — только заглавие к той сатанинской грамоте, в которой изложится программа позора и гибели России! (Продолжительные бурные рукоплескания всего зала, кроме крайних правых. «Браво!»)

(В эмиграции, в 1924, вспомнит Шульгин:

Мы были слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верили, что правительство никуда не годно.)

В Думе — четыреста сорок депутатов, но иные из них все четыре года так и промалчивают: сидят крестьяне, протоиереи, земские врачи, казаки, профессора и предводители дворянства, усы да бороды поглаживают, только слушают. Зато по понятному всем церемониалу лидеры фракций и отколовшихся групп — так и идут, идут через трибуну, повторной чередой.

Вот — буйный раскольник Блока, лидер прогрессистов, почётный мировой судья и попечитель гимназий, взъерошенный дончак

Ефремов: Пагубность существующей политической системы, бездарность и бессилие носителей власти... Правительство, которому страна не верит... Быть может, за всё время своего исторического существования власть никогда не представляла собой картину такого ужасающего развала, такого беспросветного убожества, полного непонимания национальных задач.

(Он говорит честно, уверенно, он так видит. Но пройдёт полвека — и так же уверенно не увидит исследователь ни ужасающего развала, ни полного непонимания: современники были в самогипнозе.)

В такое критическое время знать, молчать, бездействовать в невежестве и всё же оставаться у власти есть преступное забвение долга перед родиной, *граничащее с предательством!* Слухи о возможности сепаратного мира грозят изолировать Россию в семье культурных народов. Самая мысль о сепаратном мире есть уже измена России. Кто дерзнёт

стремиться к его заключению, навлечёт на себя народную месть как предатель отечества!

(Пожнём — проверим.)

Народ должен глубоко задуматься. Закулисные интриги, тайные влияния проходимцев, старцев, сомнительных дельцов, явных и тайных друзей Германии. (Рукоплескания в центре и слева.) Невозможно ограничиться сменою лиц,

на чём и разошлись с Блоком, —

необходимо коренное изменение *всей нашей политической системы!* Правительство, ответственное перед Думой! Снять путы с русского народа! (Рукоплескания.)

Дальше — круче, оратор раскачивает оратора, это — качели, и они взлетают даже повыше, чем хотел лидер большинства, чем хочет монументальный Председатель, опять встревоженный. Вот вымётывается на трибуну — в черкеске с газырями, в погонах подъесаула (ах, оселедец первых дней войны! — сострижен, сросся с волосами), только что с фронта (а ещё более — показать, что с фронта), терский лихой и левый казак, сполошный, бестолковый, отчаств и любимый думский шут

Караулов: Господа Государственная Дума! В бурных волнах горячих речей прошлого заседания потонул исходный факт: неявка министров в заседание бюджетной комиссии. Комиссия заключила, что продовольственная разруха грозит свести на нет всю пролитую на фронте кровь, Штюрмер же ответил, что не находит возможным явиться в бюджетную комиссию. Мы должны неотложно установить ответственность министров перед Думой. Настоящее правительство при его безответственности не только никогда не создаст великой России, но погубит и существующую. Но я не предполагал, что угроза гибели так близка. Мы должны вмешаться и разбить роковую цепь событий!

Вполне как скачка на коне, как сабельная рубка: дух захватывает, земли не чуешь — несёт! несёт! — и машет сама рука.

Во вторник было брошено с этой трибуны ужасное обвинение правительству, — а что вы делали в среду? В тех же Особых Совещаниях с представителями того же правительства обсуждали те же вопросы, что и до вторника. Я хочу обратить ваш негодующий взор в неожиданную для вас сторону. Если Вильгельм имеет союзников среди нашего правительства, то и правительство имеет своих союзников — внутри нас: это — наше бездействие, безволие, нерешительность. Правительство сильно исключительно нашей слабостью! Не из нашей ли среды раздался год назад лозунг: «не перепрягать лошадей при переправе через реку»?

Лихой терец готов и в горной реке их перепрячь.

Не из нашей ли среды вышел эффективный, но ложный аргумент о преступном шофёре, направляющем в пропасть мотор, где сидит наша родина-мать?

Отличник Маклаков даёт себе мало труда улыбнуться, снисходительно к напористому казаку.

Не нами ли проведен нелепейший мясопустный закон, когда все вопросы о свободах лежат в забвении? Господа, неужели вы не видите, что нынешнее правительство — призрак, тень скользящая, что в нашей робости источник его храбрости, и оно тем крепче, чем больше мы упускаем времени? Правительство вполне уверено, что вы дальше горьких слов не пойдёте, а на деле ни в чём ему не откажете. Всё ваше негодование — только истерические вопли, вы отдали управление государственной колесницей, перелезли с облучка в кузов и просыпаетесь только от толчков на ухабах. А страна ждёт от нас дела, дела и дела! Что же нам делать, спросите вы? (Слева: «Поучите!» Справа смех.) Сейчас научим. Я всегда утверждал, что при спокойном рассудительном отношении не бывает безвыходного положения; я всегда утверждал, что из всякого положения может быть найдено по крайней мере три выхода. (Смех.) А из нынешнего я вижу даже четыре. («Ого!» Смех.) Я

не говорю уже о пятом и шестом, которые сами собой напрашиваются: или нас разогнать или Штюрмера уволить. *Первый* выход: раз для нас стало ясно, что правительство ведёт государство к позорной гибели, то просить нашего Председателя испросить у Его Величества аудиенцию и представить на благовоззрение... Скажут: неконституционно! Дело ваше, господа. *Второй* выход вполне конституционный: прекратить всякие отношения с правительством! Объявить бойкот министрам, не приглашать их в Думу.

Родзянко: Член Государственной Думы Караулов, не приглашать министров нельзя, это их право.

Караулов: Их право являться, но не наша обязанность приглашать их.

Родзянко: Прошу вас с замечаниями Председателя не спорить.

Караулов: Слушаю-с. Итак, господа, оставим пока министров в покое. (Смех.) Но в нашей власти — отвергнуть в целом весь бюджет на 1917 год! И все законопроекты, которые представлены комиссиями, — к отвержению! (Замысловский: «И уехать домой.») Вы, может быть, домой, а я — на фронт, и буду там полезнее, чем здесь, попусту терять слова.

Родзянко: Я буду вынужден лишить вас слова.

Караулов спешит с главным:

Третий исход, я боюсь вы этим третьим путём и пойдёте: испугавшись разгона Думы, выдадите боярина Милюкова головой боярину Штюрмеру, будете ловить слухи в кулуарах, считать копейки в бюджетной комиссии и охать, что десятки миллиардов проходят вне вашего контроля.

Четвёртый же путь, господа депутаты... Нет, о четвёртом пути и скажу не вам и не здесь. Этим путём пойдёт сама страна, когда потеряет свою последнюю надежду — на вас! (Рукоплескания слева.)

Это — с таким значением обещано, что: Караулов, очевидно, с кем-то связан, что-то *знает*, да и — какие-то нити у него в руках?

А ещё такой в Думе церемониал — отдавать трибуну представителям национальностей в черёд. И сейчас (отчасти — чтоб и охладить немного Думу) Родзянко пропускает: одного — от мусульман, одного — от Курляндии, одного — от ковенских евреев. (Да на еврейском вопросе Думе не охолодиться, а пожалуй наоборот.) Однако тот недостаток имеет это равномерное чередование ораторов, что раз в зале сидят и правые, то приходится Думе слушать и их тёмный бред, и по такому же наказному часу. Впрочем, какие уж правые — их всё меньше, они дробятся, расползаются, как будто вырождаются, боясь собственного существования, не в смелости отстаивать его. Вот идёт на трибуну — рослый, тяжёлый, большеголовый, в хомуте крахмального воротника, со вскрученными усами, обильными тёмными кудрями,— да где мы видели его? позвольте? что за рисунок? А-а, в Думе так и зовут его — «Медный Всадник», и тут, видимо, не случайное сходство: Марков—из рода Нарышкиных, и в каком-то седьмом или десятом колене вынырнул тот же образ! Только походка у него не императора, а как будто попружинивая, без уверенности.

Всеми ненавидимый председатель Союза Русского Народа держится — подчёркнуто надменно, закоснело твёрдо, с лицом запечатанным, ибо в привычку ему, что он — всегда против течения, что он — всегда среди врагов, во всяком обществе образованных русских людей. Так и держится — ещё более вызывает желание противоречить себе. Тут какое-то противообаяние: как Шингарёв располагает к себе даже противников, так Марков отталкивает даже единомышленников. Своим грубым напором он умеет оттолкнуть, даже когда говорит правильное. Если бы сейчас надо было Думе голосовать, кого одного исключить из своих членов, — дружным большинством исключили бы его.

Марков 2-й: У господина Шульгина осталось одно средство: бороться с русской государственной властью, пока она не свалится в пропасть. Мы в Думе будем бить словом по ненавистному правительству — и это патриотизм. А когда фабричные рабочие, поверив вашему слову, забастуют — это будет государственная измена. Но они не болтуны, и если

вы говорите — будем бороться с государственной властью во время ужасной войны, то знайте, что ваши слова ведут к бунту, к народному возмущению в ту минуту, когда государство дрожит от ударов врага. Ведь от ваших слов не разбегутся вам ненавистные министры, это можно сделать только тем ***четвёртым путём***, которого не осмелился здесь определить депутат Караулов. Четвёртый путь, на который звал нас этот господин с царским орденом на груди, действительно способен разогнать государственную власть, но он способен и погубить Россию. (Слева шум и смех. Справа: «Не смешно, Россия плачет!») Господа Шульгины, вы — пораженцы, ибо повели народ и армию к потере веры. Если перестанут верить, что сзади управляет благожелательная власть, то воевать никто не будет. (Шингарев: «Воюют за Россию, а не за правительство!»)

Трудное положение у нас, правых. (Слева смех. «Верно!»)

И верно. Он почти знает, что дело его проиграно и у этой аудитории и у всей России.

Вот поставлено с этой кафедры тяжкое уголовное обвинение председателю совета министров. Мы — молчали, и г. Шульгин оперирует: значит, вы согласны. А мы молчали потому, что криками и негодованием нельзя спорить против обвинений, столь прямо поставленных. Я слышал, это дело будет предметом суда: виноват ли председатель совета министров или клеветник тот депутат, кто его обвинил. А г. Шульгин недоволен: вы отделываетесь судебной кляузой. По-вашему, председатель совета министров должен был бы выйти на эту кафедру и сказать: неправда, я взяток не брал, неправда, я не изменял. Да если б он с этим явился — вы б закричали: долой, пошёл вон! (Слева: «Верно!») Вам хотелось, чтоб это было замазано роспуском Думы, чтобы вы могли обратиться к народу и в окопы, где за вас теряют жизни: мы обвинили его во взяточничестве, а нас распустили. Это сорвалось, вас тянут в суд, и вы виляете хвостом: судебная кляуза.

(1-й департамент Сената предложил Милюкову дать объяснения по существу, но Милюков, не имея их, уклонился: он представит «все доказательства», когда будет наряжена следственная комиссия над действиями министра. «Русские Ведомости» одобрили такой ответ: если бы Милюков стал давать объяснения, что создало бы прецедент, ограничивающий свободу депутатского слова.

Депутат же должен иметь полную свободу клеветы...)

Вы слышали молодецкое слово казачьего депутата Караулова. Он обещал низвергнуть всё сущее четвёртым путём, о котором будет говорить где-то там. Но и речи Милюкова, Керенского, Чхеидзе и ласковое изречение господина Шульгина разнятся только в технике, а ведут они все к одному: к революции! (Караулов: «К ней ведёт правительство!») Вы не понимаете, что вы хотите сделать: вы хотите, чтобы революция разрушила всё худо или хорошо сложенное русское государство!

К неприятности для большинства, не так уж много в связи и ясности уступает Марков ораторам Блока, есть кой-какое и образование у него, институт гражданских инженеров. Хотя за его затылком нависает настороженная, враждебная ему туша Родзянки, — Марков знает свой наказный час, не зависимый от председателя, и уверенно вовладался, упёрся в трибуну всё с той же отверделостью от многолетнего действования во враждебной среде.

В этом мы, правые, будем посильно препятствовать вам. Мы — не придворные в белых штанах и страусовых перьях. Но мы — подданные, верные своей присяге.

Речь Милюкова была построена, как обычно свойственно этому депутату, с обдуманностью: он её почти всю прочёл. Это не была неистовая речь Керенского, 44 слова в секунду. Милюков говорил чрезвычайно увлекательно, и малокультурные слушатели не успели вникнуть в это блестящее по форме и дурное по существу изложение. Вся постройка базировалась на вырезках из иностранных газет. Одна московская газета,

название неизвестно, напечатала, что в Ставку послана от крайних правых, имена не указаны, записка о необходимости сепаратного мира, это перепечатано в Европе и *значит* крайние правые изменники своему отечеству. Для примитивно мыслящих — приём простительный, но для профессора, для историка, для государственного деятеля? И после спрашивается: что это — глупость или измена! И хор из Аиды отвечает: измена! (Смех.) Это очень красочно, для театра эффект чрезвычайно сильный, но представьте картину наоборот: в Англии один из депутатов огласит вырезку из «Русского Знамени» о депутате Милюкове и спросит английский парламент: что это — глупость или измена? Только чистая глупость считать это доказательством. (Справа рукоплескания, смех. «Браво!») Если он имел доказательства, в чём я очень сомневаюсь, надо вносить запрос, снабжённый документами и свидетельскими показаниями. (Шум слева.)

Так и о министрах — решительно ничего не доказано, никто не обличён. Что привело вас в такое негодование против правительства? Неумелая организация продовольственного дела. В этой части ваших обвинений мы вполне соглашаемся с вами, но эту ерунду измыслили *вы*, имейте же смелость признаться, а не валить на государственную власть. Правительство теперь почти отстранено от дела продовольствия, уполномоченными вы всюду насажали ваших прогрессивно мыслящих деятелей. Если вы ищете правду, то и сознайтесь: вместо помощи правительству вы запутали то плохое, что правительство раньше делало. И давайте вместе думать, как выйти из тупика, а не вносить смуту в страну.

Харьковский вице-губернатор Кошура-Масальский получил благодарственный адрес от рабочих: он боролся с дороговизной, во средствами, не вполне вам приятными. Всё бедное население Харькова видело в нём своего заступника, который борется с богатеями, спекулянтами, мародёрами. И что же вы сделали? Вы этого человека немедленно выгнали со службы. И теперь все остальные губернаторы поостерегутся прогрессивной Государственной Думы. Вы, господа, бороться с дороговизной на самом деле не хотите, вы — сами откажитесь от корыстолюбия! Слишком много спекулянтов и мародёров в прогрессивных кругах — в этом и несчастье. Не хватает у вас духа бить по собственным дельцам.

Мы, правые, видим выход один: экономическая диктатура правительства.

Что представляется прогрессивной Думе чёрным исчадием.

Без этого будут хвосты, спекулянты и мародёры, которые выбрали многих вас.

Господа, я с наслаждением читал так называемые прогрессивные, левые, то есть еврейские газеты. Я просто радовался, как люди впадают в полное противоречие со своими основными убеждениями. Чем газеты левее, тем больше они требовали обуздания крестьян, заставить крестьян насильно продавать хлеб. Я глубоко не согласен с этим, но радостно, что эти газеты, эти партии обличают своё нутро, показывают, какие они действительно народолюбцы. На бедного крестьянина обрушились: а, мародёры! не хотят твёрдой цены, хотят дороже! Это характерно: так только город, который всегда жил за счёт деревни, всегда объедал, всегда обижал деревню, как только чуточку ему стало плохо, то городские крикуны сейчас же получили защиту от всего *прогрессивного лагеря*, и прогрессивный лагерь не затруднился напасть на вечно обижаемую русскую крестьянскую деревню.

Когда говорят о высоком патриотизме общественных деятелей, я прошу немножко внимания и хладнокровия. Вот главное артиллерийское управление сообщает, во что обошлись непатриотические казённые снаряды и во что патриотические частные: сорокадвухлинейная шрапнель на казённых заводах в 15 рублей, на частных — 35; шестидюймовые бомбы — на казённом заводе 48 р., на частном 75 р. Составитель записки делает вывод, что если бы в России было поменьше общественного патриотизма да побольше казённых заводов, то Россия уже сберегла бы

больше миллиарда рублей. Конечно, не будь у нас частных заводов, мы не могли бы дать снарядов, сколько надо. Однако общественные деятели обирают народ уже на второй миллиард, они работают *не даром*, они наживаются чрезмерно. Но когда правительство, выдавшее 500 миллионов казённых, народных рублей общественным организациям, просит: позвольте, господа, в ваши комитеты ввести по одному скромному члену государственного контроля, что раздаётся от прогрессивных деятелей? — «это полицейский надзор, вы нас оскорбляете!». Какое же недоверие — государственный контроль, где 500 миллионов государственных денег? (Слева шум: «Это — полиция!») В прошлом году, когда рассматривалась смета Святейшего Синода, и вам стало известно, что там собираются пятачки с верующих, несущих свои жёлтенькие свечки, — вы потребовали над архиереями православной церкви государственного контроля — как бы они ненароком эти деньги верующих не истратили иначе, чем вам, ревнителям православия, желательно. А миллиарды казённых денег, текущих через ваши общественные учреждения, — контролировать нельзя?..

Ещё рассказывает, как промышленники перепродают на рынке военные разрешения на вагоны. Долог наказный час, но кончился. А Марков просит ещё.

Родзянко: Я не могу поставить на голосование... (Справа: «Неоднократно ставилось» «Сколько раз разрешалось!»)

Речи Маркова угрожают Родзянке не перед Государем, как милюковские, но зато перед Думой, которая именно сегодня вечером либо выберет, либо не выберет его на следующий год. Однако эту спокойную речь, сорвавшую темп атаки на правительство, все слушают (голоса не только справа, но и слева: «Просим!»), и Родзянко решается:

Угодно Думе продлить? Ставлю на голосование.

Марков рассказывает о злоупотреблениях общественных организаций, как Земсоюз прикрывает дезертиров.

Вспомните известный процесс Парамонова в Ростове, как спекулировал, мародёрствовал этот архипрогрессивный деятель, и местная правительственная власть помогала ему. Вспомните, как были арестованы киевские сахарные короли, которые прикрывались общественным флагом, что они спасают отечество. Когда вы обличаете правительство — не забывайте обо всех этих людях. Много гадостей и гнусностей совершается под флагом общественности.

Если мы действительно увидим, что есть министры, изменяющие русскому государству, мы будем безжалостнее, чем вы! Но мы не поверим голословным обвинениям, простым выдержкам из иностранных газет. На заводах — забастовки, и вы обвиняете полицию. Но зачем полицию, когда есть члены Думы, которые посылают на это дело и говорят, что забастовками надо добиться мира. Бороться за мир, когда германцы давят Россию смертным давлением, есть измена. Эти члены Думы — изменники, а вы не извлекаете их из вашей среды. Так вот, с изменой бороться будемте, это нам по пути, но сперва потрудитесь изгнать из своей среды настоящих изменников, а до тех пор вы не имеете морального права обвинять других. (Рукоплескания справа.)

Вскоре затем — думский златоуст, адвокат, более знаменитый своим красноречием и мало оценённый по глубине и точности мысли (не без следа — математическое отделение), всходит на кафедру тихо-укоризненный, обращённый взглядом как бы даже не в зал, а — внутрь себя,

В. Маклаков: Господа, я не буду никого обличать.

(Это — шпилька Милюкову, как всегда.)

Хотя на фронте сейчас благополучно и военная усталость Германии становится для всех очевидной,

как и усталость самого оратора — так проста и грустна его манера держаться, тих (но явственен) голос, никакой внешней «римской» элоквенции, он как будто беседует

(не угадаешь, что выступление подготовлено тщательно):

мы стоим перед новой и грозной опасностью, и она совсем не в продовольственном кризисе, а: что-то случилось с Россией, в чём-то переменился её дух. Одни уже осмеливаются говорить о мире, другие — в виду неприятеля — «чем хуже, тем лучше», пусть будет катастрофа, она куда-то нас приведёт. А третьи запирают амбары,

(всё-таки и он — не о промышленных, не банковских складах)

наживаются, спекулируют и веселятся. А малодушные и маловерные падают духом: Россия долго не выдержит. И этот упадок духа переходит на фронт. Вот где опасность.

И это — та самая Россия, которая два года назад обманула германские надежды на наши внутренние распри; которая в прошлом году, в минуту нежданной беды, имела мужество духа не растеряться; та Россия, которая не тешилась презренным красноречием, а стала к чёрной работе! Что же случилось с долготерпеливой многострадальной нашей Россией?

Впрочем, Маклаков, среди немногих, ещё и весной 14-го года, до войны — предсказывал России поражение. Предсказывал — однако не противился войне, даже хотел её.

На всём протяжении России с отчаянием спрашивают: где же наше правительство? кто управляет Россией? куда нас ведут? И эти вопросы ставим не мы, Государственная Дума, и не революция, к которой мы будто бы призываем, — та революция остановилась. Но сама власть на глазах у нас и у Европы упорно топит всякое доверие к себе: министерский калейдоскоп, когда мы не успеваем даже рассмотреть лица падающих министров. Непонятные возвышения, непонятные опалы, политический ребус. И в результате — правительство Штюрмера? Они привыкли лгать около трона, они могут обмануть своего Государя, но России они не обманут! («Браво!» Рукоплескания всего зала, кроме крайних правых.)

Нам советуют: щадите престиж власти, всё исправится. Так было с Ковенской крепостью. До нас доходили отчаянные крики ковенских офицеров: комендант Григорьев крепости не защитит. И мы кричали — но вполголоса, мы молчали на этой трибуне, не тревожа настроения армии и опасаясь, не дошло бы до немцев. И за наше молчание Россия заплатила позором, падением первоклассной крепости. Григорьев — это эмблема: один комендант парализовал силу целой армии. Так и наше правительство парализует силу целой России.

Россия с тревогой спрашивает: за что ей навязывают правительство, которое погубит её? Элементарное требование, чтобы страна верила тем, кто имеет претензию ею руководить.

Нет, не случайность, но *режим* — проклятый, старый, отживший, но ещё живучий! Пусть каждый министр теперь выбирает — служить ли России или режиму, а служить им обоим — невозможно, как Богу и маммоне! (Продолжительные рукоплескания. «Браво!») Будем ли удивляться, что по стране разошлась эта смута в умах, которую не рассеют всё красноречие Маркова, ни все репрессии Штюрмера, ни вся та новая ложь, которая будет комьями грязи брошена в большинство Государственной Думы? Нет, господа, долготерпение России велико, как велика Россия сама, но эта война показала предел и ему. Есть предел и нашей покорности!

Это — второй максимум, меньший, — и снова снижение в грусть, в печальное задушевное откровение, как Россия поручила оратору поведать.

Пусть не думает Марков 2-й, что мы зовём к революции. Грозная опасность иная: Россию против воли никто воевать не заставит. Она не захочет приносить никаких жертв во славу этих людей, для чести и удовольствия иметь их во главе государства. (Продолжительные рукоплескания, кроме крайних правых.) Не восстанием вам ответит Россия, но упадком духа, унынием,

это и в голосе,

равнодушием.

И если это случится, и нас приведут к миру вничью, где эта милость и кротость, секунду назад? — вспышка!! взлёт до негодующего звона!!!

о, тогда я говорю смело: тогда берегитесь! потому что позорного мира вничью Россия не простит никому! (Рукоплескания. «Браво!») Тогда Россия позовёт всех к ответу, и она пощады не даст никому, я повторяю — никому!!! (Продолжительные рукоплескания. «Браво!»)

(Как и все лидеры кадетов, Маклаков достоверно знает мнение страны. Но это ещё — если вничью, Василий Алексеевич. А если — полная брестская сдача, какой вы себе оставили эмоциональный запас?)

Россия сейчас — как воинская часть перед паникой: по инерции ещё стреляют ружья, по привычке ещё повинуются солдаты, но раздастся крик «спасайся, кто может!» — и все побегут. Однако время ещё не ушло. Если к власти назначат не слуг режима, а слуг России,

то есть Павла Николаевича, Василия Алексеевича, Фёдора Измайловича, Николая Виссарионовича, Моисея Сергеевича, —

Россия ухватится

за эту власть, она встрепенется — и тогда горе Германии!!!

Пришло время выбора: или мы, или правительство, *вместе наша жизнь невозможна!* (Продолжительные бурные рукоплескания.) И если будет распущена Дума — как будто можно распустить всю страну! — если будет зажжён пожар, на котором спалят национальную будущность родины, то, господа...

Лишь обычный холодок помогает Маклакову сохранить самообладание —

Дума ещё может стать единственным оплотом порядка!!..

На этом сильном пророчестве и должны были кончить заседание, но составлены, подписаны, поданы и вот оглашаются

Запрос 33 членов — С трепетным напряжением Россия ожидала правдивого, свободного слова своих представителей. Однако 2 ноября в газетах произнесенные речи не нашли полного отражения. Декларация Прогрессивного блока в большей части запрещена. Ни в одном периодическом издании не напечатаны речи Керенского, Чхеидзе, Милюкова. Белые места в речах членов Государственного Совета...

А между тем: «действию военной цензуры не подлежат публичные речи, произносимые во исполнение долга службы». Какие приняты меры к соблюдению указанных...?

Запрос 31 члена — Издано распоряжение Командующего Московским военным округом — об установлении предварительной цензуры «материалов», могущих повредить военным интересам». Приняты ли меры к отмене незаконного...?

(Нигде в России нет предварительной цензуры, за что же в Москве?)

Съездили пообедать — и вечером стали переизбирать Председателя Думы.

Председатель: По мотивам голосования — Чхеидзе.

Вырвался, нашёл щёлочку! Пять минут, но — за пять минут можно-о...!

Чхеидзе: После акта Третьего июня мы всегда были уверены, что большинство этой Думы будет идти по указке правительства. Барьер, через который народ не может пройти, чтобы продолжать *работу 1905 года...* Конечно, за последние две Думы стены этого белого зала не слыхали таких речей, и это можно приветствовать. Но, господа, не обольщайтесь, я вас прошу, не думайте, что вы сказали что-нибудь новое. То, что вы говорили, есть повторение из многого того, что говорилось, и речи более внушительные и содержательные раздавались с этой трибуны в Первой и Второй Государственной Думе.

Но, господа, несмотря на все ваши очень горячие речи, я не знаю, долго ли это будет продолжаться?.. Я вас, господа, боже избави меня призывать к революции, ничуть не бывало. Но одно скажу, господа: что ни одна революция не губила ни одного народа, ни одного царства! Она не погубила Англию, которую вы теперь хвалите. Не погубила Францию — припомните Коммуну 1871 года. И мощь Германии начинается именно с 1848 года. Она не губила и Китай.

Так вот я и говорю: та схватка, которая происходит между вами и правительством, меня очень интересует. Долго ли эта схватка будет продолжаться?

Председатель: Член Думы Чхеидзе, ваш срок истёк.

Да к тому ж он исчерпывающе объяснил мотивы голосования. А всё б ещё две-три фразы всунуть!

Чхеидзе: Не далее, как сегодня, коленопреклонённо извинились... с этого места... и вам предложили... (Рукоплескания слева.)

Облегчённый Чхеидзе убежал.

Считают записки, баллотируют шарами — и Родзянко, к своему восторгу, выбран, — но всего лишь половиною Думы.

К полудню 4 ноября он открывает следующее заседание. Но что за вызов или что за странность? — правительственная ложа в этот раз не пуста! В ней сидят два министра, оба в военной форме: морской министр Григорович (единственный, кому симпатизирует общественность) и военный министр Шуваев (никому не надсадный интендант). Министры сами по себе — безобидные, свистеть пока не будем, но как понять, что они появились тут после громового обвинения правительства в измене? Неужели же посмеют защищаться? Посмотрим.

Теперь покинута прежняя повестка, и текут прения по запросам. Но как бы ни называлось — а всё о том же.

Аджемов (к-д): Вы станьте на минуту в положение русского обывателя, который утром с жадностью обращается к газетам — узнать, что за него сказали его избранники. Говорит правый депутат Левашов — и много точек. Говорит Марков 2-й — и даже его мы видим в маленьких размерах. Вы, господа, закрыты в этом зале, в этом старом дворце Потёмкина, кричите, негодуйте, ни одного слова Россия не узнает всё равно! Никогда правительство не падало до такой глупости, до какой оно упало сейчас: показать себя перед всей Россией, что нет ни одного течения, которое могло бы поддержать это жалкое, ничтожное правительство. А Москва находится вне театра военных действий, военной цензуры по закону быть не должно!

Слов — нет, есть белые места, — вот где революция, и вот кто делает революцию!

Скобелев (с-д): Истерзанная оскорблённая страна ждала Думу, чтобы услышать правду. Но не успели раздаться первые слова правды, как это белое зало было накрыто вот этой белой бумажкой. Господа, вы должны сорвать эту бумажку за № 16672 с ваших голов, иначе лишается смысла ваше пребывание здесь.

Вам здесь говорили, что из всякого положения есть несколько выходов. Но вы идёте по линии наименьшего сопротивления: вы обрушиваете своё негодование на Штюрмера, хотя в нём лишь отражается природа нашей власти. Господа, что может вставить обыватель в эти белые места с заголовками графа Капниста, Шульгина? Он может подумать, что они здесь говорили о свержении самодержавия, об учреждении демократической республики, а они всего лишь говорили о свержении Штюрмера.

Господа, провокация — неотъемлемый фактор величия нашей власти и её благополучного существования.

И ловок же! — опять выскочил и трибуну захватил

Керенский: Разве мы не живём в состоянии *оккупации*, как Бельгия или Сербия? Когда государство захвачено враждебной властью, отрезана всякая возможность национальной политической деятельности... Разве, господа, из бесконечной перемены отдельных министров на этих скамьях у вас не возникает вопрос: а где же те, кто ставят этот театр марионеток, кто выводит и сводит на сцену иногда мерзавцев, иногда...

Родзянко: Член Государственной Думы Керенский, покорнейше прошу вас выбирать выражения.

Да что ж выбирать, уже и сказал.

Керенский: Господа, когда масса тёмная, не знающая правды, иногда выходит из себя, бросается, куда ей не нужно идти, вы говорите: у нас нет патриотизма! А есть люди, для которых страна была не матерью, а доходным местом, которые жили столетиями на крови и поте этих масс, — и когда они, предавая интересы государства, спасают своё личное положение...

Родзянко: Член Государственной Думы Керенский, прошу вас вернуться к запросу.

Керенский: Я говорю о запросе. Я доказываю, что военных тайн никогда русская власть скрывать от враждующих держав не умела и не хотела.

Родзянко: Покорнейше прошу вернуться к запросу. В случае неисполнения...

Прерывает он из обязанности, ненастойчиво, ибо Дума левеет, кружится влево у него под стопами. И замерла пресса, и замерли хоры, наслаждаясь пулемётностью любимого оратора.

Керенский: Вчера здесь один из тех, чьё имя я не называю, но который неустанно защищает тех, которые... Заявил мне с этой трибуны, что я являюсь изменником государству. (Марков: «И повторяю.») А не вспомните ли вы, господа, что 25 февраля 1915 года, когда большинство Думы еще было охвачено «единением с властью», я послал председателю письмо,

оно ходило по рукам, по столицам и в провинции,

где говорил, что «измена свила себе гнездо» на верхах русского правительства, а мясоедовщина — только симптом? И не я ли просил тогда...

Родзянко: Член Думы Керенский, прошу вас воздержаться...

Керенский: Я был бы рад, если бы вопрос о положении государства можно было бы свести к предательству отдельных лиц, если б можно было найти доказательства против отдельных министров...

(а их найти нельзя).

Но если мы возьмём их отсюда и десятками, то старая власть столетиями воспитала себе сотни холопов...

Наконец, Родзянко решается лишить его слова.

Выступают другие, читаются скучные документы — и на полминуты выскакивает снова лихой

Караулов: Я, господа, взял слово, чтобы сказать вам очень немного:

Речей не тратьте по-пустому,
Где нужно власть употребить!

Но в дополнение к этому — моё крайнее негодование: разве допустимо, чтобы депутатское слово, которое не разносится по стране, слышала бы в изобилии наполняющая хоры публика и не слушали бы сами депутаты, которые ушли в буфет. (Смех, шум.) И снова

Марков 2-й: Да, Александр Фёдорович Керенский, я вас считаю государственным изменником на основании тех заявлений, которые вы сделали с этой кафедры. Всякий, кто ныне осмелится *бороться за мир*, да еще насильственными путями, есть государственный преступник и изменник.

Если министры совершают такие ужасные преступления, почему же вы, законодатели, не вносите запроса? Потому что запрос надо обосновать, для него недостаточно ссылаться на германскую печать, надо да-

вать доказательства, и вы боитесь запроса, — вот это стыдно! История рассудит, кто был прав, и не удастся вам её фальсифицировать. Когда такие обвинения бросаете, ставьте дело серьёзно. Если вы докажете их — мы будем не против вас, а впереди вас. Но докажите прежде.

Да, господа, пустые места в газетах волнуют, раздражают, это верно. Но места, наполненные нашими речами 1 ноября и сегодняшними, во время такой войны произведут гораздо более опасные последствия, они защитников наших лишат веры в нужность самопожертвования. Вы отнимете у русского солдата всякое желание сопротивляться врагу. Зачем сопротивляться, если верно всё, что говорили с этой кафедры? Вы — первые пособники германцев. Как ни тяжело видеть эти насмешливо устроенные газетные пустоты, из-за которых наши речи превращаются в нелепость, но лучше они, чем та систематическая кампания, которой вы хотите перевернуть всю Россию вверх дном, устроить теперь в России международную войну. (С л е в а ш у м. «О й - о й!») Да, господа, этих пустот не должно быть, германцы не дозволяют пустот; наполняй объявлениями, но не смей давать пустот. Более того: если наши газеты будут продолжать мутить народ, смущать армию — закройте все газеты до последней! (С л е в а с м е х.) Во время войны мудрый народ, республиканский Рим, выбрасывал все свободы, выбирал диктатора. Когда всё мужское население идёт в окопы, когда все свободы нарушены существом военных действий,— не толкуйте нам о свободе слова, печати, толкуйте — как победить германцев. Вы не склонны еще понять, какие опасности грозят России. Если вы посеете уверенность, что сзади предают, сверху предают, — этот день будет гибелью русской армии, русского народа, ибо его расхватают на клочки, и *первые вы, маленькие люди, погибнете!* (Р у к о п л е с к а н и я с п р а в а.)

Ага, Марков подготовил поле для контратаки правительства — и вот на кафедру выходит военный министр. Погрессивный блок напрягся и сплотился: не сдадим! не уступим! Жалких ваших аргументов и слушать не будем! Правительство изменило, и трон изменил, об этом громко объявлено, и никому не дадим опровергнуть!

Ш у в а е в: ...поделиться кой-какими мыслями из переживаемого времени. Предотвратить мировой пожар мы не встретили отклика во вражеском стане.

Это — что ж, это — подходит. (Г о л о с а: «В е р н о!») Дальше министр ещё проходится по германским бесчеловечным традициям — это нам подходит. (Г о л о с а: «В е р н о!») И вот

каждый день мы приближаемся к победе! (П р о д о л ж и т е л ь н ы е р у к о п л е с к а н и я в о в с е м з а л е. «Б р а в о!»)

А потому что война ведётся не одною армией, но всем государством. Всё, что может, взялось за снабжение армии.

(То есть *общество*. Хорошо!)

И вот цифры: за полтора года: трёхдюймовых орудий у нас увеличилось в 8 раз («Б р а в о!»), гаубиц — в 4 раза, снарядов тяжелых — в 7, в 9, а трёхдюймовых — в 19 раз, взрывателей — в 19, фугасных бомб в 16, кое-чего из взрывчатых — даже в 40 раз («Б р а в о!»), а удушающих средств — в 70 раз! («Б р а в о!»)

Вот что дала дружная совместная работа — и позвольте надеяться и просить вас помочь и в будущем для снабжения нашей доблестной армии. (П о в с е м у з а л у: «Б р а в о!») Враг надломлен, он не справится. Каждый день приближает нас к победе. Во что бы то ни стало победить — это повелительные указания Державного Верховного нашего Главнокомандующего. Этого требует благо нашей родины, перед которым всё должно отойти в сторону. (Б у р н ы е п р о д о л ж и т е л ь н ы е р у к о п л е с к а н и я в с е г о з а л а.)

Ну что ж! Кроме встрявшего дежурного «Державного» — это не только не плохо, это просто великолепно. Правда, мало похоже на военное поражение, но зато признано, что всё военное снабжение держится на обществе! И никакой солидарности со Штюрмером, с Протопоповым, со всем гнездом измены и сепаратного мира!

Г р и г о р о в и ч: Я считал своим священным долгом выступить также и открыто сказать, что ваша многолетняя и постоянная поддержка в государственной обороне... (Б у р н ы е п р о д о л ж и т е л ь н ы е р у к о п л е с к а н и я в с е г о з а л а. «Б р а в о!»)

То есть что получилось? Что армия и флот отделились от гнусного сгнившего предательского правительства — и соединяются с думской оппозицией!

(Они и посланы были струсившим правительством сыграть на патриотических чувствах Думы — и так создать примирение. Но выйдя перед девятьсот напряжённых глаз — не собрали мужества упомянуть клятое правительство и не избежали соблазна сорвать аплодисменты — самим себе.)

Однако, всё-таки тут надо пошушукаться, посовещаться вокруг Милюкова. Двадцать минут перерыв! (В перерыве Шуваев благодарил Милюкова за его предшествующую патриотическую речь.)

Р о д и ч е в: Редко случается, чтоб так веско сказано было бы нужное слово. Сражаться до конца — ведь только этого мы и хотим, ведь только для этого здесь и сидим. (Р у к о п л е с к а н и я с л е в а и в ц е н т р е.) За ними — всеобщий порыв страны и более чем двухлетний подвиг жертв, которыми Россия не считалась. Но чтобы не считаться с жертвами — нам надо верить в вождей. Россия нуждается в вере во власть. Это старая её потребность — честная добросовестная власть. И когда во все щели рвётся тлетворный воздух, мы говорим: очистите атмосферу!

Депутат Марков сказал одну большую правду: как же по России пойдут ваши речи без опровержения? Да, несчастье наших речей в том, что они не получили опровержения. В этом трагедия невозможной задачи, которую *они* себе ставят: победить врага, презирая отечество.

Одна вера осталась в России незыблемая, это вера в Государственную Думу. (С л е в а: «Б р а в о!») Это единственная среда в России, где раздаётся свободное слово, мощь которого безгранична! (Р у к о п л е с к а н и я с л е в а и в ц е н т р е. «Б р а в о!»)

И мы ещё эту Думу послушаем.

ДОКУМЕНТЫ — 5

Петроград, 3 ноября

ЦИРКУЛЯРНАЯ ТЕЛЕГРАММА РУССКИМ ПОСЛАМ

министра иностранных дел Штюрмера

Распространённые за последнее время печатью некоторых стран слухи о секретных переговорах, которые будто бы ведутся между Россией и Германией о заключении сепаратного мира... играют лишь в руку враждебным государствам... Россия будет биться рука об руку с доблестными союзниками против общего врага без малейшего колебания до часа конечной победы...

72

Соединяла государыню с её собственным лазаретом и более глубокая связь, чем работа в нём: она ездила туда посидеть у постелей, иному тяжёлому молча держать руку или положить ладонь на голову, говорить слова успокоения, заменить близких. Бывали излюбленные раненые, близ которых она сиживала каждый день — до смерти или до выздоровления, и умерших потом вспоминала как своих родных. Близ более лёгких сидела с вышиваньем, слушала их рассказы, носила им цветы, раненый мальчик говорил: я так счастлив, что мне больше ничего не надо. То обнаруживались офицеры, которые 10 или 15 лет назад видели её на смотре, издали, а другие становились знакомыми теперь, и уже навсегда. Благодарность раненых целительно укрепляла государыню. Её тянуло туда — когда так томительно было без мужа и без сы-

на, и там она забывала своё одиночество. Её тянуло туда, когда она чувствовала себя особенно подавленной и несчастной. И даже когда она сидеть не могла — она ехала в свой лазарет полежать на диване, — и всё же испытать уют и успокоение, лившиеся к ней от госпитальной обстановки.

Но ещё особенно соединяла её с ранеными — молитва вместе. Это — одна из женских обязанностей: стараться больше людей приводить к Богу. А солдатские — не офицерские — души бывают совсем детские. С выздоравливающими государыня бывала на богослужениях. С уходящими в смерть — молилась. Молитва всегда помогает отлетающей душе. Вот — ещё одна храбрая душа покидает этот мир, чтобы соединиться с сияющими звёздами. И сколько она видела умирающих — это только позволяло ей понять величие происходящего.

Вера помогала ещё более, чем работа. Церковь — такая несравненная помощь, когда на сердце печально. И плакать там облегчает. В прежние годы, поподвижней, государыня любила поехать с Аней в одиночных санях, неузнанными, в какой-нибудь тёмный безлюдный храм и молиться там на каменном полу, на коленях. Ещё ведь сколько лет она отмаливала здоровье сына. Всякий день, поставив свечу у Знаменья и помолясь за Государя, трон и наследника, Александра чувствовала себя спокойнее. И особенно укреплялась душа от причастия, несколько раз в году. А когда-то ещё мсьё Филипп убедил её, что она находится под покровительством Богородицы и особенным образом связана с ней. Особенно она верила в день Покрова, который должен принести выдающуюся милость. Поразило её, когда и Друг сказал, что день Рождества Богородицы — её особый день. С Другом тоже не все разговоры были одинаковы, но когда возникал *чудный* разговор — о чудесах и необъяснимом, душа государыни трепетала: эти разговоры давали подняться выше земных тревог или посмотреть на них свысока. Ещё читала она книги о религиях индийской, персидской.

Можно понять, что всё, кипящее сейчас на Земле, и эта чудовищная европейская война, и всё происходящее в России, и борьба русского трона со своими заклятыми врагами, — гораздо глубже, чем кажется на взгляд. И мы, которые приучены смотреть на вещи также и с *другой* стороны, — видим, что́ это за борьба и что на самом деле она означает.

И можно ожидать ужасного конца.

Прошлым летом, в самые страдные дни русского отступления, вдруг телеграфировал Варнава из Тобольска, что люди видели днём на небе крест.

А сегодня, с четверга на пятницу, государыня видела такой странный сон: будто её оперировали. Она лежала на операционном столе и всё сознавала. Будто ей отрезали правую руку и ей было не больно, но остро жаль: ведь во всякой борьбе за правое дело так нужна правая рука. И как же теперь креститься? И как письма писать Ники?

Она проснулась с содроганием.

Она боялась, не допускала себя отдаваться угнетающему чувству.

Но к несчастью помнила, когда это угнетение овладело ею первый раз в жизни, ещё совсем молодою: при свадьбе. Ей досталось въехать на царствование в Россию — вместе с гробом умершего царя, сопровождая его от Крыма до Петербурга. И сперва были — похороны, цепь панихид, — и свадьба как продолжение этих панихид, только невесту одели в белое платье.

А уж теперь-то! — такой старой и подавленной она чувствовала себя — ото всех болей и всех беспокойств. А с тех пор как началась эта злосчастная война — беспокойство не уходило из сердца ни на день.

Эта война началась—рядом с Александрой, в соседних комнатах,— но Государь ничего не сказал ей в тот день, ни разу не посоветовался, она ничего не знала о всеобщей мобилизации и как рыдала потом! Она чувствовала, что совершилось в мире что-то необратимое.

Началась война — и что же верно Государю? Они решили, что место его — как можно больше ездить по войскам, да он это и любил. Для него большое утешение видеть эти массы преданных счастливых подданных — но для них?! какая награда! Каковы их чувства, когда они видят так близко и запросто своего Государя — да если ещё и с Бэби? Какую отвагу придаст им это драгоценное появление, какие солнечные воспоминания на всю жизнь останутся у всех! Они увидят, за кого они бьются и умирают (не за Ставку, не за Николашу, — и кстати, Николаша много проиграл, что никогда не ездил по войскам). Побольше войск обозревать Государю, и важно, чтобы в газетах печатали об этом. Государыня считала себя и дочерью солдата и женой солдата — и хотела бы вместе с мужем тоже ехать ближе к фронту, чтобы воины мужались, и хотела бы сама видеть лица этих храбрецов, когда они увидят, за кого идут на бой.

За то что Ники взял на себя пост Верховного Главнокомандующего — теперь жестокою разлукой пришлось платить супругам: 21 год до того не разлучались их любящие сердца — теперь одна неделя разлуки кажется вечностью, а приходится — и на многие недели.

О, какое отчаяние — не быть с тобою вместе! О, как бы я хотела никогда с тобою не расставаться, разделять с тобою всё и видеть всё! Выплакала все глаза. Но твоя жена всегда с тобой и в тебе! Мне невыносимо сознание, что ты постоянно отягощён заботами и находишься так далеко от меня. Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания и тревоги. Ужасная вещь — сидеть в Ставке, в городских условиях, столько месяцев подряд. Ты постоянно за чтением докладов, мой бедный малютка. Как тебя изводят ещё министры, и тебе приходится принимать их даже в ужасную жару. Как много тебе приходится работать, какую ужасную жизнь ты ведёшь.

Эти постоянные разлуки изнашивают сердце. Никогда нельзя привыкнуть к минуте провожания. Твои большие грустные глаза, полные любви, так и стоят потом, и преследуют. И никогда не ослабляется ужасное ощущение твоего отсутствия. Мы с тобой — всегда одно целое. На какую ещё любовь способно моё старое сердце! Люблю тебя всё больше и больше, с каждым днём. Люблю тебя, как редко кто был любим. И за гробом буду твоя жена и друг. Мой бедный большой Агунюшка! Мой храбрый мальчик! Голубой мальчик с великим сердцем! Мой сладкий! Мой солнечный Свет! Солнце моей больной души! Кладу в конверт маленькие розовые цветочки — знай, что я их поцеловала. Завидую им, что они понесутся к тебе. И ты тоже их поцелуй. Вот это место, обведенное на листе, — здесь стоит мой крепкий поцелуй. Я надушила это письмо, чтобы не было противного запаха чернил. А вот посылаю тебе цветы, которые стояли у нас в комнате, и ими дышала твоя старая Солнышко. А как я люблю получать цветы от тебя! — они залог нежной любви. С твоим дорогим письмом уединяюсь и наслаждаюсь. Перечитываю несколько раз и, безумная старая женщина, целую твой дорогой почерк. В воображении кладу голову тебе на плечо — и лежу тихо на твоём сердце. А на ночь всякий раз благословляю и целую твою подушку. В темноте перебираю твои слова — и они наполняют меня тихим счастьем, и я чувствую себя моложе. Желаю тебе увидеть свою жёнушку во сне. Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, — вечно вместе, всегда неразлучны. От этих разлук огонь разгорается только жарче. А телеграммы — не могут быть горячими, через столько чужих рук они проходят. Чувствуй меня возле себя, я тебя грею и нежу. Жажду почувствовать, что ты — мой собственный, целую всего тебя — ведь я одна имею на это полное право, ведь так?

Я не хвалюсь, но никто не любит тебя так, как старое Солнышко. *Она* дерзает называть тебя своим, жалуется, что получает мало ласки, — она думает, что она одна скучает без тебя. Она — глубоко разбита, она ведь ничего не испытала в жизни. Ты — её жизнь, у неё всё сосредоточено в собственной личности и в тебе, но ты — мой, а не её,

как она осмеливается тебя называть. Ведь ты сжигаешь её письма, чтоб они никогда не попали в чужие руки? Я буду охотно передавать их сама, хотя Аня не понимает, что её письма представляют для тебя так мало интереса. Но лучше пусть пишет через меня, чем через свою прислугу. Вот — она целует твою руку. Вот — она нежно целует тебя. Вот тебе её объёмистое любовное письмо. Шлёт тебе множество любящих поцелуев. Вот она с ума сходит от радости, что ты возвращаешься в Царское. Пошли ей привет, ей грустно не получать ничего. Передай ей поцелуй, она будет счастлива. (Терпеть не могу выпрашивать поцелуи, подобно Ане.) Однако не позволяй твоей даме сердца писать слишком часто. Надо выдрессировать её умеренностью, потому что чем больше имеешь, тем больше желаешь. Её всегда нужно обливать холодной водой. Конечно, если тебе самому нужны беседы с ней — другое дело. Но если мы теперь не будем тверды — у нас будут истории, и любовные сцены и скандалы, как в Крыму.

Аня Танеева стала фрейлиной, получила шифр с бриллиантами ещё в 1903 году, 19-летней девушкой. Но быстро она превзошла своё положение, и уже через два года настолько все при дворе ревновали её к Ея Величеству, что для отвода зависти остальных фрейлин иногда проводили её в кабинет государыни через комнату для прислуги, возбуждая впрочем новые кривотолки. Их сблизила и музыка — они играли в четыре руки, брали уроки пения у профессора консерватории, пели дуэты (у Ани было высокое сопрано, у государыни — хорошее контральто, но Государь не любил, когда она пела, и это заглохло). Но более того, Аня была единочувственна государыне — в религии, в общем ощущении мира и его наполненности таинственными предзнаменованиями и страхами.

Государыня тем более нуждалась в близкой женской понимающей душе, что с первых же шагов молодой императрицы в России обозначился разлад её с петербургской знатью и развивался неотвратимо. С первых же дней в России она почувствовала, что её почему-то здесь не любят и не полюбят. Это ещё можно было спешить исправить — но Александре мучительно трудно было: она и без того была замкнута, болезненно застенчива, а ощутив к себе предубеждение общества — ещё более отчуждилась. У неё было несчастное свойство казаться на людях натянутой и не нравиться. Она была совсем неспособна к притворству, не умела неискренно улыбаться, чем очаровывается толпа. Она не умела искусственно расположить к себе общество, мучительней всего было ей сближаться с теми, с кем не хотелось, на публике она казалась холодной, застывшей, скучающей — да и действительно скучала, — и всё это ещё в контрасте с улыбчивой приветливой старшей императрицей, с которой она не могла соревноваться. (И та — любила приёмы, и всегда выступала на первом месте, об руку с Государем.) А вскоре пошла череда детей и череда болезней, и потребность подолгу лежать, не то что стоять, — и тем более стало не до балов, не до приёмов, даже и частных, это всё отменилось. Многие добивались быть принятыми лично, и каждый, кому уделялась ласка, уже завербовывался в друзья. За приём ей готовы были бы всё простить, но и на эти приёмы не было сил, всем кряду отказывали, — а при отказах невозможно было сослаться на серьёзность нездоровья, его тоже надо было скрывать, — и так всё объяснялось гордостью, холодностью, отстранённостью императрицы. Как пышно праздновали 300-летие дома Романовых — но какой холод и неприязнь к императорской чете веяли от блистательной великосветской толпы!

Так Аня Танеева стала не придворной дамой, но первым другом. На 12 лет моложе государыни и на столько же старше дочери Ольги, как бы младшая сестра или старшая дочь, Аня разделяла с царской семьёй их любимые интимные прогулки на яхте в финляндские шхеры, где они гуляли без всякой опасности от террористов и совсем как простые люди, без оглядки, — по тропинкам, по ягоды и грибы. И там ког-

да-то государыня обняла её и сказала: «Бог послал мне вас, и я больше никогда не буду одинока.» В 1907 Аня вышла замуж за морского офицера Вырубова, сохранившегося при взрыве «Петропавловска», Их Величества благословляли молодых иконою в дворцовой церкви — но супруги быстро разошлись, развелись, Аня ничего не видела от мужа кроме беспомощной ярости, она убежала от него и только сохранила навсегда его фамилию. Теперь при дворе она уже не возвратилась в состояние фрейлины, но так и была — единственной интимной подругой императрицы.

Однако постепенно она стала уже не только подругой, но постоянным третьим при императорской чете: не давала супругам полного уединения и принадлежания. Где не ждёт нас людская неблагодарность? Ей дали сердца, домашний очаг, частную жизнь, — и как не испытать горечи, когда её поведение в Крыму осенью 13-го года, зимой и весной 14-го было недостойно — да оно и перед тем было приготовлено её притяжением к Государю и отдалением от императрицы, и даже странной грубостью с нею, снизу вверх, холодностью, потерею всякой прежней близости. И государыня отправила её из Крыма прочь.

Разлука не длилась слишком долго — государыня простила Аню, вернула, — однако что-то пропало, появилась тягость в отношениях, не могло быть прежней близости и лёгкости, анины капризы расстраивали покойные вечера, открылось, как она избалована, дурно воспитана, думает только о себе, ей всегда нужно что-то новое, — и государыня даже страшилась новых поворотов аниного настроения.

Затем в январе прошлого года Аню постиг страшный удар: она попала в железнодорожную катастрофу, были сломаны обе ноги, повреждена голова, спина, рвало кровью, она шесть месяцев пролежала на спине и перенесла несколько операций. И теперь стала калекою, навсегда с костылём. Это могло бы дать полное обновление прежней дружбы, государыня сидела при ней многими часами, — но, Боже, как далеко Аня ушла душой. Болезнь её не исправила, её капризность и требовательность только повысились, она язвила скрытыми намёками, теперь по своей беспомощности она надеялась получить больше внимания, посещений и ласки Государя, надеясь на возврат прежнего. Она не хотела считаться, что у государыни слишком много других обязанностей, ревновала её к раненым, слала по пять записок в день с призывом прийти, и два сидения в день по часу считала недостаточным, — хотя и говорить было не о чем. Чтоб этот несчастный случай имел в результате мир, чтоб Аня думала не только о себе, — государыня читала ей жития Святых, но долго не размягчались её жёсткие глаза, она всё хотела, чтоб Государь навещал её часто: «У вас есть дети, а у меня — только он!» А стала ездить в коляске — хотела жить в их дворце и чтобы в саду встречаться с ним без государыни. Только последовательной твёрдостью и осторожностью отношений наконец излечили её.

Но шли и шли месяцы страшной войны, и вокруг всё увеличивалось врагов, — а Аня оставалась всё же верной душой и доверенной, и единственной преданной без оглядки. Она разделяла преклонение перед Другом, и была в курсе всех сношений, скрываемых от мира. Только в её домике и можно было незаметно встречаться с Другом, только через неё — поддерживать с Ним быструю короткую связь. Уже на костылях, она поднималась к Нему на Гороховой на третий этаж и, страдая заедино, получала анонимные угрожающие письма с отметкою чисел, которых ей надо опасаться, и даже санитар её получал угрозы, что погибнет насильственной смертью, так что одно время давали ей дворцовую охрану. Друг неизменно её хвалил, называл «отроковицей небес», и не желал никого другого для связи, и велел брать её в Ставку, когда государыня ездит туда. Да что ж, агрессивность её уменьшилась, и снова возвращалась хорошая девушка, добрая верная помощница. *Нас* вместе так мало — будет больше мира и силы.

Так мало нас — и ещё в разлуке. Многострадальный мой голуб-

чик, солнечный большеглазый душка! Ты делаешь великое и мудрое дело, но когда же ты будешь освобождён от волнений и тревог, и будут честно выполнять твои приказания, служа тебе ради тебя самого? Как я хотела бы помочь тебе нести твой неудобоносимый крест! Это ужасно — давать делать тебе одному всю тяжёлую работу. О, как успокоить твою усталую голову! Иногда женщина может помочь, если мужчины к ней прислушиваются. Ты так всегда занят, ты можешь забыть, что я твоя записная книжка. Вот я посылаю тебе бумажку для памяти — держи её перед собой во время приёма министра. Ах, зачем мы не вместе, чтобы обо всём переговорить! Моё перо летает как безумное по бумаге, не поспевая за мыслями, но я не могу писать обо всём, о чём хочется. Устроить бы прямой телефон — но так, чтоб его не подслушивали.

Из сознания долга и окрылённая любовью, и из сострадания к изнемогающему супругу государыня находила в себе и мужество, и мужскую волю, и мужской разум, — особенно в последние годы, когда, по-видимому, все мужчины стали носить юбки. За последние годы, когда Александра Фёдоровна выбилась из малолетства пятерых детей, — не было такого случая, чтоб она не имела определённого государственного мнения и мнение это было бы неправильно. Да слишком близко она стояла, чтоб разрешить себе не вмешиваться! Сперва с робостью она вступала в помощь царственному супругу, оговариваясь и извиняясь перед ним, ничего ли он не имеет против, что она является со своими идеями. Она ежедневно молила Бога, чтоб оказаться верной помощницей и правильно советовать.

Я чувствую, что я поступаю жестоко, терзая тебя, мой нежный терпеливый ангел. Мои письма, наверно, часто тебя раздражают. Но если я когда-нибудь тебя огорчила — то никогда не умышленно. Ты знаешь, между нами за всю жизнь никогда не было ни раздражения, ни громкого слова. Но я всегда была твоим колокольчиком и предостерегала тебя от дурных людей. Я знаю, что могу тебе сделать больно и грустно, но ты, Бэби и Россия мне слишком дороги. Хотя бы из любви ко мне и к Бэби — не давай никаким разговорам или письмам обескураживать тебя. Иногда я дохожу до бешенства, зная, что тебя обманывают и предлагают тебе самые дурные вещи. Не предпринимай крупных шагов, не предупредив меня и не переговорив обо всём спокойно. Разве бы я так писала, если б не знала, что ты легко колеблешься и меняешь образ мыслей — и чего стоит заставить тебя держаться твоего собственного мнения. Я так боюсь за твою мягкую доброту, всегда готовую сдаться. Мне кажется жестоким, что я это пишу, но я страдаю за тебя как за нежного мягкосердечного ребёнка, который слушается дурных советчиков и нуждается в руководстве. В такое время быть в разлуке — совершенно невыносимо и может свести с ума. Насколько было бы легче разделить всё друг с другом! (Хочешь, я приеду на один день, чтобы дать тебе храбрость и твёрдость?..) Мы должны передать Бэби крепкое государство и ради него не смеем быть слабыми, иначе у него будет ещё более трудное царствование, так как придётся исправлять наши ошибки и крепко натягивать возжи, которые ты распустил. Мы — Богом возведены на престол и должны твёрдо охранять его и передать неприкосновенным сыну. Мой долг как матери России — сказать тебе всё это.

Поначалу государыня чувствовала, что министры её не любят (как не любит и весь петербургский свет и царская фамилия), но дальше—помогала всё увереннней. И вот уже Ники благодарил, что она нашла себе настоящее дело — поддерживать согласие среди министров и беседовать с ними. Теперь она совсем уже не стеснялась министров и говорила с ними по-русски как водопад, и они из любезности не смеялись над её ошибками. Министры видели, что государыня энергична и передаёт Государю всё, что видит, слышит, что делается, — что она государев глаз, ухо и крепкая стена в тылу. Бобринский сказал: «Левая клика ненавидит вас, Ваше Величество, потому что чувствует, что вы стоите за Россию и за трон!»

Да! И она — более русская, чем иные другие в этой стране, и она не останется равнодушна к левым мерзостям!

Мне труднее заставить тебя быть твёрдым, чем самой переносить ненависть других, которая меня оставляет холодной. О, как бы мне хотелось влить в твои жилы мою волю! Не слушайся людей, которые не от Бога, но трусы. Ты их испортил добротой и всепрощением, они не знают значения слова послушание. Не сгибайся перед ними! Покажи им свою властную руку и дух! Если они будут знать, что тебя всегда можно понудить к уступкам, — никогда не будет мира.

Сам повелитель — с вечно застенчивой улыбкой. Зато Александра понимала и всё величие его царствования и все опасности его. У Ники не хватает умения быстро разбираться в людях, а в себе Александра это уменье нашла. Он переживает много трудных минут, не зная, кто говорит правду, кто пристрастен. Вот слабость Государя: когда на него слишком давят — он в конце концов уступает, считая, что так будет лучше. А уступать на самом деле — нельзя: за каждой уступкой потребуют новых. Если менять министров по каждой прихоти Думы — Дума вообразит, что это она выгоняет. Советчики и окружающие подводят его, вынуждают быть иногда несправедливым. Он всегда медлит с каждым решением, и нужна жёнушка, которая подталкивала бы его. Ах, эти его колебания! Ах, эта его беспредельная мягкость. Возвышенна эта мягкость и кротость, но для Неба, не для земли! Конечно, такая мягкость — идеал для христианина, но всё-таки — не на троне! На троне — нужны и тугие поводья, нужно и железо.

Сколько терзаний испытывала она от его непростительной мягкости! Передавать ему мужество, решимость, энергию — и была главная цель жены. Как я хотела бы дать тебе веру в себя самого! Несказанны твоё терпение и всепрощение. Говори мне открыто, даже плачь,— от этого физически становится легче. Возможно, я недостаточно умна, но у меня сильное чувство, я прислушиваюсь к своей душе — и хотела бы, чтоб и ты прислушивался, моя птичка. Мой дух бодр — и я готова ко всему, что тебе может понадобиться. У меня довольно энергии, даже когда я себя чувствую больной. Мне хочется всюду вникать, чтобы будить людей, наводить порядок и объединять все силы. Пусть все работают рука в руку ради единого великого дела, а не ради личного успеха. Мелкие личности часто портят великое дело. Я неудобна для таких типов. Я тебе надоедаю этими разговорами? Я ненавижу тебе докучать. Как я хотела бы, чтоб настало такое время, когда я могла бы писать тебе только милые забавные письма, про нашу любовь, нежность, ласки. О, если бы мы могли уехать на несколько дней на юг! Но дела — неотступны, строги к нам, — и будь же строгим! О, дай им почувствовать твою мощь! О, заставь замолчать противоречащих, ведь ты их повелитель! Кто делает ошибки — тех наказывай. А когда накажешь — не прощай тут же сразу, как ты склонен, не давай смещённым тут же хороших мест. Тебя недостаточно боятся. Будь твёрдым и внушай страх, ведь ты мужчина! Будь как железо. Дай почувствовать им всем твою волю и решительность! Хвати кулаком об стол! Будь хозяином! Правит царь, а не Дума! Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом — и раздави их всех под собой! Будь львом против малой кучки негодяев республиканцев! Идёт война — и в это время внутренняя война есть государственная измена, почему ты на это так не смотришь?

(По окончании войны надо будет произвести расправу с врагами: почему должны оставаться на свободе те, кто готовили низложение своего Государя, а также Самарин, который столько неприятностей натворил?)

Почему меня так ненавидят? Потому что я твоя скала и опора, и это для них невыносимо. Неправедные и дурные ненавидят влияние

на тебя нашего Друга и моё — а только оно благо. Я всецело полагаюсь на нашего Друга. Благодаря Его руководству мы перенесём эти тяжёлые времена. Молитва Друга даёт тебе силу, в которой ты так нуждаешься. Не имей мы Его — всё давно было бы кончено.

Дома — здоровая атмосфера, тут — Ники видел все вещи правильно. Но когда он в Ставке — государыня постоянно боялась, не замышляют ли чего. За эти месяцы она несколько раз ездила туда собственным поездом и в нём жила, со всеми дочерьми, а моторами ездили то в губернаторский дом к завтраку, там переодевались, ехали на прогулку, ещё переодевались, к чаю, — и снова в свой поезд, а затем Государь с наследником приезжали обедать к ним. Яркие незабываемые поездки, и снова общение, хоть не совсем как дома. Эти последние дни государыня жила близким сроком поездки в Ставку, уже назначенной.

Но даже короткие оставшиеся дни было невыносимо прожить: что-то копилось грозное в воздухе, подобно лету Пятнадцатого года. Так, не досмотрясь, можно докатиться и до революции. Как жила сейчас Александра! — почти не спала, ночь за ночью по два часа, душа горит, голова устала, вся истомлена уже с утра, — и только дух бодр, бороться за трон Государя и за Бэби. А тут ещё — две недели непробиваемого пасмурного свода, сырость, тяжесть, ни луча. В такой погоде и открылась злостная Дума.

А на другой день, в среду, радость: ясное-преясное солнышко! Какое наслаждение, какая надежда: Бог поможет нам выйти и из этого положения! Быть может, с этой перемены погоды всё и станет лучше, знак! И ещё одна радость, знак: установили, наконец, прямую телефонную связь со Ставкой, и с той стороны подошёл к телефону Бэби, — но так плохо, так издалека, неясно, ничего не разобрать.

Всё — в солнце, и дурные вести от заседания Думы во вторник, какая-то грязная речь Милюкова — как бы растаяли, показались совсем несерьёзны.

А Штюрмер этим заседанием был очень расстроен: Дума и не хочет слышать ни о какой законодательной работе, а вся обратилась к борьбе с правительством; и не указывает, что же именно плохо, а — «мы или они», свалить правительство и заменить своими! Это во время такой войны, безумцы! Дать им самим ставить и снимать министров — это будет гибелью России. Все на этом помешались — но этого не давать!

И от чего ещё приуныл Штюрмер, что на этом думском заседании ему самому досталось, бедному: Милюков объявил его взяточником, изменником — и прямо сослался на Бьюкенена, а Бьюкенен промолчал! какая подлость от союзного дипломата. Хотя не такой болтун и глупец, как французский посол, но тоже неумный, а главное надменный, и очень дерзко стал разговаривать с Государем, выставляет требования.

И вот, не имея возможности затронуть престол, напали на беззащитного старика — и Штюрмер терзается, что он стал причиной всех этих неприятностей для Государя. Он хотел протеста ото всего правительства — министры уклонились, пусть старик выпутывается сам. Штюрмер считает, что Родзянку следовало бы лишить придворного мундира за то, что он не остановил, когда в Думе инсинуировали. Он поручил Фредериксу, как министру Двора, сделать выговор Родзянке, но Фредерикс по глубокой старости ничего не понял и не то написал. Итак, получилось безвыходное положение: министру-председателю нет защиты от клеветника. И остаётся подавать в суд как частному гражданину.

Правда, от правительства пошли выступать в Думу Шуваев с Григоровичем — но всё смазали, взяли неверную ноту: как бы отгораживались от остального правительства, заискивали перед Думой. А Шуваев сделал и гораздо хуже: в кулуарах пожал руку Милюкову, который только что выступал против нас.

Нет, Шуваев — мешок, не годится. Ах, как нужен на место военного министра — истинный джентльмен Беляев!

Пусть! Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук: они видят, что создаётся, наконец, твёрдое правительство — и им тогда ничего не взять. Пускай кричат, а мы покажем, что не боимся и тверды. Думцы отвратительны из-за своего отношения к России: как они вредят ей и совсем не думают о ней.

Грустно убеждаться, что у злонамеренных людей бывает больше храбрости и подвижности, и они больше успевают, чем мы.

Но нужно предвидеть, а не спать, как в России это обыкновенно делается. На самом деле всё идёт к лучшему. Хотя и медленно, но верно всё улучшается.

Тут получилась беда с этой продовольственной переменой у Протопопова. Штюрмер находит Протопопова суетливым, а особенно теперь, после этой резкой переменчивости. О нет, Протопопов — не суетлив, это Штюрмер мешкает, не умеет ответить врагам быстро и своих министров не держит крепко в руках. Нет, Протопопов — спокоен, хладнокровен, а главное — предан, честно за нас и благоговеет перед Другом. Но, конечно, эта быстрая путаная перемена с продовольствием измучила и государыню: обескуражился и Государь, а он, отдалённый расстоянием, одинокий, хрупок, таких колебаний ему не надо испытывать. Но не огорчайся! — слала она ему вдогонку, — первое решение было правильно, и оно скоро осуществится.

При таких напряжённых событиях особенно поддерживали государыню встречи с Другом, часто — и по два раза в неделю. В эту среду вечером в маленький анин домик Друг пришёл с епископом, был настроен возвышенно и великолепно, говорил спокойно. Только очень огорчался, что едет в Ставку Николаша — впервые после своего смещения. Николаша — это злой дух. И раздражён был Друг — на Протопопова: прямо назвал, что он отказался от трусости и откладка с продовольствием на две недели — просто глупая, никакого смысла не имеет. Из-за Думы же Друг не слишком волновался: она всегда кричит, что бы там ни было и как ни поступи. Сухомлинова — освобождаем, это хорошо. А вот с Рубинштейном? Государь всё не слал освободительной телеграммы. Он опять там засомневался? Ему наговорили в Ставке что-нибудь другое? Почему он медлит? (Со многих сторон обращались к государыне о спасении Рубинштейна.)

Во всём происшедшем отчасти и сам виноват Штюрмер: он чего-то испугался, целый месяц не видел Друга, вот и потерял точку опоры. А правильно Друг говорил и раньше: довольно со Штюрмера, что он председатель, не надо ему было брать министерства иностранных дел, с этого и пошла главная травля. Сейчас Друг думал так: иностранные дела Штюрмер пусть уступит. А самому — заболеть недели на две, пока Дума искричится, пойти как бы в короткий отпуск, — в отпуск, но ни в коем случае не в отставку! — он преданный, честный, верный человек, и тихо вернётся, как только в Думе будет перерыв. А пока его заменит по закону старший из министров — Трепов. (И Штюрмер научит его, что надо оберегать Друга.)

Если б не было над государыней мудрости Друга — всякое могло бы случиться. Он — скала веры и помощи.

Конечно, к Трепову ей невозможно будет иметь такого чувства, как к Горемыкину или Штюрмеру. Те — из прежнего, хорошего сорта людей, и любили государыню, и приходили к ней по всякому тревожному вопросу. А Трепов — жестокий человек, не любит её и не верит Другу, работать с ним будет трудно.

Но ведь только на время! И Штюрмер, и Протопопов, конечно, останутся на местах. Так мало честных людей! — найдя, наконец, преданных, — за них уже надо держаться всеми силами. От нас хотят

отобрать всех преданных и добросовестных — и заменить сомнительными личностями Думы, не годными ни к чему. Нет, дело не в смене отдельных людей — спор идёт о престиже монархии. *Они* не остановятся ни на ком отдельном, они будут заставлять уходить одного за другим, — а потом и саму царствующую чету!

Оставались уже считанные дни до следующей поездки государыни в Ставку — но бурные дни, и при таком думском нажиме государыня очень опасалась, чтоб именно за эти дни Государя не совлекли, не заставили уступить. И каждый день с новой изобретательностью и новой убедительностью она исписывала страницы писем, ещё по-новому помогая укрепиться супругу, ещё от новых опасностей оберегая его.

Отправила лучшие из своих убеждений, дотягивая может быть роковую неделю, — а взамен получила сегодня в пятницу письмо со вложением: великий князь Николай Михайлович, который зачем-то приезжал к Государю во вторник (зачем? так и сжималось сердце, что здесь — новое зло!), не только брался внушать Государю, но ещё оставил мерзкое письмо, — и Ники, в среду подозрительно обминув всё событие, в четверг вложил это письмо прочесть государыне самой, — и теперь оно обжигало ей руки.

Старый ничтожный болтун! мерзкий, гадкий человек! Что он нёс — против жены своего императора, да ещё во время войны, — это гнусная мерзость, предательство! Он и все двадцать два года ненавидел государыню и дурно отзывался о ней в клубе, его речами возмущаются даже посторонние люди, он — воплощение всего низкого, ему невыносимо, что с мнением государыни начинают считаться. Как легко учить со стороны, не неся бремени и ответственности!

Закурила, хотя от этого расширялось сердце.

Не к этому ли был сон с отрезанною рукою?

Два дня постоявшая погода в пятницу опять помрачнела и угнетала страшно.

Ранило её больше всего — что за Николаем Михайловичем безусловно стояла государева мамаша и сёстры, которые тоже наслушались сплетен, — они несомненно одобряли его! Ранило её то, что Ники во время разговора — не остановил этого оскорбительного болтуна (а даже может быть в чём-то был им и поколеблен?).

Почему ты ему не сказал, что если он ещё раз коснётся меня, — ты сошлёшь его в Сибирь, ибо это уже граничит с государственной изменой? Мой дорогой, ты слишком добр. Я — твоя жена, и они не смеют. Как он смеет говорить тебе против твоего Солнышка? Даже частный человек ни одного часа не стал бы переносить таких нападок на свою жену! Для меня это трын-трава, меня не трогают эти мирские вещи и мелкие гадости, — но мой муженёк должен был бы за меня заступиться. Многие думают, что тебе всё равно.

Гадкие люди повсюду трепали имя государыни. Она получала самые отвратительные анонимные письма. Столбами поднимались миазмы и микробы из Петрограда и Москвы. Далеко не все подробности злословия докатывались до августейшей четы, но воспламениться можно было и от того, что доводилось слышать. Императрицу, англичанку по воспитанию, какие-то скоты звали «немкой» (как когда-то «австриячкой» несчастную Марию Антуанетту, или как будто хоть одна царица в России за последние два столетия была русская!). А теперь, в разгар войны, связывали это едва ль не с изменой России! Божьего человека сделали символом ненависти образованного русского общества, которое само не понимало четвёртой части того, что читало. В гнилых столицах об императорской чете говорили с полной распущенностью. Сперва Государыня и Государь надо всеми этими слухами просто смеялись: кто против нас? петроградская кучка аристократов, играющая в бридж и ничего не понимающая в России. Да ещё пока идёт великая война — обращать ли внимание на ничтожную

клевету? Всё это злословие (уже перекинувшееся и к иностранным послам!) побуждало только ещё тесней замкнуться в своей семье, никого не видеть и не слышать.

Но стали прорываться и прямые обращения дерзких лиц, да носящих придворные мундиры, осмелевших указывать, что должен делать монарх, пишут докладные на десяти страницах. (А у нас Фредерикс — рамольная тряпка, давно не годен к должности министра Двора, не способен наложить наказание за клевету на оберъегермейстера, но Ники держит старика, чтоб он не обиделся увольнением. Ну хорошо, они поплатятся в мирное время, и многие будут вычеркнуты из придворных списков.) И протопресвитер Ставки тоже полез указывать.

Миазмы клевет дымились, все имели свободу лгать, намекать, обливать грязью, — но никто в целой России не поднимался на защиту императрицы.

Неся на голове российскую корону и имея целые полки её имени — разве имела царица хоть какую-нибудь силу защиты от этих клевет? Только царственный Супруг, в грозе и гневе, мог защитить её.

Но он не защищал её даже тогда, когда, в старой Ставке, Николаша с императорскими офицерами и великими князьями обсуждали, как живую, царствующую, нераскоронованную императрицу — запереть под замок, как вещь, как зверя.

73

Приснился Павлу Ивановичу такой сон: будто бы с Лёкой они лежат на широкой кровати, но не для любви, а в одном из тех изнемождающих разговоров, какими наполнены были их последние совместные годы. А потом она стала добиваться ласки, и хотя он во сне же ощущал неестественность и запретность этого — они стали целоваться, по щекам. Вдруг чувствует, что щёки его очень мокры — отчего бы? И тогда хорошо увиживает (до сих пор совсем не видел) лицо Лёки: на её щеках в двух-трёх местах кровавые следы: не подкожные подтёки, а — натёки, как от серьёзных порезов и по форме двух дуг зубов. И тогда он понимает, что мокрость на его лице — это тоже обильная кровь. Что они не целовались, а как бы кусались, но без намерения и сами сперва не замечая. Тогда он встаёт и идёт умыться. А вернувшись видит, при непонятном невидимом свете: Лёка лежит всё на том же месте, одетая, лицо её уже умыто, никаких порезов нет, но — в гримасе боли и саможалости, как он часто видывал её, перед тем как им разойтись. А невидимый зломышленный подставил ей на твёрдой подпоре бумагу — и Лёка подписывает, совсем нехотя, всё с той же безрадостной жалостью, но не к нему, а к себе. И он понимает — что это постыдное что-то, она сама же потом ужаснётся, и говорит: «Зачем ты? Ведь люди узнают!» А она — иссушенным смехом: «А-а, всё равно!..»

И проснулся. Со щемленьем, как от всякого яркого с нею сна, а хороших между ними давно не бывало.

Никто не снился Павлу Ивановичу так часто, как Лёка. Удивительно: столько лет уже не жили и не встречались — но с той же настойчивостью и мстительностью Леокадия вторгается в его сны, как не бывало ни при влюблении, ни при семейной жизни. Эти непрестанные сны не могут быть без её воздействия, у неё, наверно, свойство такое — при сильных переживаниях посылать излучения их. А Павел Иванович был восприимчив и вообще богат снами. И так, годы не видав Лёки и не переписываясь уже с ней, он иногда почти с точностью знал, что там она чувствует или делает, только надо было взять общий смысл сна, это он уже привык. То она виделась ему в своём прежнем вечернем платье, но совершенно истрёпанном, в дырьях и грязном. То — искрюченной в позвоночнике, склонённой по пояс, как

сведена болезнью или уколом. То они ехали в извозчичьем фаэтоне, но задом, не видно, был ли кучер, лошади, но фаэтон катился назад. И он говорил ей, да кажется искренне: «А я ждал тебя у нас», то есть здесь, на Малом Власьевском. И она — совсем печально, грустно помолодевшая: «Разве *у нас* ещё есть?»

После каждого такого сна, как и сегодня, он пробуждался с заболевшей душой.

С не переставшей болеть никогда.

Обдумывал сон — а потом и не заснул. Уже рассвело. Да ему, пожалуй, больше и не надо было.

С годами Павел Иванович стал высоко подмащивать подушки, а то за ночь затекала голова и целый день потом болела. И проснясь, он давно уже не вскакивал, не поднимался бодро к действию, но медленно-медленно перемещался к дневному состоянию, по мере этого и подсовываясь выше и выше, пока уже полусидел.

И всё это время он видел — с тех пор как кровать была переставлена так, значит уже девять лет, — один и тот же привычный рисунок, первый утренний вид: переплёт небольшого оконца старого деревянного особнячка (одинарные рамы летом и двойные зимой, с ватой внизу и стаканчиками соли). В нижней части справа — конёк крыши флигеля, часть одного ската и не полностью — кирпичная труба (и все виды дыма из неё, прозрачного или густого, востекая прямо вверх или ветром гонимые, разрываемые вбок). Выше и слева — сильную ветку вяза (в листьях и нагую, и со снежным нападом, неподвижную или в лёгкой раскачке, и отдельно движение пáветвей, в пасмури или в косых лучах). А за ней — это уже за соседним домом — плечо церквушки Власия, одно верхнее ребро кладки её, не купол. И ещё дальше там — деревянная стена, кусок другой крыши.

Поставленный против кровати этот вид был девять лет, а вообще-то — сколько Варсонофьев помнил себя, потому что в этом доме он и родился, 61 год назад. Раньше — только знался, что есть такой, а вот теперь, при этих медленных вставаниях, в оттенках погоды и внутреннего настроения, этот вид определял собою начинающийся день — иногда жестокий.

Подыматься — становилось с годами задачей. А сейчас — ещё вовсе рано, только проступало серое ноябрьское утро с мокрыми голыми ветками и мокрой железной крышей. Сейчас — хоть и ещё бы поспать, такая была нерешительная в теле слабость.

С тех пор как умерла его бывшая тёща, лёкина матушка, она тоже иногда снилась Павлу Ивановичу, и всегда тоже выразительно, повторяя энергию, которой владела при жизни. Вскоре же после смерти она привиделась ему быстро идущей по Арбату с небрежно распущенными серо-седыми волосами, Павел Иванович еле за нею поспевал, а прохожие были, но как и не были, с ними они не сталкивались, как бесплотные. Тёща на ходу выбрасывала руки, быстро что-то показывала и говорила неразборчивое — о магазинных витринах и даже кинематографических вывесках. И вдруг исчез Арбат, и движенья не стало, а она сидела матрёшкой, в деревенском платочке, румяная, и сказала жалобно: «Пашенька! У меня к тебе просьба: возьми меня к себе!» Но Варсонофьев и во сне понял, с шевелением волос, что это — не в дом жить, но что она же — умерла, и хорошо, что не зовёт *его к себе.* Возразил: «Марья Николаевна, как же я могу, это невозможно.» Та пригорюнилась и сказала: «А ко мне в гости приезжают», то есть значит с Земли. «Как же это понять?» — недоумевал он и во сне. Она ответила уже холодно: «Как хочешь, так и понимай.»

Варсонофьев привык считать такие сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными душевными встречами — с живыми или умершими, только зашифрованными всегда, иногда слишком для нас трудно, а иногда мы не хотим потратить время разгадать. Из той жизни никто не может выразить живущим здесь свою мысль

адекватно — и наша случайная с ними связь всегда обречена на неточность, на догадку, на истолкование. А характер и настроение — так почти и нескрываемо выражаются во снах всегда. Слёзы и горе, видимо, преобладали в настроении Марии Николаевны в загробной жизни, как и последнее время на земле, когда она болела долго. Раза два она приснилась ему плачущей в горькой обиде — и оба раза (но совсем не в одну ночь) почему-то над рыбой, даже грудью припав на стол к тарелке с жареной рыбой, которую она ела. И ясно было, что плачет она не так о себе, как о Лёке. А ещё раз — будто Павел Иванович лежал, не могчи встать, а Марья Николаевна стояла у ног его в санитарном халате и больно скручивала ему пальцы ног. Как мстила.

Состоянье твоего греха по отношению к живому постоянно меняется: какие-то если не поступки, то пробежавшие мысли минувшего дня или узнанное что-либо меняют окраску твоего долга, твоей вины и соотношение тебя с тем человеком. А по отношению к умершему грех застывает уже навсегда: иногда чёрен и жжёт безщадно. А иногда — приосветлён, как безысходный манок, привет между двумя мирами.

С Лёкой жизнь Павла Ивановича осталась — будто где-то в стороне, не при ней и не при нём, такая, что нельзя было отличить начал и концов, причин и последствий. Ни он, ни она, ни порознь, ни вместе не могли бы всё распутать и разобрать, а тем более — никто со стороны, никто за них, и ни у кого б терпения не хватило выслушать все доводы сторон, исследить историю истинную и произнести приговор. И только удивлялся Павел Иванович долго себе, что у него хватило воли вырваться из этого мясорубного месива и отползти вылечиваться.

Это защёчное сжатие жалости и горести, которые он сегодня увидел на её лице, когда она говорила — «а-а, всё равно!», — кáк оно было ему знакомо, сколько раз он его видел в последние тяжёлые годы их: одновременно снисходительная усмешка над его недостойностью и безнадёжное горе по себе.

И ведь все эти годы, по 365 дней в каждом, проживает же и Лёка — его венчанная и неразведенная, и давно совсем чужая (без его влияния всегда чужела мгновенно), — и вот, по снам видно, вспоминает о нём едва ли не каждый день, и может быть сегодня в Казани приснился ей такой же симметричный сон.

И зачем-то рожали, растили, учили дочь — а та вся влипла в замужество (да и хорошо, что так! так и быть должно), но отстранённо далекое, и уже неважно, какая там у неё была девичья фамилия — Варсонофьева или другая, из какой семьи вышла, — а важно: ушла без касаний.

Это время медленного просыпанья, усильного подтягиванья себя от ночного небытия к дневной необходимости, было и время косого перебора воспоминаний — какие сами вскочат и пробегут.

Теребящая сила воспоминаний, при которых прошлое кажется реальнее настоящего.

Ах, стало тяжело Варсонофьеву просыпаться, начинать день. Как будто ещё же не так стар, — но как овязано пробуждение этой неспособностью — молодо вскочить, действовать. Неспособностью не только тела, а ещё больше — сознания. Сознание, наиболее тяжело погружённое в ночное состояние, наиболее медленно из него выникает, осторожно и недоверчиво возвращаясь к этому миру.

В эти первые минуты возвращения мир кажется так горек, так труден душе — тягостью жить в нём, волочиться по нему. Так трудны свои обязанности. Так нескладно и плохо — уже сделанное.

Совсем нет прежнего утреннего уверенного: скорей вскочить, скорее к делу! Уже нет прежней заинтересованности во внешних действиях, в успехе. Безразличие.

Теперь — мало вспоминалось в прожитой жизни дел, которые не надо было делать иначе.

Так и с Лёкой. Разъединение с ней сперва он считал только из-

лечением и единственным спасением души. И надо было пройти пяти-семи-восьми годам, чтобы понял Павел Иваныч, что на этом разъединении он надорвал себе душу. Как будто навсегда потерял лёгкость и навсегда ссутулился.

Теперь так он видел. Ошибкой было когда-то — соединиться с ней, в неё поверить. И ошибкой было — жить с ней столько лет. И ошибкой было — с ней разойтись. Всё и каждый раз — было ошибкой.

В пожилом возрасте сердце становится ощутимо-тяжёлым, и носишь его как груз. Все проблемы пройденной жизни, такие даже лёгкие в свои десятилетия, как будто проскоченные нами благополучно, как будто спавшие с нас давно, — вдруг оказываются все здесь, все наслоились плитами на нашей груди — и подавливают.

Но даже и привязался Варсонофьев к этим своим трудным, медленным, одиноким вставаниям. Так полчаса, иногда и целый час он мог лежать совсем неподвижно, не имея ни сил, ни нужды дотянуться отщёлкнуть, посмотреть часы со столика. Не имея потребности истолковывать суетливые звуки жизни, если они достигали. Лежал — и думал, как мысли сами потекут, не задавая их. Смотрел на тёмный резной небелёный потолок — и из его резьбы вычитывал.

Сознанье постепенно возвращалось и в высшую область головы — и Варсонофьев подтягивался по подушке вверх, вверх. И ждал ещё минут, когда сознание, уже обратным током, распространится волею по телу — через грудь в туловище, и по рукам, и по ногам, — и готово будет тело покорно встать и понести бремя.

Вздохнул — и спустил ноги, уже без труда. В комнате показалось холодновато. Привычно взял халат со спинки кресла, заложенного книгами вечернего чтения, надел, пошёл, постепенно и разгорбливаясь.

Не годы его гнули, а мысли.

По пути потрогал белый кафель голландской печи. Еле-еле была тепла. Надо, чтобы сегодня покрепче протопили: сыро, пасмурно, мерзко за оконцами, кажется и морось.

Прошёл ещё две комнатки с низкими потолками — мимо сундуков, книжных шкафов, японской ширмы, журнальных стоп, какие от пола, какие от стула, опять шкафов, комода, гардероба, всё прошлого века и всё не передвигалось пятнадцать, двадцать, тридцать лет, волчьей шкуры, опять книжной полки, до отказа забитой книгами на всю высоту, стоймя и лёжмя, в старых кожаных переплётах и свежих совсем. Мимо груды высохших дров, уже на антресолях, над сенями. Большого самовара на 20 человек, не употребляемого. И стал спускаться по скрипучей лестнице.

В конце просторных сеней за большим ларём была и двойная выходная дверь с сине-стеклянной ручкой. Павел Иванович сбил туговатый крючок и, припахиваясь от сырого холода, высунулся наружу, залез рукой в деревянный почтовый ящичек. Все три газеты были здесь — две московских, одна петербургская, с опозданием на сутки.

И уже не запирая крючка, чтобы ход был прислуге, теми же ступеньками всходил.

Хотя достигнутое наконец утро тянуло Варсонофьева к самому счастливому — одинокому размышлению и работе над бумагой, чем и строится душа; хотя уже лет более пяти назад Варсонофьев окончательно осознал, что ни одна газета не может принести ни ему и никому никакого прояснения мысли, а лишь исплющить её, уповерхностить или заострить в направлении партийном, — но, как курильщик или пьяница, не мог отказаться от этой страсти: совсем изгнать газеты из своей жизни он уже не мог, был отравлен. Чаще он пытался не брать их в руки с утра — тогда сохранялось несколько лучших утренних часов мысли; после обеда газеты, как и курение, не так отравны. Но иногда, хоть и запретив себе, а всё же механически шёл и брал, — и так губил день, если не изгаживал душу. А сегодня он пошёл даже и сознательно, не дотерпливая прочесть о думских заседа-

ниях или хотя бы увидеть, как много или не много белой полосы выкатала цензура.

И не дойдя до кабинета, на столике рядом с бездействующим самоваром он развернул и, полунагнувшись, полуопираясь рукой, стал смотреть. Да, белых цензурных пятен было изрядно, и они-то больше всего кричали и выражали — гораздо богаче мыслью, чем эти ораторы на самом деле могли произнести.

И прежде всего, конечно, прочёл речь Милюкова.

И был поражён её ничтожностью. Даже не в сравнении с высотами человеческого ума — но с холмиками милюковского. Не речь государственного человека, а какой-то перебор сплетен. Силы речи, силы обращения к собранию у него и никогда не было — ни хватки, ни образов, ни блеска, — а только улавливал он среднюю мысль аудитории и средней же мерою её выражал. В Милюкове отсутствует созерцательная глубина, в нём нет сознания выше позитивистского, и вот эта ограниченность даёт ему напор быть политическим вождём. Выше минутного политического лозунга он и не может дать ничего ни своей партии, ни своему парламенту, ни своей стране.

Не только знаком был с ним Варсонофьев, но и два раза держал с ним публичный диспут — о «Вехах». Даже это — самая резкая чёрточка в Милюкове: как разъярился он на «Вехи» и понёсся во всероссийское турне — опровергать эту книгу, раздражавшую, дразнившую его своей глубиной.

Удивительна и его научная бесплодность: неаккуратность с источниками, назойливые *выводы* вместо фактической истории и честолюбивое стороженье своего престижа. При всём том он оценивает эту страну до себя не доросшей: недавно в Христиании жаловался на недостаточность «восьми культурных поколений в России» (считая их, конечно, от Петра). Сам собою он постоянно любуется и — проговаривался — меряет себя под Герцена. А между тем — лишён дара счастливой лёгкости, да даже кругом неталантлив.

Да и сам Варсонофьев тоже ведь начинал вместе с ними со всеми — с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. В 1902 году уже назначали его — ехать за границу, выпускать там «Освобождение», — это представлялось тогда как обречённость эмиграции навечно, маячил и тут образ Герцена. Но взялся выпускать молодой Пётр Струве.

Да всего десять лет назад Варсонофьев был в их крикливой, мелочной толпе, с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренне был горячим депутатом Второй Думы — и ещё не усумнялся в жаре борьбы. И ему, как другим, третьиюньский разгон Думы казался насилием, не имеющим себе равных в истории!..

А ведь он был и тогда не мальчик, уже пятьдесят.

Останься тем же — он и сегодня был бы вот на этих газетных страницах. Даже дико.

Всего удивительнее в нас, как мы бываем искренни на разных поворотах нашей жизни — и как почти нацело это потом всё в нас меняется. Поражает несомненность и предшествующего убеждения и сменяющего.

Так всё повернулось в Варсонофьеве, да и не вовсе медленно: зачем он тогда так страстно бился? Всё было не то. Суетливый, самодовольный Союз Освобождения — как стая крупных глупых птиц, дружно хлопающих крыльями.

Нетерпеливая тщета: хотели поворачивать ход такого корабля, не доникнув до его сущности. А ход — непостижим нашим умам, и мы имеем право только на малые, на малые тяги. Без рывков.

Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем.

Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность — только плёнка на времени.

74

После Гурко — оставалось уезжать. Но нужный поезд шёл только утром. Воротынцев выписал в отделе железнодорожных сообщений билет — и остался ему ещё один свободный вечер в Могилёве. Соображая, как бы лучше провести его, с кем бы ещё повидаться, пока здесь, Воротынцев придумал ещё раз зайти на почту: а вдруг от Ольды — да второе письмо? Жалко будет его не захватить! Да вот и самое лучшее: вечером сесть да написать ей большое, вчера невозможное во взбитых чувствах. Теперь, когда решилась опять Румыния, и неизвестно, когда доведётся встретиться, — провести вечер как бы с Ольдой.

Только площади и Большой Садовой улицы было не узнать: снег, сугробы от расчистки, холодно, поужевшие тротуары, никакого гулянья, и закрылись лавочки у монастырской стены, только магазины и аптеки сверкали по-прежнему. Неузнаваемо другое какое-то место, не то, где было так романтично вчера.

Но у того же полированного почтамтского барьера тот же строгий чиновник, так же недреманно и нескучливо перебирая конверты, протянул Воротынцеву ещё один!

Жадно принял сверхожиданную награду — и сразу шагнул. На ходу глянул на адрес — не понял.

Не сразу понял.

Остановился.

Как странно: не сразу вместилось ему, что — от Алины!

Не ожидал...

Уж её-то почерка ему не узнать! — размётанного, с вычурными вскидами и овальными петлями вверх и вниз.

Но: крупней. Ещё разбросанней. И почему-то страшней.

Не ожидал. Думал — до полка, ещё когда там напишет. Думал — какое-то время можно эти дрязги не вспоминать.

Откуда ж она догадалась?.. Да, он же сам показывал ей телеграмму Свечина. Как будто не заметила? Но он её нарочно и на столе оставил.

И письмо было — вот.

Что-то отчаянное в этих разбросах почерка. Как и в последнее московское утро.

А может — «не получил»? Ведь это случайность, что он зашёл на почту, мог и не зайти больше. Оставить всё это тяжёлое — до полка? До штаба армии?..

Жалко было разрушать вчерашнее счастье — небывалую тёплую ноябрьскую ночь, под снег. Ещё после Нечволодова ходил, ходил по тёмному Валу, уже в холодающем ветре, всё не мог уходиться. Клубился Ольде ответ, а ни строки не написав, свалился спать.

Но Алина — существовала, вот. И забыть её было нечестно.

Подошёл к стоячей конторке, уже другой четвертушке, взорвал конверт пальцем, оставляя рваную рану.

Обращения — не было, и от этого сразу — как раздиранье одежд:

«З а ч е м мне муж, для которого я — не лучшая из женщин? Зачем мне муж — не лучший из мужчин?»

И вслед за этим её дёргом Георгий потерял ритм ровного чтения, не мог заставить себя читать строчки подряд и вникать, а нервно перебегал, ища дальше чего-то страшного и непоправимого.

«Мириться с тем, что есть о н а, — я не могу ни одной недели! Знай: для роли «одной из жён» я не создана!.. Ты думаешь, в таком аду можно жить? Знать, что может быть сейчас ты поехал к т о й? Да мне во много раз легче расстаться с жизнью!»

О, Боже.

«Но кончить с собой ты мне не разрешил.»

Ну, обойдётся.

Но, сразу перескочив на полстраницы вниз, — как находя? как будто притягиваемый самыми жуткими строчками? —

«Я могу пройти этот путь только ценой самоубийства!»

Он вспомнил её вздрагивающее горло. И обморок в пансионе, обмиранние рук от сердца — ведь это всё десятки раз могло с ней повториться за эти дни и без самоубийства, — а он её бросил и так легко ехал, и так освобождённо было ему!

Она же — вытягивала из слабеющих сил:

«Чтобы остаться жить, у меня выход только один: о с т а в и т ь т е б я!»

Пол — ушёл из-под ног Воротынцева. Ноги стали невесомы, и всё тело: после угрозы — он взлетал в радость, радость полосанула по сердцу: с в о б о д е н??

Да он, оказывается, этого и хотел! Этого и хотел, не смея мечтать, не смея заикаться, сам себе признаваться.

Опять, как вчера, на мгновение он почувствовал себя летящим, кричащим воздушным шаром. Но только — на миг, и вот уже снова тянули его долу тяжёлые строчки:

«А чем — т ы для меня пожертвовал когда-нибудь? Чем поступился?»

Правда. Он жил, служил — не для неё.

«Выбирай одну из нас, только не в Петербурге. Да хоть езжай и к ней! Я не прошу снисхождения! Я переросла снисхождение! Я вышла из обморока.»

Свобода! Свобода! — ликовало в нём вопреки разуму, как же он этого ждал!

А строчки — криком раздирающим, будто наступили на живое:

«Ты — свободен. Но и я — снова с в о б о д н а! Я, может быть, паду! Я, может быть, стану гейшой, но я — свободна! Ж а л к о й — ты больше меня не увидишь!»

И подписи тоже не было.

Георгий зажмурил глаза. Горячей болью сжигало их. Плавило.

Он с детства забыл это ощущение.

Мешало ему во сне как будто жжение и всё более сильное, чем прореженней становился сон.

Не переносное жжение, а настоящее: как будто йодной палочкой касались стенки сердца. Не переносного сердца, а — подлинного, левее средней оси груди, того, что кровь гонит, а вот — перебивается, с перебоями гонит. От жжения.

И всё больше прожигая сон, это нестерпимое йодное жжение выкололо его изо сна — и ещё наяву продолжало жечь.

Нет, не вышло ему спрятаться во сне.

И ночь, по чувству, ещё далека до конца.

И раздвинутая тьма, с непобледнённым окном, тем верней забирала его этой мукой.

А ведь с мукой такой же, неделю назад, и несколько ночей подряд, вот так же металась Алина, и так же жгло её в стенку сердца, — нет, хуже, наверно! — в десять йодных палочек. А он воспринимал снаружи почти как красивое: похорошела, смягчилась. И казалось, что как-то можно мирно, доброжелательностью необыкновенной...

А — вот оно, догоняющим проколом теперь: девочка моя слабенькая! что ж я на тебя обрушил? Объяснился, уехал, — а тебя оставил сжигаться!

Он сам был поражён жестокой силой, как стало ему жалко Алину. Он еле скрывал слёзы на обратном пути с почтамта — и скорее заперся в комнате. Он в пансионе — не испытывал такой силы жалости.

Беззащитностью своих милых серых ослезённых глаз выставилась ему Алина, и в темноте явная, как освещённая, из раненого своего далека.

Что ж он наделал? Беда какая. Что ж он наделал с ней?!

Она только и живёт — любовью к нему. До чего ж ей нужно было дойти, чтобы кинуть себя жертвой. Освободить его!

Но о таком — он не думал! Он ничего такого ей не говорил! Он говорил, напротив: я тебя ни за что не покину!

Делить — она не может. Сразу порыв — разойтись! Готова — разойтись! Сама не представляет, что предлагает, не видит, как скоро сама сокрушится.

Вспоминалась эта «гейша», этот крик её надорванный, кажется уху слышный сорванный голосок. Неумелая моя, да разве ты смогла бы?.. А — срыв голоса, когда берут не по силе, как девочке захотелось бы петь взрослую арию. Это в ней есть! — в крайность, в пропасть порыв, не соображая, только что-то бы кому-то доказать!

Освобождение? — ещё не испрошенное, ещё даже в мыслях не развернувшее крыл? — и вдруг свалилось на голову. Освобождение — как кирпич.

Жертва Алины — отняла у Георгия всю лёгкость. Нельзя представить, что когда? — вчера? — ну да, тем вечером — он нёсся с почтамта на Вал весёлый, легконогий, молодой, — и впереди вот не ждал, чтобы что-нибудь омрачило, отняло добытую его радость.

А — вот.

То, что в Петербурге он принял за ослепительную удачу своей жизни. Что в Москве ещё виделось как новая бойная струя, влившаяся в жизнь. Вдруг теперь откинуло его навзничь во тьме — как безысходное несчастье. С которым соключиться и жить постоянно — невозможно.

За клубами этого несчастья заглушились вчера звеневшие ольдины слова — и он не расслышивал их сейчас. И затмилось её тонкое умное лицо, стояло как позади протягивающих дымов — и всё сразу не давалось охвату зрения, а где реже дымка — то печальный глаз, то напряжённая складка несогласия на лбу, то подрезанная верхняя губа. А всё вместе — не давалось. И не доносилось ничто.

А алинин надорванный крик так и прорезал уши, стоял иглою.

Это — её характер! Из бессилия — вдруг взлёт! тройные силы! гордость с закусом губ: она *сама* должна решать! не кто-нибудь за неё! И только так решать, как первый толчок её повёл! Я — не лучшая из женщин? Расстаёмся!

А через несколько часов или даже минут — сорвётся и сникнет.

«Ты увидишь меня в таком бле...»

Да разве она представляет, на что решается? Да разве она сумеет без него жить? Выздоровеет?

Да ты ж надорвёшься, бедняженька! Да разве я это допущу? Родненькая моя, до чего ж я тебя довёл?..

Не сердце у него болело — а вся грудь, как изломанная.

Но — Ольда? Но — Ольда! Но — Ольда, какая не снилась ему никогда? Покажись же, покажись же за этими дымами! Дай тебя увидеть и услышать! Помоги же! Ты же умница, всегда всё знаешь!

Нет, не давалась.

Только клочками.

Клочками воспоминаний.

И вспомнились вдруг её — её же — слова: всё человеческое умение — иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы заменить.

Она — о другом сказала, а вот...

Что ж, в этом — рок. В этом — долг? В этом — бремя возраста. Сорок лет — это не двадцать, надо было все глаза открывать в двадцать.

Сбил, попутал генерал Левачёв.

Да-алеко откатился сон, безнадёжно.

Навзничь под этой глыбой темноты — от этой темноты он был особенно беспомощен: всё должно было прожечься, провинтиться через него.

Да ведь — разве они друг друга не любят? разве не сжились? Как же — расстаться?

Сколько хорошего! Да почти только хорошее, трогательное, даже умильное, вспоминалось сейчас из их восьмилетнего прежнего быта. И как терпеливо она делила годами нищую офицерскую жизнь, так и не поживши всласть. И зная, что развитые офицеры из армии обычно бегут, — никогда не понуждала его. Да и Шопена с Шуманом за стеной — он правда любил...

Тем беспомощней он был застигнут, что никак не ждал. Никак. Ничего подобного.

Да и почему это всё так страшно раскрутилось? Разве оно должно было непременно вот так раскрутиться?

И всё ему — за то, что он сказал правду?

Значит, надо было, как все: скрывать, молчать?

И с чего всё началось? Из трансильванской дыры — всем уплотнённым зарядом — через всё пространства пролетев бездельно, ненужно, позорно, — неразорванным снарядом шлёпнулся в болото.

В какой-то паралитичной схваченности лежал.

Вот это и болело сейчас: за всю жизнь чего он никогда не терял — уверенности в своих действиях. Спасительное всегда было в нём: уверенность в хорошем исходе. Не уверенность знания или размышления, а такое прирождённое внутреннее чувство, как часть существования: как ни плохо — а всё-таки хорошо! выше плохого всегда стелется хорошее, а за дурным всё равно прорвёмся к доброму. Это был постоянный мир с самим собой. И как бы мрачно ни виделись ему события, а в душе сохранялся добрый свет, он просто не живал иначе. И если это чувство на короткое время подавлялось — он всегда ощущал как болезнь.

А сейчас — он потерял это чувство, и испуг был — что навсегда.

Все эти недели он поступал, не усумнясь, — и вот оказалось всё плохо, всё потеряно.

Горло сжимало, как щипцами наискось.

Да! — кольнуло: там что-то же опять и про самоубийство? (И это — не первый раз, это настойчиво!)

Спохватился: да он не прочёл как следует, он не помнит письма! Он его и перечитывал несколько раз, а головой беспонятной, и так, чугунея, ушёл спасаться в сон. Надо перечитать сейчас же!

Забыл, где выключатель. Стал — спички искать. (Вот что: не спал, горел в темноте, — а не закурил ни разу, забыл!)

Со спичкой включил верхнюю лампу.

Оказался — одет полностью. Только без шашки и сапог.

Пошёл к столу читать.

Но как же она любит! — «во много легче расстаться с жизнью»!

И: — вот как ты отплатил за всю мою верность, за все мои жертвы. За то, что я никогда тебе не изменила. Что я отдала тебе свою молодость. Приняла роль скромненькой жёнушки, устраивающей уют для твоих занятий. И за всё это теперь — предательство?..»

Вот когда закурил, закурил! Вслед за первой и вторую.

В носках ходил по номеру.

И ещё дочитывал:

«Очнись! Почему должна бороться с собой я, а не ты?»

Это — верно. Он — сильнее. Ему и бороться.

И если даже любовь уже не прежняя, то — отвечает за Алину он, не она за него.

Только бы сейчас эту встряску пережить, а там как-нибудь это смягчится, примирится.

А — как Ольда предполагала? Что она — говорила, думала?

Не вспоминал. Не мог вспомнить. Тогда, там, не задумывался.

А сейчас, при зажжённом свете Ольда была ещё меньше видна, чем в темноте.

«Чтобы остаться жить...»!

Чтобы остаться жить...

О, как попал! Как разворотно-мерзко на душе!

Выхода — нет.

Чувствовал себя убийцей.

Да — времени нет! Надо — скорей, сейчас, вот сейчас. Ещё новая вспышка — и она...

За то время, что шло письмо, — и то уже может быть...

«Пройти этот путь только ценой самоубийства»...

Возьмёт — и...

Почему должна бороться с собой — она?

Это верно.

В отчаяньи — чего не сделаешь?

Вот что, надо телеграмму дать! Смягчительную, ласковую телеграмму. Чтоб сегодня же утром получила.

Было очень-очень рано ещё, но на телеграфе всегда дежурный.

Быстро натянул сапоги.

Одеваясь, увидел себя в зеркале, на внутренней стенке шкафа. Какой-то старый, помятый, потерянный, с воспалёнными глазами.

Сразу ссунулся в старость, и чувство такое. Ушли его сорок.

Пошёл по гостиничному коридору, смягчая шаги. Все спали ещё.

И на улице — тьма, и холодная снежная сырость, напродрог. Злая какая-то сырость.

Небо без звёзд, без луны. Кое-где фонари на углах. Все окна тёмные. И прохожих нет.

Шёл — пригнутый, не военный. Как собака побитая. И поверить было нельзя, что вообще когда-нибудь в жизни ещё вернётся весёлая лёгкость, позавчерашняя.

Алина — просто слишком трагично всё воспринимает. Всегда так, и теперь так. Ведь он повторял ей, повторял: я никогда тебя не оставлю, этого и в мыслях у меня нет. И вдруг первое, что она предлагает, — перерубить?

Нет, он ей в этом не соучастник.

Алина-Алина, я ведь тебя люблю! Помни об этом.

От ходьбы, от движения к действию — уже не так жгло. Смягчалось. Возвращалось в привычные размеры, в привычный ход.

(А та лёгкость, нет,—всё ж залегла уголочком в груди, держалась.)

Он шёл мимо тёмной каменной высокой монастырской стены, облепленной заснеженными лавочками.

И вдруг миновал широкую калитку, полотнище её было распахнуто. Мелькнуло тёплым светом — и он шагнул назад, задержался против проёма.

Полотнище было распахнуто — и дальше были распахнуты церковные двери — и виделись внутренние остеклённые: там, дальше, было немало огня, различались столпы подсвечников со свечами, служба уже началась или готовилась.

Но ни звука не было слышно сюда и даже не видно фигур внутри — священника, или монастырских, или прихожан.

Если служба шла — то как будто сама, без людей, ночная.

Поколебался — не зайти ли?

Но нет, телеграмма не ждала, надо было спешить.

Зашагал к телеграфу.

Единою задачей влачимый черезо всю жизнь, и всегда спеша, — так он и прошагивал всегда.

75

Темнота.

Тишина.

Но — не могила, ты — в жизни ещё. А полмига, четверть мига, пока не вернулась память никакая, ни о чём, — лежишь как не знавшая горя: проснулась.

Только — полмига. И тут же — уколом! — самое последнее, вчерашнее! Но не последнее одно, а — уколами — уколами сразу и вся цепь. И всё это — в голову больную, в грудь больную, нет сил!..

Что бы вот так — ничего не вспомнить, просто полежать? Просто отдохнуть, послушать, как тихо, тихо, тихо по всей Араповской, во всём Тамбове. Нет! передачей молоточков — Письмо вчерашнее — Могилка детская — Женькина смерть, Типуленьки — Последние дни его — Из Тамбова опоздала — Пустынная горечь от свидания — Двое суток блаженных, не знающих о беде, — в этой самой комнате?

Могилка сельская, в осени сырой.

А у него — другая?..

И так прожигая, по одному месту, повторно, и одни и те же борозды прожигая в мозгу, как электричеством выжигают — отпустите! отпустите, выключите!!

Зачем же он теперь такое пишет?!

Выбилась, разорвала. Лежала как в обмороке, спасительном забытьи, отключаясь от этой всей колющей цепи.

Но — боковым прожогом, по другой дорожке, как будто не о себе, а из другой жизни: мама умирала — скрылась беременной, легче ей не увидеть дочь никакой, чем такой, — не донеслась глаза закрыть.

И — уже из третьей жизни, совсем посильное, так жегшее раньше, а теперь уже не жгущее, теперь такое дальнее: женькин отец.

Тогда казалось — сложнее нет: как это всё разрешится? Как убедить его, что надо сказать жене? как ему храбрости придать, ведь не осмелится? А почему это было так надо? Тогда было так, сейчас и не вспомнить. Ведь не думала же его отнять, слабого такого, не способного на прыжок. А — униженье душило: начинать какой-то тайной прикладкой, не личностью, воровкой скрытой? — нет, пусть будет ясность.

Какой слабый мужчина. А много ли их сильных? Там, где нервы натянуты, они не сильны. А разве Фёдор не слаб?

Слаб! И слеп! Запутался! Плывёт обрубком дерева, куда течение приткнёт! Когда с ним — прощаешь за его простодушие, глаза изумрудные, берёшься верить, берёшься тянуть его вверх, — а расстанешься — что было? Пустота. И — ещё пишет, что... ?

Отпустите! Выключите!

Женькиного отца вспоминать — сейчас спокойно, одно облегчение, вот и стараться. Она узнавала его по Чехову, — верно списано, такие они бродят: милые, приятные, мухи не раздавят, и дела никакого не совершат. Тоска или мечта? — вечный поиск, но и не настоятельный: что найдётся — и ладно, как сложилась жизнь, так пусть и будет. (Да и Фёдор же такой!) И с самого начала предвиделось, как это кончится: останется он в своей скорлупе, всё такой же умеренно-ищущий, а разобьётся только сама Зинаида. Уже провожая её в деревню рожать, обещал непременно скоро приехать, вот тотчас же! А там дальше и жизнь перестраивать — для сына! И не лгал; ведь верил.

Но даже не приехал сына посмотреть.

Мужчинам живется шире, легче, они и не пытаются себя понять, не нуждаются прорабатывать себя в глубину. А женщина живёт тесно — и всё в глубину, в глубину.

И та — тоже ведь? И той — тоже? И — в глубину? Допустить — полужизненная она, полуженщина, а всё равно: прожигает?

Но Типуленька-то — умер!!! Мальчик! Женечка! Так на земле ещё ничего и не поняв, не различив ни мест, ни лиц, ни частей своего даже тела, — одну только мать, и то размыто. Ещё не вырвался из небытия, три четверти времени во сне — и туда же опять. Только-только снялось это старческое выражение, с каким младенцы узнают негостеприимный мир, — и назад... Еле-еле волосики пробивались, голова

только-только подправилась ближе к человеческой, подобрался затылочек, — и посинели губы. Н е т у.

Проклятое «скажут». Для себя — никогда совсем не боялась Зина «скажут», но — чтобы мать не убивать. А не приехав к больной — её подтолкнула туда же? Так — на похороны? Снова «скажут», зябко.

Может и т а — не так за мужа держалась, как «скажут»? Невыносимо ведь.

А для Фёдора — приехала, примчалась, не постыдилась сестры с мужем, не побоялась никого, ничего: к нам! И в гостиной, где всё их детство, куда и он приходил когда-то знакомиться с семьёй, и гимназистка замирала от смиренного восхищения перед бывшим членом Государственной Думы! пострадавшим! и писателем! с изумрудными попыхивающими глазами! — теперь в той самой гостиной по воле его прохаживалась нагая, а он лежал на диване и теми же зелёными глазами скользил.

Три недели назад, всего три недели! — вот тут бродили, беспутные, а сын в Коровайнове уже заболевал!

Но хотя подтвердилось её предчувствие, шесть лет дразнившее, манившее девчёнку в отдалении, что с Фёдором откроется ей. И хотя эти два дня встречи она не успела очнуться, — но уже нарастали в ней пустота, обманутость, — и всю её залили, едва расстались, едва только села в кирсановский поезд, и низменны показались собственные восторги, всё обман, муть, — даже до отвращения, зачем приезжала? Скорее к сыну назад! И тревога колющая: что́ с сыном брошенным? здоров ли?

О своём таком же, покойненьком, крохотном, там, на коровайновском кладбище рядом сказала крестьянка: «чрева моего урывочек».

Чрева.

Моего.

Урывочек.

Нету.

И — самой бы тоже...

А что?

Так никогда никто и не увидел её затаёныша. Ни отец. Ни... отчим. Некогда всем. Жил как не жил, только в памяти матери. Ни фотографии. Никогда никому не покажешь.

Как она и хотела? — скрыть...

«Отчим»! Он своих-то детей без любви разбросал, небось не знает даже. Одного только отличил, взял в приёмыши. Что за бездарность мужская — не уметь любить своих даже собственных детей?

А если бы у *них* был — неужели бы не приклонила? не притянула?..

Уже в кирсановском поезде ехала в отчаянии: едва началось — и всё кончено! этого нельзя продолжать! вот только что началось — и кончено, и нечего вспомнить. Он—безнадёжно груб душой, не развит, он ничего не понимает выше! Науку жестокую принимала она годами из его писем, он сам писал про женщин, отталкивал, пальцы сбивал — не держись, но она понимала это как грубоватую игру, что не дорожит, в любую минуту вычеркнет, она поверить не могла, что всё именно так: женщины не по выбору, не по поиску, а где меньше затрат на ухаживание, никого не добивался, никого не пропускал, — она же помнила его светлую улыбку и даже милую стеснительность на уроках словесности, она всегда верила в его душу, душа залегала — и только нуждалась очиститься, душа просила помощи от женской руки! — и это всё могла его ученица с первой парты! И шесть лет она держалась стрелкой компаса сквозь его грязноватые откровения, верила, что всё это поза, что там, под поверхностью, заложено никем не открытое, не добытое, ему самому не известное. Он потому и откровенничает, что не знал любви никогда.

И ещё как вознадеялась, ещё как воспряла, когда он смог не взревновать к чужому ребёнку!

И вот — они были вдвоём, в объятиях, — и что же? И — нет ничего того?..

То-то всегда она боялась узнать его ближе! Рвалась — и боялась.

Ещё не доехав до сына, ещё не узнав о его болезни — она была уже в отчаянии, в отвращении, — не встречаться больше, да может и не писать.

Пу — сто — та!

Пустота! На целую бы жизнь вперёд протянулась бы Женькина жизнь, а теперь — пустота! Другим человеком, другим ребёнком не заполнится, не пройдётся никем! — э т о г о существа никогда уже на земле не будет. Вся несостоявшаяся жизнь так и промерещится — ни с кем не связанная, не пересечённая.

Ещё до того не захотелось ему писать. А когда закатился Типуленька — всё прочернело до немоты. Что писать ему? — чуда не будет.

Предательство: кинуть мальчика беспомощного, чтобы только самой...

Но — второе предательство, хуже: под тою же крышей, сейчас, в том же доме пустом, под тот же бой часов — и думать, и жечься опять о н ё м? не о Женьке одном?

Смерть сына так неожиданно и просто ввела в церковь, куда никогда не долегали пути всей юности. И так, будто всю жизнь и ходила. Так просто стояли у гробика и крестьянки-соседки. Несли его.

Но от той панихиды и до панихиды девятого дня усидеть в Коровайнове не могла — бросила могилку одинокую — теперь навсегда одинокую, теперь навсегда ему быть почему-то на коровайновском кладбище! — и помчалась к тёте в Тамбов, в монастырь Вознесенский.

Тётя — и всегда звала: будет плохо — приходи. Но всё, что могла она говорить, вело к загробному утешению, всё не касалось кипящей жизни. И прежде дерзила ей Зинаида: оставь, тётя, Бог-утешитель — абсурд: для чего было мир хлопотать создавать, чтоб его утешать потом?

А тут оказалось — и просто, и очень утешенье это надо — как будто застывающей, сладковатой смолой заплавлялись бездны и режущие камни. У тёти нашла Зина первое равновесие.

Она стала думать уже не так, что с сыном её никогда ничего не совершится, не произойдёт, не будет, а: г д е о н? Где он теперь? Чтоб он нигде — этого быть не могло, это понятно! если уж пожил немножко — это не может равняться тому, что и не был зачат.

Чрева. Моего. Урывочек.

И попался священник отец Алоний в соседней Уткинской церкви — такой доброжелательный, простонародно-основательный, широкоплечий, — он служил панихиду девятого дня, а потом разговаривал с Зинаидой. Как-то просторно-светло говорил. И равновесие её ещё укрепилось.

Да Зина и прежде сама, не веруя, защищала церковь от *прогрессивных*. Наперекор теченью.

Равновесие укрепилось, и ровней потекли мысли, — и три дня назад Зина нашла в себе ровность и силы — написать Фёдору о смерти сына. И может быть можно было так начать выздоравливать.

Но до дважды девятого дня — до сегодня — не пришлось ей ровно дожить. Грохнул вчера, как плитой на голову, разминувшимся письмом (не писал бы, если б не разминулось!): знаешь, у меня другая есть, и это серьёзно.

Другая, или третья, или двадцатая! — но тогда приезжал з а ч е м? Не признался — почему? Блаженный и пустой спектакль этой встречи — зачем? Вот жжёт, вот гибель: ради кого, ради чего, зачем погубила мальчика?

Кого хотела спасать? кого хотела очищать?

Поверила! На одной ноге прыгала!..

Но — кто же ты?..

Она сидела.

Зажигала лампу.

И твёрдо вставила стекло.

Ещё мрачней на неё глянул беспорядочный пустынный родной дом. Тёмными распахами в другие тёмные комнаты.

Здесь она перед ним ходила...

Вырваться! Из постели, пока рёбра не додавлены. Из комнат, из дома — куда-нибудь. Только — не одной!

Одной — удавиться только! Жить нельзя больше! Жить нельзя! Особенно здесь. Уйти из этого склепа, черноты, тишины, где мама умирала, где страсть теребили — а *там* умирал малыш.

Зачем же тогда ты звал меня?! Я бы к тебе не бросилась—и он бы не заболел!!

Уже одетая.

К кому-нибудь! Куда-нибудь! На грудь броситься — не могу одной!

Самое прямое — к тёте. В монастырь ворота уже отперты, монашки встают до света.

Но к тёте — почему-то нельзя. Так просто, так спасительно было бежать к ней после смерти сына. А *сейчас* — нельзя.

Как это нагораживается? Двадцать два года, у других — только начало жизни. А у тебя нагорожено, загорожено,— жить негде, хоть удавись!

Хоть удавись. Вот на этом жёлтом шарфе. Крепкий длинный шарф.

Так чисто начать, знать себя прямой, даже благородной, — и за один год наломать, накрушить, запутаться. Ту семью — взорвала! Маму — предала! Женьку — предала!

Только *его* не предала.

Так предал он.

Уже не так рано, где-нибудь люди. Темно, потому что ноябрь. Только отсюда вырваться.

Платком покрылась. Остаться — нельзя. Одной — нельзя, это худо кончится.

Но и к тёте-монашке почему-то никак нельзя.

Руки дрожат — ключ уронила. Теперь — ключа не найти. Если в щель порога... Вовсе бы бросила, ушла, — нельзя, сестре жить.

Заплакала. Всё держалась, а вот заплакала: ну где он, железа кусочек?..

По всей Араповской — ни души. Если где засветились, то — ещё за ставнями. Медленно встают. Медленно живут. Молятся по часу.

Фонари — на углу Большой. И фонарь на углу Долевой, близко, но сюда не достаёт.

Вернулась за спичками. С тётей — что ж? Она давно, давно в монастыре. Святой — быть легко. Но грешную понять невозможно. Женщине не испытавшей — понять испытавшую невозможно.

Чиркала, чиркала, ветер задувал. Нашла наконец, вот куда завалился.

Заперла. Положила в укрыв. И пошла.

Если бы к тёте — то по Большой, до Вознесенского за Студенец. Не выбирала, пошла к Долевой.

Сыро. Темно. По Долевой и ветрено. Через лёгкий платок голову продувает. И хорошо.

Никого навстречу, так и шла одна. Никого у калиток. Кажется, с первым бы заговорила! — никого. Тёплыми вечерами весь Тамбов — на скамеечках, у калиток. Сейчас — никого.

И — к кому ж она? Всё закрыто. И все по домам.

Когда-то считала: чем хуже — тем интереснее жить, а как дела исправятся — всё укладывается в слишком покойные рамки, скучища.

Не-е-ет, это пока не провалишься. А из проруби — руку подайте! руку подайте! вытащите меня к вам!

Шесть лет она Фёдора любила, а Женьку — шесть месяцев. Но весь мир была ему — она одна, он-то ничего в мире больше не знал.

И — преполна была. И зачем опять эти письма? К своей полноте — зачем ещё звала его? Столько лет удерживалась — не стать навязчивой, нежные слова заставляла иронией, переписывала, если получалось нежно. А тут — на одной ноге заскакала.

Как будто если та «другая» будет с ним — он станет счастлив? Да нисколько. Ему и не нужно ни любви, ни счастья, ни близкого человека. Он беден душой и, наверно, неисправим.

Никогда не переступит по земле собственными ножками. Никогда не вымолвит даже «мама». Ничего не успел.

Со вчерашним письмом как же явиться к тёте, как голову поднять, — потаскуха? Уже довольно было ребёнка от женатого.

А уже она переходила Дворянскую. Тут ещё сильней дул холодный ветер, огибая круглый лоб Благородного собрания. Два порожних извозчика один за другим, наклоняясь против ветра, гнали с вокзала.

Зинаида, в ветру, остановилась на площади.

Перед ней была Уткинская церковь.

Бледно светились вытянутые окна. И редкие фигурки шли туда с разных сторон.

У неё мысли не было такой, что — сюда. Привели ноги сами.

А — куда ей? Не возвращаться же. Только — не одной к себе.

Окна не яркие, залитые как на празднике, — но слабого света. Для больной души.

После гимназических обязательных служб она заходила в церковь, разве куличи посвятить. Хотя из протеста против всеобщей моды иногда даже и хотелось. Да в Москве в лютеранском храме слушала органную мессу, и то — как концерт.

И на той мессе тоже думала — о нём. При своей ничтожности перед мирозданной музыкой вспомнила его, и так стало жаль его: ведь он только думает, что куда-то бьётся, продвигается, что-то совершит, а за сорок лет ничего и не сделал, и не пристроен, и неудачник. И так потянуло — спасать его, очищать от наносного.

Сама-то?..

В притворе миновав нищих двух-трёх, — а вышла-то без кошелька, — Зина вступила в храм. Горело много лампад — у всех икон, немного свечей, а электрическая лампа — только одна у певчих на клиросе, и больше ничего, ни люстры. Оттого и был такой сдержанный, умеренный бледный свет.

Лампады — любила Зина. И дома, у мамы, бывало, лампадка. В светёлке, в спальне, от женщины к иконе — лампада. Интимно, лицо к лицу. Свет мал, а знает много. Бездна в этом — один на один, и что там сказано, о чём там прошено?

Служба начиналась в правом, Богородичном, приделе, где стояла небольшая, но известная по городу икона Тамбовской Божьей Матери. Туда стянулись и почти все прихожане. Священника не было там перед вратами, только со стороны псаломщик неразборчивой унылой скороговоркой читал тягуче-бесконечно, и священник из правого алтаря изредка коротко откликался ему.

Зина тихо, не слыша своих шагов, прошла свободной просторной средней частью, не различая почти ничего. Стала близ опорного столпа. Закинула голову.

Она взглядом повела по арке столпа, как та плавно уходит вверх, а та уходила и растворялась в купольном своде. Сам же свод был над средним простором храма — как малое круглое небо, малое, однако высше-сосредоточенное. Сколько доносилось, доливалось туда рассеянного лампадно-свечного света, — всю полукруглость малого неба занимало распростёртое плечное изображение — Бога-отца в облаках. Бу-

дет утро — и свет придёт туда, в подкровельные прорезные окна, туда попадёт и первое утреннее солнце, и туда достигнет последнее вечернее. А сейчас там была полутьма, но весь собранный сразу свет давал полуузнать, полуувидеть — лицо самого Саваофа, грандиозное по смыслу. В нём не было неги утешения, но — и выше кары, выше всякой грозности была напряжённость Миродержателя-Творца. Он сам был — небо надо всем, и все мы держались — Им, и похитительною дерзостью был замысел живописца выявить Его лицо в понятии и чертах человеческих. Это не могло удаться. Но через то, что было написано, нависало над нами — великое, невообразимое выражение Силы, содержащей Мир. И кто застигнут был этими заоблачными Очами и удостоен был зреть мгновенье одно этот Лоб — сотрясённо понимал не ничтожность свою, но удостоенное же, замышленное место в гармонии. И призванье своё — эту гармонию не разбить.

Так, сильно закинув голову, глазами в эту огромность, Зинаида стала — и стояла, и стояла, не слыша ничего в храме, и нисколько не молясь, и даже не думая ни о чём. То, что парило над нею, — не передавалось словом, и было выше мысли,— это была волна животворящей воли, с доплеском и в нашу грудь. Натягивало струны горла, затекала, заливалась горячим шея, ноги теряли опору и покачивались — но не мочь была оторваться. Продрогаемая увиденным, как поставленная на мучение, стояла, пока терпела шея, в неприращённости к полу, покачиваемая, не молясь, не прося, не спрашивая, — вбирала.

А от вливаемой воли — стало легче и крепче. Не стало этого жжения, как дома, — вырваться, куда-то бежать, кого-то видеть, говорить. Стояла — и никуда не несло её бежать. Стояла с затекающей шеей, а чугунная скованность стольких дней — изникала, отпускала.

Покружилась голова. Зинаида, не без труда, руками вернула голову, поставила, как надо. И прошла немного дальше по каменным плитам.

Там, в правом приделе, вышел священник, молча поклонился перед закрытыми вратами, — но не отец Алоний.

Опять одна, без соседей, оказалась Зинаида у большой иконы Христа, перед иконой светилась крупная розовая лампада. В поле зрения и ничего больше не стало, только эта икона, заступившая весь храм, и лампада. Там, сбоку, шла служба, но Зинаида не воспринимала из неё ни слова, не слышала. Она стояла и смотрела на коричневый лик Спасителя.

А это было — вполне человеческое лицо, хотя другого цвета кожи, другой земли. Были странности — спускались двумя косичками волосы, и нос был так длинён и тонок, как не бывает, и застыли поднятые персты для благословения. И была многознающая, загадка глаз. Знающая всё, отвеку и довеку, что нам и не снится. В лёгком состоянии души можно было этой глубины не заметить. Но сейчас отзывалось всё. Что было выразительно ясно: Христу — остро больно, но он не жалуется. Всё сожаленье Его — к тем, кто подойдёт, вот к ней сейчас. Его глаза вбирают сколько угодно ещё боли — всю её, и многократно до неё, и сколько ещё грядёт. Он — сжился с болью как с неизбежностью. И знал разрешенье всех болей.

И ей стало легче.

Розовое стекло большой лампады и свет от неё были тоже особенными. Это была розовость, но что за розовость: ничего от зари, ничего от румянца, ничего от близкого тока живой крови, — розовый цвет с лиловой нездешностью, отрешённый ото всех земных цветов. И в этом свете особенно был проницателен тёмно-коричневый, всезнающий лик.

И в этом бесплотно-розовом свете особенно показалось невозможным, чтоб сын её был—нигде. Сейчас просто увиделось, что *где-то что-то есть*.

Икона, лампада — поплыли.

Как хорошо она подошла, не выбирая, наугад, она никуда и не

хотела больше. И разговаривать с кем-то взахлёб, как она рвалась, — ей совсем не нужно стало. Теперь сбоку слышался и речитатив:

«Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне... Кричу от терзания сердца моего: Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.»

И — задрожала: тут всё знали ещё до её прихода! — возглашали открыто.

Она не пыталась молиться: такого навыка не было у неё. Но в груди, в голове сняло какую-то помеху, запрет — и стало опять думаться. Думаться — не толчками и вздрогами, от которых болит и палит, а — созерцательно над собой, как чужой.

Она думала, что если применить церковное понятие греха, то у неё грех — тройной.

Нет, четверной.

Нет, даже пятерной. (Без сопротивления насчитывалось, как на чужую.)

Она соблазнила женатого. Она не поверхностно повредила, но своим настояньем *открыть* — во всю глубь рванула трещиной ту семью. Она покинула умирающую мать. Она покинула сына — ради возлюбленного. Она... Четыре. А где же пятый? Вился ещё тут где-то и пятый.

«Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней.»

Больше стали видеть и её глаза — и теперь наискосок впереди, на крыле среднего амвона, в уголке она увидела — и обрадовалась — стоящего к ней боком отца Алония: он исповедовал. Пока в правом приделе шла утреня, а он тут исповедовал, будто совсем беззвучно: у аналоя приклоненною головой выслушивал склоненную голову, потом накрывал её епитрахилью, крестил и отпускал. Исповедальников ждало несколько, и они проходили не быстро.

Впрочем, это так замечалось, ни к чему. Зинаида не нуждалась в исповеди, она и без неё себя читала ясно.

Если разбирать изнутри её жизни: она не лукавила, не измысливала никого обмануть и никому повредить. Она хотела только пройти свой естественный женский путь — имеет право она на него, как всякая?.. Она и не прошла его, она всего только начинала, начала, — но, Боже мой, как трудно оказывается и начать! Из юности выходишь такой свободной, лёгкой — и почему же сразу так трудно, путанно, почему все люди, судьбы — поперёк, и шагу не сделать, чтоб на ком-то не отозвалось, чтоб не толкнуть, чтоб — не через кого-то. Как же выбраться? Как же бы — опять с начала?

Да не хотела она никому вреда! Но почему каждый шаг жизни — по другим?

Нет, не каждый, напраслина. Перед одним — она ни в чём не была виновата, вот уж! *Ему*—она хотела лучшего, чем знал он сам. Она хотела открыть ему дар, которого он не знал, и так бы жизнь прожил. Читая его самодовольные откровенности, затая дыхание, всё вернее видела: одна она ему нужна! одна она откроет ему жизнь и довершит до полноты, а у него — ни полноты, ни разноты, а только расхожее низкое. А вот он — виноват: что попустительствовал, что отдавал, кто бы только взял её первый. Он — на всё и толкнул, и ещё теперь вчерашнее — поди прочь с твоей привязанностью, с твоими жертвами! — но и в отталкивании ложь, потому что если любит другую (да любил бы! да значит снизошла к нему милость! да не дорвался он любить!) — то зачем же заворачивал в Тамбов?

Ах, вот он, четвёртый, или пятый,— как с корнем дёрнули из неё изо всей! Как пожаром охватывает платье — и скинуть нельзя, и не скинуть нельзя, — пятый, вот он, прилип, прилился! Потому не пошла и к тётке: знала, как та ответит, но ответ ей нужен был *не такой*! Она искала получить ответ — задуманный.

И тут увидела, как отец Алоний, отпустив последнюю, обернулся сюда. Он обернулся — нет ли кого ещё, скользнул по пустой середине храма — и увидел её, и узнал, — и кивал пригласительно, так поняв, что она — к нему.

Но она не к нему!

Стоял и ждал — широколицый, прямой, такой основательный и простой, густоволнистые назад его волоса оставляли открытым крупный лоб, и под ним сияли глаза.

Поманил — и ждал.

Но она не к нему!

А он ждал и звал. Он так и понял, что она ещё борется со свежей смертью.

А, уж если пришла! Стоит — и ждёт. А — к кому ж она? А куда же?

Шаг, шаг, шаг! — пошла, незадуманно, незагаданно.

А там — ступеньки, не споткнуться, поднимаясь на клирос. И только видела — крупное, крупнолобое лицо с поощряющим взглядом, понизу обложенное тёмно-русой бородой.

И больше не успев заметить, разглядеть — уткнулась в аналой. Лбом к евангелию в тиснёном переплёте, и справа серебряное распятие.

Евангелие и распятие — стерегли её исповедь. А аналой — сейчас поняла: крутой подъём! крутой тяжёлый изволок — и этим изволоком надо выволакивать, выволакивать свою жизнь против тяжести и против трения.

В гимназии исповедь — прыснуть, смешок. Уже с размаху — епитрахиль на голову, отпускать. Снисходительные вопросы, предполагающие ребёнка, чуть ли не конфету из буфета, — «грешна, батюшка, грешна», и отпорхнула. А с тех пор — ни разу. И сейчас — ждала вопроса, и не дождалась.

Ждал — священник, невидимо нависая над нею. И лишённая поднять голову, посмотреть ему в глаза и говорить с ним как с человеком просто, как после панихиды, — она должна была отвечать существу высшему.

И хорошо, что не в глаза.

Да она и не видела его. Ни вообще человека ни одного. А — распятие только, из-под прижатого лба.

Никто не спрашивал её — и не на что было отвечать. Но — самой продираться через тьму.

Не хотела слушать ни тётку, ни её монашек, все слишком святые и не поймут, — а теперь говорить?

Говорить — но жгущего не сказать! Мыслями быстрыми провильнув, всё охватить (а что — пропустить). Для себя ты всё уже знаешь, что наделала, перебрано уже сто двадцать раз. А теперь единственный раз — но вырвать из своей спасительной попустительной немоты и вывести вслух наружу? Невозможно! (Всё — уже можно, но — кроме одного!)

Безвыходно. Но и безвыходно было одной в пустом доме. Безвыходно будет и куда ещё придёшь. На этот изволок близ распятия — как себя вытянуть? Человеку другому, чужому, — всё, что было, — н а з в а т ь? И не смягчая словами, не хитря? (Сделать — легче, чем назвать!) Где же горло взять, где дыхание? Просто вот так, без объяснения, без вступления, горлом сухо надтреснутым:

— Я — соблазнила женатого.

Уф, первый порог. Никакого порога: это всё уже прошлое. А — зачем?..

— Я... соблазнила его... собственно не любя... Любя — другого, а тут... Ну, просто... Ну, возраст пришёл... Ну, чувствам исход.

Хотя б вопрос над головою! Или — суждение, осуждение! Или звук сочувствия? Нет. Да слышат ли тебя?

— Я — заставила его открыться жене. И этим... думаю... разломала их жизнь... навсегда...

Второй порог. Свинцовая жизнь, как тебя вытягивать? Но с каждым назывом как будто и спадает что-то. Но ещё не всё, доказнить себя:

— Это — без цели, так, ни к чему... Я очень раскаиваюсь.

Неправда, цель была. Но не так же ясно, точно! Была... Наперёд знала, что расстанемся... Нет, не знала...

— С низкой целью. Оторвать его для себя... Нет, для самолюбия... Потому что другой не любил...

Как легко вдруг сказалось.

— А я — того — всю жизнь любила.

На любовь — как крыльями! А сама, по изволоку, на каждом грехе как через камень перекатываясь, — и носом вниз, и носом в землю:

— Потом я... скрывала беременность от матери. Придумала уехать в деревню. А мать — заболела, умирала... Я не приехала. Предала её... ради ребёнка...

Неправда, вильнула.

— Нет, из-за позора. От самолюбия.

Нет, это — как колодезной бы кошкой, три крюка в три стороны, — и надо там, на тёмном дне души, найти горячий камень, нащупать, подцепить, а он не цепляется, а он срывается, он семьдесят раз срывается, пока ты его бережно, как лучшее своё сокровище, движениями точными, ни дрогом не ошибясь — поднимешь, поднимешь, дотянешь, дотянешь — хвать! — и, пальцы обжигая, выкинула из души!

— Я — младенца покинула... для свидания... Как безумная... И он заболел без меня... и вот отчего умер.

Так и этот — вытягивала, вытягивала, вывалила наружу, не дыша. Труд — испотивающий, пот холодный на лбу.

Что теперь священник думает?.. Так жалел сокрушённую молодую мать...

Но заметила: каждый вываленный камень как будто уже и отделяется от неё — навсегда ли? нет ли? — и можно теперь хоть со стороны на него посмотреть, не в себе одной волоча.

Взглянуть на священника — она не подняла головы, она не смела, и никто так не делал до неё. Но не слыша от него ни звука, но вдруг с какого-то камня догадалась о незримом нависающем священнике: он — и не исповедует. Она — н е е м у исповедовалась! Он — только нужный свидетель.

Потому и трудно так, что: всё — сама. Потому и облегчение, что: всё — сама.

Облегчение — надолго ли? Разве сказанное слово перевесит вину, грех, зло?

Удивительно, непонятно, но: как выговоришь — так отваливается. Хоть — и пока.

А *простить* — кто ж это может всё простить такое? Кто другой человек может тебе отпустить? Сама и таскай, сама и трудись.

И в этом — движение. В живой груди всё сваленное — не может намертво остаться навсегда. Если бы всё так оставалось — мы бы тоже камни были.

Да что ж нависает он, молчит? Хотя бы помог вопросом, звуком, поощрением!

Но когда уже научаешься эти камни вытягивать крюком срывчатым — в сухом горле свободнеет речь и рассказ исповедный ускоряется. И сумятно спешишь выхватывать и называть свои предательства (свои! вот только что винила *его*, но это ложно!) — называть уже и по второму разу (а все оказались напрасны! все впустую! все не приняты!) — второй раз по этому месту — или это новое место — или это не второй раз? — да, второй раз предала! — уже не жизнь твою, а память свежую, неостывшую — ещё могилка не уряжена, будет ждать убора

до весны — а мысли мои о ком опять? — опять о нём, опять о нём! — вот почему побежала, между вспышками, безумея, уклоняясь, где б не обжечься, а то и прыгая через огонь, не зная прямой, которой и нет, и по той же калёной земле, жгут подошвы, возвращаясь на то же место, — мне пальцы сбивал, отстань, оторвись, — шесть лет о нём и опять о нём, — спалила сына и, траура не доносив, — вот он, пятый, наносится как смерч, — вот когда камня не вытянуть, пылает!! Сама обуглена, а вьётся неупускаемо, огненной змейкой: ещё зародить! от *него* — зародить! он этой радости не знал — *вместе!*

И что б сейчас священник ей ни возразил, ни запретил, простил-не простил, — она с ужасом видела, что обречена к *нему*.

Но — ещё снова от кого-то отталкивать? отбирать, отнимать? Нет шагов по земле — не по людям? По траве, по земле — нет шагов, не бывает?

И — как зыбка земная кора! Везде, под каждым шагом плавится! Нигде не пробежать, не провалясь!

А пока меж огнями металась — обронила крюк, ушатнулась от колодца — да не грохнулись камни все туда опять?! О, Боже, помоги! Ты видишь, я выбраться хочу! Я хочу перемениться! Но слишком много бед...

И куда докарабкалась на изволоке, там и сникла, виском о распятие, исчерпав свои малые силы, одночеловеческие.

Молчала.

И на голову ей легла тканая тяжесть, затемнив последнее, что ещё видела. И через ткань слышные касанья крестящей руки.

И голос — необыденный, способный вскинуться за тысячу грудей под купол, молить, страдать, каяться, — а сейчас негромкий, для неё одной, но и со всем тем подкупольным значением:

— Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия...

Она — всё своё выкрикнула, как ни ужасно, она всё своё сделала, она была и прижата, виском к распятию, и бездыханна. Но — другое Дыхание, но Дух — плавал над ней и трепетанием проникал в неё.

— ...да простит ти, чадо, вся согрешения твоя. И аз, недостойный иерей, властию Его, мне данною...

Он — не власть подчёркивал, но недостойность. Над её сокрушённым трудом он сокрушённо свидетельствовал о прощении.

— ...прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих...

Он так весо, глубоко выговаривал, будто знал и взвесил ещё много подробностей, ею не сказанных, и, всё оценив, — уверенно прощал однако.

Но сама Зинаида не так поняла, что всё прощено, забыто и кончено. А — что труд её был не напрасен.

Что сдвинуто с места — то не остаётся вовсе на прежнем.

Однако — был же и вопрос у неё. Или она, в прыжках от ожогов, не выразила?

Он снял епитрахиль — и она поспешно подняла освобождённую голову, взглянула на отца Алония.

Увидела взгляд его прямой, лицо прямое, лобастое, твёрдое, безлукавое, — он понял вопрос её, понял, не скрывал.

Но — разведёнными твёрдыми пальцами снова наклонил её голову, не тяжко, но властно.

Не сразу поняла: к евангелию.

Поцеловала древне-бордовый переплёт с полустёртым рельефом рисунка.

Не покидая водительствовать пальцами — передвинул её голову к распятию.

Прильнула к его серебру.

И снова вскинула голову со своим неостывшим вопросом.

С непроливаемой влагой смотрели глаза отца Алония.

Он — сказал своё обязательное, он — не должен был говорить больше. Но она ждала, вскинутая, ещё отдельное что-то для себя.

Шевельнулись крупные губы его из темно-русой поросли:

— В каждого из нас заложено таинство большее, чем мы предполагаем. И в общении с Богом доступно нам его разглядеть. Научись молиться. Истинно, ты сможешь.

Но ещё пока она не умела! И это не был для неё ответ.

Со скорбным сочувствием смотрели его серые глаза. И он не уклонился продолжить:

— Нет в мире болей больнее семейных, струпья от них — на самом сердце. Пока мы живы — наш удел земной. Редко можно за другого определить: «вот так — делай, вот так — не делай». Как велеть тебе «не люби», если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой.

1971 — 1973 — Подмосковье
1975 — Нагорье Цюриха
1979 — 1981 — Вермонт

ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

Читать Александра Солженицына!

I

ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПЕРЕСТРОЙКЕ

Мне довелось недавно составить такую работу — своего рода путеводитель по Солженицыну. Исходит он из признания автора в «Теленке»: «Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости, какой-то высший вселенский смысл в цепи русских бед, — я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл привык с тюремных лет ощущать... Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, — и всегда меня поправляло Нечто» (Т, с. 126).

В итоге же обозрения духовного пути писателя приводит к выводу о том, что названное вначале «Нечто» ясно обретает лицо и имя, становясь не только «Что», но и «Кто», а «путеводитель» со строчной буквы превращается в Путеводителя с прописной — ибо это не кто иной, как тот Сын Человеческий, который сказал следующим за ним: «Я есмь путь, истина и жизнь» (Ин. 14 : 6).

Сегодня из всех чудесных неслучайных «случайностей» солженицынского творчества представляется уместным коротко сказать о последней в ряду. С 1983 года он почти прекращает публичные выступления и как будто бы целиком уходит прочь от современности к повествованию о начале века «Красное Колесо». И вот в 1988 году выходит окончание его третьего Узла, посвящённого Февральской революции — как раз тогда, когда эти, казалось бы, давно минувшие дела становятся нам на Родине насущно необходимо вспомнить.

Приведу лишь несколько основных положений из разных книг Александра Исаевича, изданных до 1985 года, но как бы нарочно ложащихся в строку о нынешней действительности.

«Скоро, скоро наступит в России эра гласности!» — восклицает автор на последних страницах «Архипелага ГУЛАГ» (т. VII, с. 500), несколько ранее задавая еще вопрос: «Что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами? А — обрушится, ведь не миновать» (V, 291).

Задолго до принятия на казённую службу, а потому и несуетно заговорил писатель также о другом слове, ставшем девизом нынешнего правления: «Весь «бесконечный прогресс» оказался безумным напряжённым, нерассчитанным рывком человечества в тупик... И не «конвергенция» ждёт нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, и Востока» (IX, 144). Это уже из «Письма вождям Советского Союза» 1973-го года, о котором автор в 1979-м году дополнительно пояснил: «Главное в «Письме вождям» не названо, а подразумевается... я обращался, собственно, не к этим вождям. Я пытался прометить путь, который бы мог быть принят другими вождями, вместо этих. Которые внезапно бы пришли вместо них» (X, 370).

Вот что писал Солженицын будущим вождям страны: «Напомню, что Советы, давшие название нашему строю... никак не зависели от Идеологии... Ни обязательно предполагали широчайший совет всех, кто трудится» (IX, 164). О

том же говорил он и Твардовскому: «Термин «советская власть» стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, только их одних, свободно ими избранную и свободно ими контролируемую. Я — руками и ногами за такую власть!» (Т, 174).

И далее, вновь ко грядущим руководителям: «Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замышлять о судьбах других полушарий, от этого надо отказаться навек, это наверняка всё лопнет, другие полушария и теплые океаны будут развиваться все равно без нас... Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока — ...и никаких всемирно-исторических завоеваний и придуманных интернациональных задач... Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать вас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть, за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии... ведь это всё будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России» (IX, 164—166).

В первую голову заботит писатели судьба переходной поры: «Если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю — может быть следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто еще не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным» (IX, 42).

Размышляя об уроках свободы, он спрашивает: «Какая опасность страшней: внешний ли гнет по захвату или внутренний распад по несогласию? О себе скажу: под первым я никогда не терял бодрости, второй привёл меня... в уныние» (IX, 186). И поэтому предлагает, что если уж менять однопартийную систему, но не в сторону безудержного разрастания рассекающей общество партийности — ведь слово «партия» ведет происхождение от латинского «делю, разделяю», — а в направлении строго обратном, для упразднения всякого раскола в народе.

Нужно с горечью признать, что названные Солженицыным загодя главные опасности времени перехода уже во многом сбываются. Вот как предупреждал он, например, в связи с выходом в 1974 году сборника «Из-под глыб»: «Нашу страну уже нельзя поджечь классовой ненавистью — столько пролито крови, и так уже обанкротилась теория классовой борьбы... — но национальной ненавистью.. поджечь очень легко, она почти наготове к этому самовоспламенению; и поэтому наши заботы должны быть направлены к тому, как острейшую эту национальную проблему — особенно острую в СССР, не допустить до взрыва, не допустить до пожара, избежать междунациональных столкновений» (X, 98).

О другой опасности он не устает повторять в споре с теми, кого называет «плюралистами» — то есть сторонниками множественности идей ради самого множества, а не с целью поиска истины, упрекая их: «Ни одного реального предложения, кроме «всеобщих прав человека». А — переходный период? Любую из западных систем — **как** именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов?..) и — **кто** это будет делать? с чьей санкции и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасёт людей от резни?.. Вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти... силы тоже выйдут на поверхность, — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымираньи мы услышим их тысячекратный рев, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах... — и разгрохают наши останки в ещё одном Феврале, в ещё одном развале...»

Вновь и вновь указывает он на ни с чем не сравнимый урок недавней истории: «Тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспомнить в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в ее новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед её судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную триску, а устойчивость» («Вестник РХД», № 139, 1983, с. 133—154). «...Повторение Февраля было бы уже непоправимой катастрофой. И важно, чтоб это поняли все, прежде чем у нас начнутся какие-нибудь государственные изменения. Так вот и получилось, что моя историческая работа о Феврале... настолько опоздала, что уже снова стала актуальной» (X, 355—358).

И наконец единственное высказывание из нынешней поры — завершающие слова статьи в последнем номере «Вестника РХД», посвященной сравнению двух грозных революций — Французской и Российской: «Приоткрывает нам большая революция и такие глубины бытия, которые сомнительно назвать просто физическими. И которые доныне усвояиваются лишь немногими» («ВРХД», № 153, 1988, с. 170).

II
ТРИ ТОВАРИЩА

Еще несколько слов о событиях текущего дня. Совсем недавно широко распространился слух, что несколькими деятелями — называли даже число: 19 — направлено было «наверх» письмо против печатания Солженицына на Родине, ставшее причиной нового на него запрета. Кто это может быть и зачем оно понадобилось?

Пока сия бумага не обнародована, к сожалению, можно лишь строить догадки. Вот, например, в «Огоньке» М. Шатров неверно называет книгу «Ленин в Цюрихе» повестью; и тут же оговаривается, что бороться с идеями Солженицына нужно пером. А вскоре чиновник со Старой площади повторяет в точности ту же ошибку (именует эту «сплотку глав», полностью вошедших в вышедшие уже тома «Красного Колеса» и потому на отдельное издание никак уже более не рассчитанных, опять-таки «повестью»), добавляя, что и все его произведения вообще издавать не следует. Значит, кто-то действительно решил побороть Солженицына «пером» — примерно так, как воевал против «Памяти» показанный на всю страну провокатор Норинский, то есть посредством подметных писем.

Или такой любопытный предмет для размышлений: в издаваемой херсонским комсомолом газете «Ленинский прапор» появилась беседа с главой «Огонька» В. Коротичем, где он величает Александра Исаевича «колоссальным русским шовинистом», коего-де пока еще не «чепляют», но уже скоро будут.

Однако вплоть до открытого выяснения все-таки называть прямо имен не будем, потому что куда полезней взглянуть на общее выражение лиц этих «товарищей»: оно-то как раз рисуется вполне отчетливо.

Ибо само слово «товарищ» обозначало прежде заместителя — министра, директора департамента или какого-то иного начальника. Затем оно пришло на замену «господину», ведшему род от самого Господа Бога. И со временем замещение стало играть все большую роль. Скажем, надпись «гастроном» заменяет подлинное имя лавки, где не только что любителю гастрономии, а и простому покупателю часто нечего взять съестного; а «бар» с недавних пор подменяет заведение, где нечего выпить, — и тому подобное. Есть «заместители» и у Солженицына — и вот они-то и не могут не испытывать к нему живейшего рода зависти. Пример прошлого поколения на слуху — Борис Дьяков, со старательностью подстроивший свою повесть из жизни лагерных «придурков» под «Ивана Денисовича», а затем бурно приветствовавший «от лица всех невинно-пострадавших» изгнание Нобелевского лауреата из страны. В печати появились наконец сведения о том, что он сам добровольно вступил в сексоты и погубил не одну жизнь.

Естественно, что и последующим поколениям «заместителей» возможность появления в нашей печати Солженицына — просто кость поперек горла. Следует еще в этой связи припомнить — расширяя понятие «замещения» до онтологической глубины, что и слово «антихрист» точнее переводится не как «противник Христа», а как «вместо-Христос», занимающий не по достоинству его место, или опять-таки «зам».

Напоследок обратим внимание еще на одного сочинителя, имя которого назовем после названий изданных им трудов. Начинал он как раз в пору появления «Одного дня» с написанной в соавторстве брошюры «Семилетка и снижение себестоимости промышленной продукции». Но более всего развернулся в 1980-е — как раз когда Солженицын начал том за томом выпускать в свет восемь книг «Красного Колеса». В ответ наш автор выпускает несколько изводов главного своего сочинения по имени «Развитой социализм: вопросы формирования общественного сознания» — сперва по-русски, а в 1981-м даже по-испански и по-французски, но только здесь же в Москве, в «Прогрессе». За ним появились еще сборники «26 съезд и дальнейшее развитие марксистско-ленинской теории», «26 съезд и актуальные проблемы теории и практики коммунистического строительства» и т. д.

И вот два месяца назад он становится наконец заместителем первого в государстве лица по духовной части, своего рода архипрорабом духа. А вскоре объявляет удивленному миру — впрочем, внешнему, ну и еще прибалтийскому, для всего прочего «простого» населения это не было распечатано, что Солженицына издавать на Родине никак не следует. Фамилия этого автора — Медведев, — однако это не брат Рой, и не брат Жорес. Как говорится, «не родственник и даже не однофамилец» по имени Вадим Андреевич.

Так возникает своеобразно даже художественно - выразительная цепь из трех «замов», сидя на одной и той же должности, последовательно руководивших запретом на печатание Солженицына.

Первый про-раб духа состоял при Хрущеве и звался Фрол Козлов. Второго, так сказать, про-раб любви при Брежневе величали Михаил Суслов. И вот теперь новый преемник, прораб развитого застоя...

Итого «три товарища»: Козлов, Суслов и Медведев.

Но не будем переходить на личности, а лучше подойдем сразу к сути и спросим: до каких же пор будет продолжаться это про-рабство; доколе про-рабья стая будет решать за нас — читать нам великого русского писателя или не читать?! Настало время с этим безобразием покончить, и покончить не в светлом туманном будущем, а сегодня, — ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

ПОЭЗИЯ

Отечественный архив

НИКОЛАЙ РУБЦОВ



ОТ РЕДАКЦИИ

Замечательный русский поэт Николай Рубцов родился 3 января 1936 года, погиб 19 января 1971 года. К знаменательным датам приурочена подборка неизвестных и малоизвестных произведений поэта с предисловием Вадима Кожинова и послесловием Вячеслава Белкова. Поскольку по техническим причинам журнал поступает к читателям с опозданием, мы помещаем эти материалы в декабрьском номере.

Первые восемь стихотворений печатаются по текстам из архива В. Кожинова. Все остальные стихи, прозаические отрывки, заметки предоставлены вологодским исследователем творчества Николая Рубцова Вячеславом Белковым.

ЧУДО НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Николай Рубцов... Это имя с середины 1970-х годов обрело широчайшее звучание, и если вдуматься, такое утверждение современного поэта в душах миллионов людей предстанет как нечто удивительное, даже как некое чудо (критика, кстати сказать, не раз уже обращала внимание на это чудо).

Дело в том, что в последние лет тридцать широкая известность автора стихотворных произведений могла быть достигнута только с помощью каких-то «дополнительных» средств — подчеркнуто острой, сенсационной тематикой стихов, их многократного рекламирования по телевидению и радио, исполнения их в виде песен (что способно резко усилить воздействие стиха) и т. д. Применение этих дополнительных средств часто сочеталось, и именно так завоевали свою громадную популярность Евтушенко, Рождественский, Окуджава, Высоцкий, Вознесенский, которые в 1960—1970 годах в этом отношении далеко «обогнали» своих несоизмеримо более значительных современников, — таких, как Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Твардовский, Смеляков, Тряпкин, Слуцкий, Межиров, Казанцев...

Одна из основных причин здесь в том, что истинная поэзия требует от того, кто ее воспринимает, духовной активности, в конце концов, сотворчества, а сочинявшееся и затем исполнявшееся Евтушенко и другими воспринималось совершенно пассивно, без какого-либо духовного труда и порыва, ибо в сущности перед нами и не поэты в собственном смысле слова, а представители своеобразного эстрадного жанра (который, конечно, может быть по-своему важным и нужным).

С поэзией Николая Рубцова все совершилось прямо противоположным образом: не она теми или иным способом навязала, «сыдсла» себя людям, но сами люди брали, присваивали ее себе. Эта поэзия стала издаваться большими тиражами и зазвучала по телевидению и радио только к концу 1970-х годов, уже после того, как она обрела широкое признание в народе. И сам поэт не принимал в этом никакого участия, ибо он давно уже спал вечным сном на кладбище под Вологдой...

Но тот, кто возьмет в руки вышедшую в 1983 году в Архангельске книгу «Воспоминания о Рубцове», узнает: в жизни поэта был краткий период, когда перед ним раскрылся соблазн «эстрадности». Его питерский друг Борис Тайгин вспоминает, как в самом начале 1962 года в зале Ленинградского Дома писателей Николай Рубцов «громко и отчетливо» читал свои юмористические стихи, которые «насквозь были пропитаны юмором, одновременно веселым и мрачным», вызывая «смех, веселое оживление... шумные аплодисменты после каждого стихотворения. «Читай еще, парень!» — кричали с мест. И... долго не давали уйти со сцены».

Но именно с этого, 1962 года, Николай Рубцов вступил на иной путь, не соблазнившись легкой славой. Осенью 1962 года он сказал (в стихотворении «Пусть поют поэты»):

> ...Так много шума.
> А хочется речи
> Простой, человечьей...

Я познакомился с ним в конце того же года, и не помню случая, чтобы он изъявил какое-либо пристрастие к «эстраде», хотя в то же время он любил прочитать или даже напеть свои стихотворения в тесном дружеском кругу. (Мой подробный рассказ об этом см. в кн. «Воспоминания о Рубцове».)

Да, ровно ничего, ни одного жеста не сделал Николай Рубцов специально для славы, но слава сама осенила его поэзию. И это рождает радость и надежду: в пору засилья «масскульта» миллионы людей смогли расслышать и принять в глубину своих душ ничем не «усиленный» голос поэта...

Ниже публикуются по сохранившимся у меня рукописям и магнитофонным записям стихотворения Николая Рубцова, которые ранее либо вообще не печатались по «цензурным» соображениям, либо печатались в урезанном виде. В большинстве своем это ранние стихи, написанные двадцатилетним или даже восемнадцатилетним юношей. Некоторые из них, наверное, пригодились бы для «эстрады». Но Николай Рубцов — поэт, в наследии которого дорого и интересно все. И я не сомневаюсь, что большинство читателей разделит это мое убеждение.*

Вадим КОЖИНОВ.

* Таково стихотворение «Осенняя песня», навеянное воспоминаниями о жизни в Архангельске в 1952—1954 гг. (будущий поэт работал здесь кочегаром на рыболовецком судне).

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗАИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ. ЗАМЕТКИ

Осенняя песня

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался милицейский свисток.

Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлевских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.

Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!
На тревожной земле, в этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.

А последние листья вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил...

1962

На кладбище

Неужели
одна суета
Был мятеж героических сил
И забвением рухнут лета
На сиротские звезды могил?

Сталин что-то по пьянке сказал —
И раздался винтовочный залп!
Сталин что-то с похмелья сказал —
Гимны пел митингующий зал!

Сталин умер. Его уже нет.
Что же делать — себе говорю,—
Чтоб над родиной жидкий рассвет
Стал похож на большую зарю?

Я пойду по угрюмой тропе,
Чтоб запомнить рыданье пурги
И рожденные в долгой борьбе
Сиротливые звезды могил.

Я пойду поклониться полям...
Может, лучше не думать про все,
А уйти, из берданки паля,
На охоту,
в окрестности сел...

1960

Уборщица рабочего общежития

Пришла, прошлась по туалету
Стара, болезненно-бледна.
Нигде глазам отрады нету,
Как будто здесь была война!
Опять какая-то зараза
Сходила мимо унитаза!
Окурки, пробки, грязь... О, боже,
За что казнишь меня, за что же!
В ребятах тоже
нет веселья!
Улыбки сонно ей даря,
Еще качаются с похмелья,
Отметив праздник Октября!

1959

* * *

Ползает ручей в зеленой траве,
Скучный ручей, незвонкий...
Мысли перепутались в голове
От выпитой самогонки...
Я жизнь
за силу ее
люблю,
Но нет для души раздолья.
Чувство от чувства не отделю,
Радость смешана с болью!
От детских грез
я давно отвык,
И нет утешенья в лире.
Как узнать,
из чего я возник
И для чего предназначен в мире?
И почему это ползает по траве
Вот этот ручей незвонкий?
...Все перепуталось в голове
От выпитой самогонки!

1957

* * *

Перед большой толпой народной
Я речь на площади держал!
Очнулся в камере холодной,
Со мною рядом друг лежал.
За что! Я спорил с капитаном!
Но верный друг, повесив нос,
Сказал: — Не спорь!
Пока наганом
Он речь свою не произнес!

* * *

Сакс фокс рубал, дрожал пол
От сумасшедших ног.
Чувак прохилял
в коктейль-холл
И заказал рок.

Лицом был чувак ал,
Над бровью — волос клок.
Чувиху чувак позвал,
И начал лабать рок.

Чувиха была пьяна.
И в-бешенстве лабы той
Вся изошла она
Истомою половой.

Под юбкой парок дымил,
И мокла капрона нить,
На морде написан был
Девиз: «Торопитесь жить!»...

Зубами стиляг сверкал
Коктейль-холл,
Сакс фокс рубал,
Дрожал пол...

1957

Праздник в поселке

Сколько водки выпито!
Сколько стекол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!
Чьи-то дети плакали,
Где-то финки звякали...

Эх, сивуха сивая!
Жизнь была... красивая!

Ленинградская обл.,
поселок Невская Дубровка. 1959.

Морские выходки

Я жил в гостях у брата.
Пока велись деньжата,
Все было хорошо.
Когда мне стало туго,
Не оказалось друга,
Который бы помог.

Пришел я с просьбой к брату.
Но брат свою зарплату
Еще не получил.
Не стал я ждать получку,
Уехал на толкучку
И продал брюки клеш.

Купил в буфете водку
И сразу вылил в глотку
Стакана полтора.
Потом в другом буфете
Дружка случайно встретил
И выпил с ним еще.

Сквозь шум трамвайных станций
Я укатил на танцы
И был ошеломлен:
На сумасшедшем круге
Сменяли буги-вуги
Ужасный рок-н-ролл.

Сперва в толпе столичной
Я вел себя прилично,
А после поднял шум.
В танцующей ватаге
Какому-то стиляге
Ударил между глаз.

И при фонарном свете
Очнулся я в кювете
С поломанным ребром.
На лбу болела шишка,
И я подумал: — Крышка!
Не буду больше пить!

Но время пролетело,
Поет душа и тело.
Я полон новых сил.
Хочу толкнуть за гроши
Вторые брюки-клеши,
В которых я хожу.

Ленинградская область, пос. Приютино.
1957

Да, умру я...

Да! Умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана в лоб!

...Может быть,
Гробовщик толковый
Смастерит мне хороший гроб.
А на что мне
Хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!..

Жалкий след мой
Будет затоптан
Башмаками других бродяг.
И останется все,
Как было,
На земле, не для всех родной.
Будет так же
Светить Светило
На заплеванный шар земной!

1954. Ташкент.

* * *

На душе
соловьиною трелью
Не звените, далекие дни!
Тихий дом,
занесенный метелью,
Не мани ты меня, не мани!

Неужели так сердце устало,
Что пора повернуть и уйти?
Мне ведь так еще мало, так мало,
Даже нету еще двадцати...

Жеребенок

Он увидал меня
и замер,
Смешной и добрый,
как божок.
Я повалил его на травку
На чистый, солнечный
лужок!

И долго, долго,
как попало,
На животе, на голове,
С восторгом, с хохотом
и ржаньем
Мы кувыркались
по траве...

* * *

Не надо, не надо, не надо,
Не надо нам скорби давно!
Пусть будут река и прохлада,
Пусть будут еда и вино,
Пусть Вологда будет родная
Стоять нерушимо, как есть,

Пусть Тотьма, тревоги не зная,
Хранит свою ласку и честь.
Болгария пусть расцветает
И любит чудесную Русь,
Пусть школьник поэтов читает
И знает стихи наизусть.

* * *

Снуют. Считают рублики.
Спешат в свои дома.
И нету дела публике,
что я схожу с ума!
Не знаю, чем он кончится,—

запутавшийся путь,
но так порою хочется
ножом...
куда-нибудь!

1957

Почему не повезло?

Почему мне так не повезло?
По волнам, давно уже усталый,
Разгонюсь — забуду про весло,
И тотчас швырнет меня на скалы!

Почему мне так не повезло?
Над моей счастливою любовью
Вдруг мелькнуло черное крыло,
И прошла любовь с глубокой
болью.

Почему мне так не повезло?
Все, трудясь, живут себе
в надежде,

Мне ж мое глухое ремесло
Не приносит радости, как прежде.

Почему мне так не повезло?
По ночам душе бывает страшно.
Оттого, что сам себе назло
Много лет провел я бесшабашно.

Почему мне так не повезло?
Все же я, своей не веря драме,
Вновь стремлюсь, хватаясь за весло,
В океан, волнуемый ветрами.

✦✦✦

После вечеринки

(ШУТКА)

При шумных звуках торжества,
В студенческой столовке
Кидал я пьяные слова,
Как будто поллитровки!

А утром вижу — мать моя! —
Печально свесив ножки,
Сидят на стульях друзья
И доживают крошки.

Хотелось лица всем умыть,
Всех обласкать глазами,

Всех напоить и накормить,
И сдать за них экзамен!

И подарить за них духи
Девчонкам, если нужно,
И написать за них стихи,—
Учитесь только дружно!

Нам силы хватит лет на сто!
За всех — за нас и предков —
Еще мы выпьем! И на стол
Стакан поставим крепко!

На чужой гулянке

До последней темноты
Носимся, как танки!
Не вернемся — я и ты —
С этой погулянки!

Добрый гость, я не бандит,
Я — в дыму дурмана.
Но меня не пощадят
Ревность атамана!

Станут финками колоть,
Набегут бульдоги,—
Голова, как спелый плод,
Скатится под ноги!

Или просто — на снежок,
Болтанув ногами,
Тело рухнет, как мешок
С глупыми стихами!

В лагерях мои враги
Будут не впервые
Слезы лить, как батоги,
Длинные и злые!

До последней темноты
Вой гармошки!
Все ребята — как коты,
А девки — как кошки...

* * *

Вот возьму
И стану мегким!
Или опрометчивым.
И однажды
В дом к соседке
Вдруг нагряну
Вечером!

Мол, давай-ка
Мы попроще
Рядыщком сядем?

Мол, давай
Ты будешь тещей,
А я тебе
Зятем?
Загуляет под
Бандуру
Все село угрюмое...
Голова моя —
Не дура:
Что-нибудь да
Думает!

* * *

Бывало, вырядимся с шиком
В костюмы, в шляпы — и айда!
Любой красотке с гордым ликом
Смотреть на нас приятно, да!

Вина веселенький бочонок,
Как чудо, сразу окружен,
Мы пьем за ласковых девчонок,
А кто постарше, те — за жен!

Ах, сколько их в кустах и в дюнах,
У белых мраморных колонн,
Мужчин, взволнованных и юных,
А сколько женщин! Миллион!

У всех дворцов, у всех избушек
Кишит портовый праздный люд!
Гремит оркестр! Палят из пушек —
Дают над городом салют!

* * *

А. Романову

Романов понимающе глядит,
А мы коньяк заказываем с кофе,
И вертится планета и летит
К своей неотвратимой катастрофе...

С любовью
Н. Рубцов.

Золотой ключик

Шел первый год войны. Моя мать лежала в больнице. Старшая сестра, поднимаясь задолго до рассвета, целыми днями стояла е очередях за хлебом, а я после бомбежек с большим увлечением искал во дворе осколки и если находил, то гордился ими и хвастался. Часто я уходил в безлюдную глубину сада возле нашего дома, где полюбился мне один удивительно красивый алый цветок. Я трогал его, поливал и ухаживал за ним, всячески, как только умел. Об этом моем занятии знал только мой брат, который был на несколько лет старше меня. Однажды он пришел ко мне в сад и сказал: — Пойдем в кино. — Какое кино? — спросил я.

— «Золотой ключик», — ответил он. — Пойдем, — сказал я. Мы посмотрели кино «Золотой ключик», в котором было так много интересного, и, счастливые, возвращались домой. Возле калитки нашего дома нас остановила соседка и сказала: «А ваша мама умерла». У нее на глазах показались слезы. Брат мой заплакал тоже и сказал мне, чтоб я шел домой. Я ничего не понял тогда, что такое случилось, но сердце мое содрогнулось. И теперь часто вспоминаю я то кино «Золотой ключик», тот аленький цветок и соседку, которая сказала: «А ваша мама умерла...».

Дикий лук

Давно это было. За Прилуцким монастырем, на берегу реки собрались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, брат и я, еще ничего не понимвющий толком. День был яркий, солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки искали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик: — Держите его! Держите его!.. И — тотчас я увидел, что мимо иас, тяжело дыша, не оглядываясь, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще двое.

— Держите его!

Отец мой быстро выплыл из воды и, в чем был, тоже побежал за неизвестным. — Стой! — закричал он. — Стой! Стой! — Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него никакого не было, крикнул вдруг: — Стой! Стрелять буду!— Неизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег и пошел медленным шагом... Все это поразило меня, и впервые на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревожно и грустно. Но... давно это было.

О гениальности

Не только Россия богата талантами. Очень богата была поэтами Франция. Один из них, например, Верлен. Рембо еще был, Бодлер. Верлен совершенно почти ничего не написал. Но он написал одно прекрасное стихотворение, которое называется «Осенняя песня», которая, кстати, слабее моей. И его назвали гениальным поэтом. И еще один был гениальный поэт Рембо. Он написал всего-навсего восемнадцать стихотворений. И каждое из них гениальное. Всего-то книжечка маленькая. Брошюра.

Опять оставляю экскурс во французскую поэзию. Перехожу к русской. Тютчев. Он прожил долгую, такую прекрасную, плодотворную жизнь. Он за 72 года своей жизни написал всего двести стихотворений. И все шедевры. До одного. Шедевры лирические: «Есть в осени первоначальной», «Зима недаром злится», «Люблю грозу»... И несколько стихов политического содержания. Стихов очень сильных. У Тютчева даже политического содержания стихи полны смысла, силы мысли, поэтического могущества. И недаром Ленин, когда ездил, нередко брал с собой томик Тютчева. А вот один из наших современников, поэт политического момента, издал недавно книжку стихов в двадцать печатных листов, что редко когда-либо издавал какой-либо поэт настоящий. Но это были скромные поэты, е этот никогда не был скромным, бог его обидел... скромностью. Его стихи совершенно не идут в сравнение с теми, которые написал Тютчев на политические темы, которые живы и сейчас..

Вот и гениальность. Я ведь не говорю, что гением может быть только поэт. Каждый человек должен делать свое дело. Быть мастером в своем деле.

Моя библия

«Евгения Онегина» я считаю своей библией. Писарев разгромил Пушкина. Он написал: «Вот мы говорим: Байрон, Гете, Данте. Пушкин не только не может вставить слово в разговор этих важных господ, но он даже не сможет понять, о чем беседуют эти великие господа». После этого тридцать лет было молчание вокруг имени Пушкина, даже после выступления Достоевского на открытии памятника Пушкину в 1880 году.

И что же? К Пушкину приходят все великие мира сего, все культурные люди, чтобы поклониться этому гению русской культуры.

А что Писарев?..

Сегодияшняи публикация неизвестиых и малоизвестных произведений Николая Михайловича Рубцова (1936 — 1971) как бы продолжает две другие крупные посмертные публикации поэта. Я имею в виду «Суровый берег» (подборка опубликована ровно десять лет назад — «Наш современник», 1981, № 12) и мою публикацию под ваголовком «Эх, Русь, Россия!..» в журнале «Волга» — 1988, № 11.

Кроме того, некоторые стихи Рубцова были впервые опублнкованы в последнее время в альманахах, тонких журналах, или прямо попадали в книги «избранных» произведений поэта. Слово «избранных» беру в кавычки, потому что в эти сборники входили почти все известные иа то времи стихи, кроме вариантов.

Можно сказать, что сейчас, спустя 20 лет после смерти выдающегося поэта, опубликовано почти всё его творческое наследие. Дополнения вовможиы только в жаире эпистолярном и, может быть, в художествеиной прозе. Во всяком случае, мне удалось разыскать один след — две страницы из прозаической повести, которая, похоже, принадлежит перу Николая Рубцова.

О содержании журнальных публикаций «Суровый берег» и «Эх, Русь, Россия!..» говорят уже сами их названия. В первой — ранние «моряцкие» стихи. Во второй — упор сделаи на стихи о больной родиие, стихи, в которых более-менее открыто выражена общественная позиция поэта. Рядом с неизвестными ранее стихотворениями в «Волге» были опубликованы и некоторые варианты известных. Например, вариаит стихотворения «Загородил мою дорогу...» Вот его финальная часть:

Давно в гробу цари и боги!
И дело в том — наверняка, —
что с треском нынче демагоги
летят из Главков и ЦэКа!

Эти строки ждали публикации почти 25 лет! И опять оказались актуальными...

Предлагаю вниманию читателей еще несколько стихотвореиий и заметок Рубцова. Часть из них публикуется впервые (они приведеиы здесь по архиву поэта в Вологде и по машинописному сборнику «Волны и скалы» 1962 года), часть публиковалась только в вологодских газетах и широкому читателю не известна. Публикуемые стихи, в основном ранние, оказались «забытыми» по двум причинам: из-за некоторых вольностей в их содержании и потому, что сам поэт мог считать их не вполне совершенными.

Но мне уже трудно представить, например, что я мог не знать отличного стихотворения «На чужой гулянке».

До последней темноты
Носимся, как танки!
Не вернемся — я и ты —
С этой погулянки!..

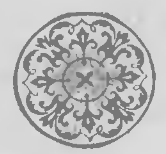
Тут интересная смесь молодежного жаргона («как танки») и народной речи («погулянка»). Великолепный, подслушанный в живом разговоре юмор — «Слезы лить, как батоги, длинные и злые!..» В середине стихотворения Рубцов открыто перекликается с Есениным: «Голова, как спелый плод, скатится под ноги!..» А в конце автор находит свежую интонацию — вроде бы и фольклорную, но и по-современному отрывистую:

До последней темноты
Вой гармошки!
Все ребята — как коты,
А девки — как кошки...

А вообще-то публикуемые сегодня стихи не нуждаются в особом и подробном комментарии. О прозе же надо сказать хотя бы коротко. Заметки «Золотой ключик» и «Дикий лук» написаны поэтом в последние годы жизни, а опубликованы в газете «Красный Север» сравнительно недавно. Тексты «О гениальности» и «Моя библия» могут вызвать вопросы и возражения. Но это, собственно говоря, магнитофонные записи, они отрывочны и взяты из общей беседы. Записи были сделаны в 1970 году, а впервые опубликованы в 1986 году (газета «Вологодский комсомолец», публикация А. Шилова). Если бы Рубцов мог, то многое бы, видимо, уточнил в этих устных высказываниях. Поэтому любое толкование названных текстов предполагает осторожность и доброжелательность.

Публикуемые стихи Николая Рубцова показывают между прочим, как рано проявился в нем мастер. Показывают истоки одной из самых ярких поэтических судеб нашего века.

Вячеслав БЕЛКОВ.
г. Вологда



ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

РОССИЯ ДОЛЖНА ИГРАТЬ БЕЛЫМИ

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРНЫХ НРАВОВ

Десятилетиями осуществлялась денационализация России. Выбивалось последовательно, слой за слоем, все здоровое, все пассионарно сильное, уничтожалось русское духовное начало. Однако почему и сегодня нас, уже слабых, уже истощенных, уже полувыбитых, так боятся? Какая же в нашем народе мощная, значит, сила имеется? Давайте же подумаем, как восстановить свое духовное, нравственное здоровье?

...Сегодня нами пытаются руководить все те же, кто блестяще проводил политику застоя. Исключительно все «прорабы перестройки» из брежневской элиты, почти нет новых людей, новых лидеров.

Более того, я не понимаю, почему люди, у которых почти все родственники были расстреляны или репрессированы, как, к примеру, у Михаила Шатрова, с какой-то патологией рвутся во все те же партийные коридоры, призывают к новым революционным переворотам. Жажда реванша? Или мало крови было с 1917 года?

В противовес этим левым якобы либералам нам не надо поклоняться партийным функционерам старого или нового образца. Мы должны опереться на тех вольных россиян, для которых Отечество выше идеологии, которые не собираются идти сейчас под новое революционное ярмо. На людей, заинтересованных в возрождении России. Хватит заниматься пустой перебранкой. Сколько времени мы будем упиваться успехами среди единомышленников, чувствуя себя победителями в кругу друзей? За пять с лишним лет перестройки можно было проверить не одну социально-экономическую программу в действии, излечиться от многих социальных болезней общества. Мы упустили эти пять лет. В итоге сегодня многие россияне вновь пошли за демагогами и разрушителями. Россия опять, как и в семнадцатом году, встает с левой ноги. Плоховатая примета. Значит, и период сейчас нас всех ожидает муторный, переменчиво-апрельский. Одна надежда на тютчевскую очистительную «грозу в начале мая». Но в отличие от времен года, которые неумолимо чередуются, несмотря на все решения Политбюро, наш очистительный май зависит от нас самих. Его может и не быть... А будет тотальное наступление на возрождающуюся российскую национальную стихию. Будет новый поток политзаключенных по семьдесят четвертой статье. Наши оппоненты еще не пришли к власти, а уже в конце 1989 года Верховный суд увеличил срок по семьдесят четвертой статье до сталинских десяти лет. Почему-то нашим левым всегда нравится эта магическая тюремная десятка. При царе они получали сроки куда более укороченные. Не знаю, как сейчас пишется писателю-гуманисту Анатолию Курчаткину: во многом благодаря его усилиям эта зловещая — из-за своей расплывчатости и неконкретности — статья начала свой победный путь по России. Уже «Литературная газета» — наш писательский голос, голос гуманизма — радостно, аршинными буквами сообщает читателю: «Наконец заработала 74-я». Убийцам ныне дают по семь-восемь лет, а за неосторожное высказывание (или за превратно истолкованное судьей, чему есть уже примеры) получишь сталинскую десятку. Не оскудеет при «демократах» архипелаг ГУЛАГ... Вот, к примеру, выписка из прокурорского Предостережения, подписанного старшим помощником прокурора Ленинграда, старшим советником юстиции И. В. Катуковой: «Принял активное участие в несанкционированном митинге-пикетировании с плакатами, содержание которых при определенных условиях может способствовать разжиганию национальной розни... можете быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 74 УК РСФСР».

Вы слышите, правозащитники, хельсинкская группа?! Обратите внимание, либералы и демократы — куда вас послушно ведут. Как по-сталински зловеще звучит — «при определенных условиях». Покажется критику С. Чупринину, что тютчевское «люблю грозу в начале мая» — это призыв к погромам, и отправляйся на десять лет в лагеря за несвоевременное цитирование «при определенных условиях». Впрочем, от демократии и парламентаризма уже сей-

час отказываются А. Собчак, пугающий возможным запретом партии, С. Станкевич, мечтающий об авторитарности, И. Клямкин с призывом к «железной руке». Вот и вдова великого демократа Елена Боннэр с сожалением констатирует в «Московских новостях», что депутаты никак не могут понять — «...только парламентские способы борьбы пригодны и могут быть успешными лишь для стран с уже сформировавшимися либерально - демократическими традициями» (разрядка моя.— В. Б.). У нас этих традиций нет, следовательно, нечего и церемониться. Следовательно, ужесточай сроки наказания, веди газетную травлю и так далее. Не собираюсь защищать ни хулиганов с «расейско-большевистским размахом», ни провокаторов типа К. Осташвили, но мне ближе авторы самиздатской «Хроники текущих событий», нежели нынешние «прорабы перестройки», мечтающие о новых политических процессах. В седьмой «Хронике» рассказывается о группе Фетисова, проповедовавшей борьбу с «еврейским хаосом», а также о самиздатской статье «Своя своих не познаша», где над фетисовцами откровенно издеваются. «Этот документ дважды порочен, — пишут составители «Хроники» о статье «Своя своих не познаша». — Во-первых, вместо серьезной критики автор ограничивается насмешками над «очевидной глупостью фетисовских идей»... Во-вторых, можно считать этичной полемику с людьми, находящимися в заключении, вернее, с их идеями, которые продолжают распространяться и воздействовать. Но выражать удовлетворение по поводу того, что власти отправили твоего идейного противника в «желтый дом», — безнравственно. Это значит уподобиться тому же Фетисову, который считал, что Синявского и Даниэля следовало бы расстрелять. Автор документа «Своя своих не познаша» не назвал себя, анонимность же приводит к тому, что документ выглядит выражением точки зрения каких-то кругов демократической интеллигенции, каковым он, надо надеяться, не является». Думаю что многие участники превоохранительного движения, прошедшие мордовские и пермские лагеря, также не будут выражать удовлетворения по поводу политических процессов по 74-й, ибо это — «безнравственно».

Но не пришла ли пора этим кругам демократической интеллигенции на время оставить в стороне наши мировоззренческие разногласия и выступить с протестом против обвинения российского патриотического движения в фашизации, нацизме, коричневой чуме и прочих кощунственных формулировок?! Не вздрагивает ли Андрей Битов при возгласе — «фашиствующий Распутин»? А если вздрагивает, почему молчит? Боится поссориться с влиятельными органами печати? Так же, как боялись заступиться за Павла Васильева и за Осипа Мандельштама его литературные отцы? Так же, как боялись заступиться за Александра Солженицына и Бориса Пастернака его старшие литературные братья?

Было время, Александр Рекемчук доносил об антисоветских сочинениях талантливого поэта Владимира Корнилове, сейчас он доносит об «идеологе фашистского движения» С. Куняеве. Неужели и сейчас в среде «апрелевцев» не найдется честных людей, способных выступить против обвинений всего руководства СП РСФСР в том, что оно является «зачинателем фашистского движения в стране»? Какая низость, какой подлог? (Неужели и сейчас смолчат Булат Окуджава и Василь Быков, Борис Можаев и Белла Ахмадулина?) Заметьте, до крайних низостей всегда доходят перевертыши. Те, кто при всех режимах — доносили и облизывали власть имущих. Потому и сейчас — именно такие у власти в прессе, а не авторы «Хроники текущих событий».

Можно критиковать за многое и С. Михалкова, и Ю. Бондарева (что я и делал еще в годы застоя) но смолчать, когда их называют фашистами?! Можно полемизировать с «Литературной Россией», все еще приверженной идеям социализма, никак не избавляющейся от марксистской терминологии, но смолчать, когда бывший помощник Гришина в своем печатном органе помещает откровения бывшего сотрудника журнала «Молодой коммунист» о том, что «Литературная Россия»... стремительно превращается в орган русского фашизма»?!

Почему же вы молчите, Игорь Золотусский и Юрий Карякин, Лев Аннинский и Юрий Любимов?

Надеюсь, не смолчат те, кто на себе узнал цену страшных политических ярлыков, надеюсь на совесть Владимира Максимова, Георгия Владимова, Александра Гинзбурга, Юрия Мамлеева, Наума Коржавина. Разве не похожа нынешняя ситуация на ту, которую описывает в журнале «Континент» Гелий Снегирев, анализируя историю разгрома украинской национальной интеллигенции в самом начале тридцатых годов? Известный украинский правозащитник ужасается на страницах популярного эмигрантского журнала: «Первый репортаж из зала суда, подписал его какой-то М. Берлин: «...Обвиняемые сливаются в единую фигуру украинского воинствующего фашизма...» Ого! Вот это — образность: все 45 — сливаются в единую фигуру украинского воинствующего фашизма!.. Погодите, а не рано ли? Не рано ли казнить? Ведь только начинается судебное разбирательство! Ведь для того и будет суд заседать 42 дня, чтобы разобраться, правильно ли предъявлено обвинение. А вдруг — невиновны? Ну, хоть не все 45 невиновны, а хоть один из 45, а мы уже, газетчики, М Берлин и его туда же упекли, в «единую фигуру украинского воинствующего фашизма»? Простите, а публично, в газете, в органе партии и государства причислить человека к фашистам до суда — разве это уже не наказание!

Говорят, можно в подобных случаях подавать на газету в суд? Да, говорят — в фашистской Германии можно было, Георгий Димитров подавал в суд на газету за преждевременное обвинение его в той же газете и, насколько я помню, выиграл дело, газету приговорили к штрафу».

Уважаемый Гелий Снегирев, уважаемый Владимир Максимов со всей редколлегией «Континента», у вас есть возможность продолжить столь важную тему, как осуждение уже в нынешней прессе до суда. Когда поездку Виктора Лихоносова, Светланы Селивановой, Леонида Бородина, Олега Михайлова и других — в США по приглашению госдепартамента — назвали «десантом советских нацистов в Вашингтоне». Когда все руководство СП РСФСР — от С. Михалкова до В. Поволяева — объявлялось «зачинателем фашистского движения». А вдруг хоть один — к примеру, Анатолий Алексин или Олег Попцов — не совсем виновны? А их туда же упекли, в единую фигуру зачинателей фашистского движения! Простите — разве это не наказание! А вдруг Светлана Селиванова или Леонид Бородин все-таки не совсем еще «советские нацисты» или, может быть, совсем невиновны? Вдруг Владимир Солоухин или академик Федор Углов, участники «коричневого шабаша на Неве», — не совсем коричневые, а кто-то из выступающих в Ленинграде даже совсем красный? Где можно объясниться? Или до сих пор действует замеченное правозащитниками мрачное правило — на политических судилищах невиновных не бывает. Гелий Снегирев и журнал «Континент» посмертно защитили память блестящего историка, патриота Украины, академика С А. Ефремова и его соратников. Защитит ли сегодня российская интеллигенция честь и достоинство своих замечательных писателей, ученых? Защитит ли хирург Святослав Федоров честь хирурга Федора Углова? Вспомнит ли Владимир Буковский, как его защищал в самые трудные времена математик Игорь Шафаревич? Критик Игорь Золотусский, найдите хоть одну «коричневую строчку», хоть мимолетную симпатию к фашизму у фронтовика Юрия Бондарева и тогда Вы будете правы в своих неожиданных выпадах. Всем же ясно: сейчас не недостатки романов разбираются. Обвинения в фашизации или антинародности — литературной критикой не назовешь. Тогда и Жданов — не более чем литературный критик.

Каким новым диктаторством попахивает от выдвинутого «демократами» жесткого баррикадного лозунга: «С кем вы — с Василием Беловым или Василём Быковым?» Этакий новый вариант горьковских афоризмов «Кто не с нами, тот против нас» или «С кем вы, мастера культуры?» За этим оригинальным каламбуром так и торчат уши тридцатых годов. Уважаемые «литгазетчики», запустившие этот лозунг, вы не допускаете, что возможны в наше разбуженное время писатели, которым не по духу ни тот, ни другой? Если кто-то не с Быковым или Беловым, а, допустим, с А. Солженицыным? Или с Наумом Коржавиным? С кем из них, к примеру, Иосиф Бродский? С кем из них Александр Проханов? Леонид Бородин считает, что он и с Беловым, и с Быковым Молодым авангардистам из «андерграунда» — говоря их языком — «до фени» и тот, и другой

Чего добиваются все эти любители экстремистской политической терминологии? Чему радуются молодые женщины с обложки «Огонька», несущие плакат о скорейшем применении семьдесят четвертой статьи? (Так когда-то позировали для того же «Огонька» с плакатами «Смерть Тухачевскому» или «Позор Пастернаку».) Предположим, сумеют они повести за собой народ и установить новую левую диктатуру. (Естественно — диктатуру временную, пока, как уверяет Е. Боннэр, парламентскими методами не обойтись. Пока не будет уничтожен последний враг, затем наступит свобода, как в «Чевенгуре».) Меня отнюдь не радует тот исторический закон, что под новую кровавую колесницу непременно попадут и все ее устроители — одновременно ли с нами или чуть позже нас, намеченных заранее в жертвы, это не имеет значения.

Сумеет ли Россия пережить новое смутное время, новую кровавую бурю? Думаю, что — не сумеет. И потому самое важное сегодня — остановить силы разрушения. Понимают ли наши искренние милые левые интеллигенты, кто ими сегодня успешно пользуется? К чему подталкивает народ шестая империя прессы? Предположим, пойдем мы завтра все, во главе с Коротичем и Яковлевым, на штурм Кремля, на разгром обкомов и райкомов. Объявим вне закона, как предполагает Е. Боннэр, коммунистическую партию. Гвоздовых, то есть милиционеров,— в Неву и Москву-реку, о жандармах — даже и подумать страшно, какую казнь изобретем. Членов общества «Память», как в Киеве в восемнадцатом всех членов Союза русского народа, — расстреливать по алфавитному списку. К чему придем?

Четвертого февраля 1990 года около двухсот тысяч москвичей вышли на антифашистскую демонстрацию. Вышли накануне Пленума ЦК КПСС. Плакаты уверяли: «Русские не хотят погромов!», плакаты призывали — «Фашизм не пройдет!» На митинге выступали кооператоры, народные депутаты, поэты. Е. Евтушенко требовал не давать свободу фашистам. Ему вторил В. Оскоцкий. Перед этим по Центральному телевидению народный депутат Ю. Щекочихин назвал даже точную дату (поразительная осведомленность?!) еврейских погромов — 5 мая. Перед этим по Центральному телевидению народный депутат Г. Боровик сравнил как равновеликие армяно-азербайджанский конфликт, насчитывающий уже сотни человеческих жертв, с инцидентом в Доме литераторов. Что происходит?

Неужели в нашей стране, где от рук фашистов погибло, как сейчас заявляют, около тридцати миллионов человек, на самом деле возникла угроза русского фашизма с расовой доктриной, по которой все, кроме русских, объявляются недочеловеками? Неужели миллионы нерусских, проживающих в России, страдают от расовой дискриминации? Неужели такие уж страдальцы те, кто столь яро выступал на митинге? Особенно вечная наша несчастная жертва — Евгений Евтушенко? Может быть, страдает грузин Э. Шеварднадзе? Может, жертва русского фашизма — азербайджанец Г. Алиев?

Почему тогда именно в России, а не в родной для них, но недоступной Грузии оказались турки-месхетинцы? Почему именно в Москву, а не в Ереван едут многие армяне-беженцы? При этом об угрозе не-

коего «русского фашизма» пишут и говорят по телевидению уже чаще, чем о всех других, поистине кровавых национальных конфликтах.

Где же он, русский фашизм? В бреду воспаленного митинговыми страстями воображения? В сознательно выдуманных и запущенных в массовую печать провокационных заявлениях? Почему так преступно молчат по этому поводу наши государственные деятели, вплоть до М. Горбачева? Ведь это и Президента обвиняет журнал «Огонек», когда пишет о распространении коричневой опасности. Разве не Горбачева обвиняет «Литературная газета», когда пишет сегодня о наших нынешних днях: «Так же, как и евреи в нацистской Германии, многие из нас не уверены и сейчас, выходя на улицу...» Значит, у нас сегодня царит атмосфера нацистской Германии, а правительство об этом ни слова. Где же наш мощный репрессивный аппарат? Что делает наша тайная полиция? Понятие «фашизм» — юридически и идеологически четко определено. Значит, требуется одно из двух: или наказание совершающих фашистские поступки, пропагандирующих фашистские доктрины, или не меньшее наказание тех, кто поднял этот клеветнический бум. В каких документах, в каких статьях, книгах, в выступлениях каких писателей и общественных деятелей прозвучали расистские угрозы, чтобы так обеспокоить всю центральную прессу?

Может быть, посчитать фашистским утверждение, что «на исконной земле одной нации не может быть равноправия между всеми нациями»? Думаю, так бы и посчитали в прессе, выскажи подобное, к примеру, Валентин Распутин. Мол, на русской земле не может быть равноправия для всех. Только от Валентина Распутина такого никто никогда не слышал и не услышит. (Надо иметь бесстыдство Коротича, чтобы заявить в израильской прессе по поводу Валентина Распутина: «В России ни одна контрреволюция без распутиных не происходила. Вместе с Распутиным выступают и другие профессиональные русские патриоты...») Столько, сколько сделал Валентин Распутин для малых народов Севера и Сибири, вряд ли сделали все наши известные плюралисты-интернационалисты, предпочитающие дружить с народами, заселяющими Елисейские поля в Париже или Брайтон Бич в Нью-Йорке. Да, Валентин Распутин за «равноправие между всеми нациями». А отвергает его один из лидеров Эстонии Микк Титма, любимый автор наших демократических изданий. Опубликовано его шовинистическое откровение в тартуской газете «Вперед». Все наши демократы считают Микка Титму своим, значит, и его право на неравноправие народов — демократическое?!

Приведу утверждение пострашнее, очевидно, оно так напугало организаторов антифашистского митинга: «В связи с чрезвычайным положением... нации необходимо принять закон об объявлении отдельных лиц «врагами... народа»... Принять этот закон большинством голосов путем проведения всенародного... референдума и этим же референдумом вынести приговор о возведении в чин врага. Если... правительство не справится со всем этим, наши национальные объединения должны найти общий язык, распределить функции, выработать план и перейти к активным действиям». Язык этого документа на самом деле сходен с языком фашистской идеологии. Значит, если наше российское правительство во главе с Борисом Ельциным не справится с врагами русского народа, то наши русские национальные боевики должны перейти к активным действиям? То есть к погромам, убийствам — что еще могут обозначать активные действия против врагов русского народа? Очевидно, к автору этого документа и обращался поэт Евгений Евтушенко на антифашистском митинге, говоря, что не может быть свободы убийцам. Представьте, если бы такое напечатал Василий Белов, как бы встревожилась вся мировая печать!

Должен огорчить «наших плюралистов-демократов», автор выше приведенных слов — талантливый грузинский писатель, известный всем своей книгой о Дата Туташхиа, любимец всех либеральных изданий — Чабуа Амирэджиби. Поставьте вместо отточий слово «грузинский», и вы прочтете то, что было опубликовано о «врагах грузинского народа» в тбилисской газете «Литературули Сакартвело» 22 сентября прошлого года.

Но где же русская расистская доктрина? Где проявление русского фашизма? Все как один ссылаются на инцидент в Центральном Доме литераторов. Обращаюсь к поэту Роберту Рождественскому, как к видному деятелю «Апреля» и одновременно одному из руководителей Союза писателей СССР и одновременно председателю правления ЦДЛ, давно уже писателями не переизбираемого: кто и почему провел так называемых «погромщиков» в наш закрытый писательский клуб? Пусть попробует любой из читателей пройти так запросто в Дом литераторов. Сразу убедится в провокационности проведенной екции. Впрочем, обратимся к юридическим документам. В Союз писателей СССР на имя первого секретаря В. В. Карпова поступило из прокуратуры г. Москвы «Представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления...», подписанное старшим следователем прокуратуры М. И. Слинько. Прочитаем внимательно: «Так, следствием установлено, что накануне «Открытого микрофона» сопредседатель «Апреля» Соколов В. П., являвшийся одним из организаторов вечера (он же, кстати, и член правления ЦДЛ), был предупрежден о предполагаемом приходе в Дом литераторов лиц, не разделяющих общественно-политических позиций «Апреля», и, следовательно, не мог не допускать возникновения различного рода конфликтов, нарушений общественного порядка. Тем не менее администрация ЦДЛ и организаторы собрания не только не поставили в известность о проводимом мероприятии территориальные органы милиции, но, более того, директор ЦДЛ Носков В. А. и его заместитель Морковченков М. М. по просьбе Соколова В. П. и секретаря совета «Апреля», председателя клубной комиссии Костюковского Я. А., в нарушение Положения

о Центральном Доме литераторов Союза писателей СССР, пп. 8, 9, отменили пропускной режим, открыв двери в здание и Большой зал для всех желающих.

В результате этого в Большом зале собралось не менее 150 человек, не имеющих отношения к Союзу писателей и «Апрелю», многие из которых не разделяли взглядов «Апреля» и, расценивая «Открытый микрофон» как трибуну для обмена мнениями, собирались вступить в дискуссию с «апрелевцами». Принимая во внимание, что объявление «Открытого микрофона» и свободный доступ в зал не согласовывались с повесткой дня и характером мероприятия (выдача клубных карточек «Апреля», прием членских взносов, продажа альманаха, обсуждение встречи совета «Апреля» с секретариатом СП СССР), которые не располагали к дискуссии, следствие приходит к выводу, что еще до начала собрания в зале сложились объективные предпосылки для возникновения конфликтных ситуаций... Следствие находит также неправомерными действия ведущего вечер члена совета «Апреля» Дуэля И. И., который после открытия собрания и последующего выступления Ивановой Н. Б., предложившей отменить мероприятие, фактически не отменил «Открытый микрофон» (хотя для этого имелись основания), а потребовал в конечном итоге покинуть зал всех, не имеющих удостоверений Союза писателей или членских карточек «Апреля». Это решение вызвало обоснованное возмущение значительного числа лиц, не являющихся членами СП СССР или «Апреля», но и не поддерживающих экстремистские действия Осташвили, и, несомненно, способствовало обострению ситуации. Кроме того, во время инцидента по распоряжению Соколова В. П. сотрудниками ЦДЛ были закрыты двери Большого зала, и присутствующие не могли выйти в фойе, оказались запертыми в зале, где находился совершающий противоправные действия Осташвили, что еще больше накалило обстановку».

Я с подозрением отношусь к шумной деятельности лидера то ли четвертой, то ли пятой «Памяти» К. В. Осташвили. Чересчур часто он со своими крикунами появляется именно там, где до зарезу нужен скандал, чересчур часто появляется на страницах «Огонька» и других подобных изданий в качестве единственного доказательства «русского фашизма». Любого рода грязные скандалы вызывают во мне чувство брезгливости. Тот злополучный вечер в ЦДЛ лишь подтвердил (независимо от того, доказана ли неслучайная синхронность действий В. Соколова с одной стороны и К. Осташвили — с другой), что «Апрель» и подобная «Память» — крылья одной бабочки, летящей прямо на огонь раздора, разрушений и манящей за собой неосторожных любителей. Пусть себе бабочка бы и летела сама, и сгорала бы в этом огне разрушения, но почему-то и «Апрель», и осташвилиевская «Память» сразу, благодаря целенаправленным действиям наших могучих средств массовой информации, становятся в центр мировых событий месяца. От силы две-три сотни членов Союза писателей в «Апреле», еще меньше сторонников у Осташвили, взаимные оскорбления: «фашисты — масоны», «черносотенцы — сионисты». То ли упавшие, то ли разбитые очки у русского прозаика Анатолия Курчаткина... Всё, как в провинциальном театре. Перед мировым зрителем разыгрывался дрянной спектакль. Думаю, что А. Курчаткин не ввязывался в потасовку специально. Очевидно, и на самом деле случайно пострадал. Но — последующее выступление А. Курчаткина по телевидению все же случайным не считаю. Уверен, перед нами хорошо отработанный вариант нового поджога рейхстага, после которого обычно начинаются массовые «активные действия».

Разбитые очки Анатолия Курчаткина послужили поводом к двухсоттысячной демонстрации против «русского фашизма». Поводом для начала действия 74-й статьи. Не чересчур ли? Весь «русский фашизм» символически преломился в поломанной оправе русского прозаика. Впору ее сдавать в музей — то ли Революции, то ли Министерства внутренних дел, но только не в музей литературы. Какие бы гневные чувства ни вызывали в Курчаткине налетевшие на него хулиганы или провокаторы, доводить этот инцидент до миллионов, разжигать национальные страсти, обвинять русских в фашизме, становиться героем политических демонстраций и зачинщиком политических процессов — он не должен был. Как-то не в традициях русской литературы. Скорее простить бы надо ему — неразумных, оболваненных, обманутых всей нашей советской действительностью, в том числе и всей советской литературой, представителем которой Курчаткин является. Но — сработало желание прославиться, стать известным на всю страну. Вдруг — твои поломанные очки перевешивают, по мнению телекомментаторов, кровавые трагедии Закавказья и становятся единственным «аргументом и фактом» существования «русского фашизма». Вот и не выдержала душа прозаика. А ведь откажись он от участия в дешевой политической провокации, пришлось бы, чего доброго, и антифашистскую двухсоттысячную демонстрацию отменить...

В репортаже «Московских новостей» об этой демонстрации авторы «добросовестно» ищут причины, вызвавшие ее. Кроме «дебоша в писательском клубе» была названа и другая причина — представители средств массовой информации, в частности программу «Взгляд», «жестко отсекли от состоявшейся... встречи журнала «Наш современник» с поклонниками».

Во-первых, сами признают, что журнал встречался со своими поклонниками, к которым ни «Московские новости», ни телепрограмму «Взгляд» никак отнести нельзя. Даже если журнал и на самом деле был бы против присутствия журналистов из оппонирующих изданий, не вижу в этом по всем демократическим законам ничего предосудительного. На то и права человека, чтобы любому коллективу самому решать, с какими журналистами встречаться, с какими — нет. Даже представители правоохранительных органов не могут пройти в жилище человека или в помещение любой общественной организации без орде-

ра на обыск, почему же либеральные журналисты не хотят считаться с мнением людей, посчитавших ненужным присутствие прессы на той или иной встрече. Попробовал бы «Взгляд» так же грубо ворваться на вечер «Роллинг стоунз» или другого популярного рок-ансамбля, не купив заранее права на телезапись. Впрочем, видели мы монополию на микрофон и в Лужниках, и закрытые собрания «Мемориала».

Во-вторых, нельзя многолюдный зал имени П. И. Чайковского при всем желании превратить в место тайной сходки. Даже американская телекомпания, всего лишь за день до вечера обратившаяся за разрешением на съемку, получила на это право.

Я сам выступал на этом вечере... Журнал — его авторы, члены редколлегии, работники редакции — завоевали внимание прекрасного зала. Сотни записок, аплодисменты. Никто из нас и не догадывался, что вокруг зала ходят тележурналисты, выискивая колоритные персонажи. Честно говоря, убежден, что на сам вечер тележурналисты и не собирались.

Помню, как вели себя те же тележурналисты из «Взгляда» на другом вечере «Нашего современника» — в Доме кино. Кроме общей записи вечера, они еще уговорили С. Куняева, В. Кожинова и меня дать интервью для «Взгляда». Прошли месяцы, та запись «взглядовцам» не понадобилась, хотя какие же заверения в необходимости записи были даны, какие намеки на истинный плюрализм, на право иметь разные точки зрения...

Может, им председатель Гостелерадио М. Ненашев запретил показывать запись вечера «Нашего современника» в Доме кино? Так скажите об этом с экрана, докажите смелость.

По моему мнению, мы не «оправдали» каких-то надежд не скандал. Не было ни на одном вечере журнала за эти годы — в «Крыльях Советов», в спортивном зале «Дружба», в Колонном зале — ни одного скандала, подобного «апрелевскому». Не было и скандалов в других городах... Вот эта твердая репутация нескандальных встреч журнала со своими читателями и вынудила наших оппонентов искать скандал на стороне, выискивая телекамерой сомнительные лица, которых так много нынче на вечерних московских улицах. Расчет на простодушие телезрителей. Что им покажут, всему поверят. На митинге, где выступал Б. Ельцин, я видел плакаты осташвилиевской «Памяти» — так что ж, Ельцина обвинять в том? На Пушкинской площади, прямо у входа в «Московские новости» каждый вечер продают по десятке за экземпляр «Протоколы сионских мудрецов». Почему бы, следуя столь странной логике, не призвать за это к ответу главного редактора Егора Яковлева?

Представьте себе, что начнут прорываться на сцену во время творческих вечеров Е. Евтушенко все его недоброжелатели, перебивать его, доказывать права на соучастие в его публицистических бенефисах. Это было бы дико, но разве подобное право сам поэт не предоставил нам всем, когда без всякой договоренности, без билета, во имя дешевого скандала прорывался на сцену в зале П. И. Чайковского, при этом оскорбляя дежурного милиционера и администраторов здания?! **Какое духовное одичание!!** В этом знаменитом зале, носящем имя великого русского композитора и патриота, выступают музыканты и певцы, артисты и поэты. Разве придет в голову композитору А. Шнитке врываться в зал и срывать вечер композитора Гаврилина? Даже рок-группа «Машина времени» вряд ли будет ломиться на сцену, когда там выступает «Ласковый май».

Откуда у наших новомодных демократов эта страсть к скандалам и сознательным провокациям? Где царит насилие над личностью — прежде всего в так называемой «левой прессе».

Все подчинено одним тоталитарным интересам. Впрочем, как я уже писал в начале статьи, наши «демократы» этого и не скрывают. Вот что пишет один из наиболее воинствующих «межрегиональщиков» С. Станкевич: «Если бы Горбачев с самого начала обладал серьезной личной властью, и мы три-четыре года пожертвовали бы на авторитарную власть, не разыгрывая эту карту гласности, зажав глотку всем противникам реформ, затянув пояса, апеллируя к народу, объясняя необходимость жертв и трудностей, используя полную монополию на средства массовой информации, апеллируя к тем кругам интеллигенции, которые готовы были поддержать авторитарную модернизацию, то сейчас перестройка могла бы действительно гораздо дальше уйти, быть по-настоящему радикальной». Далее продолжает: «Полагаю, что гласность потерпела бы еще четыре года» («Позиция», январь 1990 г.). Слова из лексикона большевиков восемнадцатого года: мол, зажмем глотку противникам, а то и перережем, а после окончательной победы дадим море свободы. Кого же метят нынешние радикалы в «левые диктаторы»? Г. Попова, Б. Ельцина? И вообще, не пора ли нам всем разобраться с «право-левой» терминологией. Во всем мире модно быть «левыми», вот и у нас все — «левые». Но если мы говорим о многопартийности, об «общеевропейском доме», очевидно, и терминологию нашу надо делать «конвертируемой» во всех странах, в «общемировом смысле». Вновь, как и во всех странах, коммунистическая партия, став по-настоящему политической партией, а не государственной структурой, займет свое место среди левых сил. Левее лишь немногочисленные экстремистские группировки. Гораздо более правые силы объединяются вокруг социал-демократии. По всем европейским понятиям, «Демплатформа» к левым силам не принадлежит. Тем более — не левыми являются «межрегионалы», «рыночники» и сепаратисты. Еще правее — сторонники безработицы, повышения цен, любители авторитарных модернизаций и стабильных диктатур, наподобие чилийской.

Не пора ли нам снять эту словесную пелену с глаз и разложить наши политические течения согласно мировым стандартам. Тогда и поймем весь правый экстремизм инициаторов так называемых демократических, антифашистских демонстраций с подталкиванием к разгулу ничем не ограниченного рынка, с лишением социальных прав у миллионов простых людей. Разгромить клиники четвертого управления — это легко и полезно новым заправилам. Хорошие специалисты перейдут в частные высокооплачиваемые клиники с высококачественным оборудованием. А бесплатное лечение загонят в такой тупик, откуда живым уже никому не выбраться. Позакрывали кое-где спецмагазины, но растут, как грибы, магазины и рестораны на валюту. Парадоксально — демократизацией у нас в стране руководит лобби богатых людей. Еще мешают им партаппаратчики, бьют по ним! Но задумывается ли народ, кто встает на место коммунистов там, где их удается оттеснить от власти? Готовы ли мы, весь народ, к этой замене уже сегодня?

Думаю, наша главная цель сегодня — способствовать национально-религиозному возрождению России Поэтому и самые страшные удары наносятся по лидерам этого движения. Прорабов перестройки устраивает лишь всеобщая размытость, всеобщее отсутствие морали, любых народных устоев. Нуворишское люмпенство — вот привычная среда для таких «разных, натруженных и праздных» перевертышей на все случаи жизни. Люмпенство — любимая среда для торжества диктаторов, где можно легко «зажать глотку», говоря языком С. Станкевича, всем противникам. Потому и уничтожались у нас в стране прежде всего дворянство и крестьянство — с их четкими понятиями о чести, народной или аристократической этике.

Нас долгие десятилетия превращали в люмпен-народы: люмпен-русские, люмпен-украинцы, люмпен-белорусы, люмпен-грузины, люмпен-евреи. Еврейские семейные обычаи рушились так же неумолимо, как русские или украинские. Всегда во главе люмпен-культуры оказывались юркие перестройщики, безнациональные интернационалисты. Вот один из них — пугающий на митинге 4 февраля весь мир «русскими фашистами», активист все того же «Апреля» — Валентин Оскоцкий.

Кажется, совсем недавно он был самым ярым борцом за партийную линию в литературе, проповедовал соцреализм в самой ортодоксальной упаковке, призывал к классовой ненависти и... писал доносы в инстанции, обвиняя своих коллег в антисоветизме. Сегодня этот люмпен-критик, на котором, как в народе говорят, пробы негде ставить, поменял все плюсы на минусы и возглавляет писательскую перестройку, лишь бы не потерять контроль над люмпен-литераторами. Такие, как он, и манипулируют сегодня все возрастающей критической энергией масс. Сегодня они призывают к разгромам государственных структур. Истеричная «антифашистская толпа» уже готова громить все вокруг. Точно такими же методами в двадцатые годы расправлялись с поэтами есенинского круга, затем были шумные обвинения в фашизме Павла Васильева, именно на обвинениях П. Васильева в фашизме выдвинулся журналист Э. Дельман, отец известного историка Н Эйдельмана (Он же прославлял строительство Беломорканала, травил С. Клычкова, писал статьи типа «Наука ненависти».)

Как только поднимались голоса в защиту русской культуры (или украинской — в случае с С. Ефремовым, белорусской, других культур), русского национального сознания, национальной народной этики, сразу начинали сыпаться обвинения в фашизме. Я горжусь тем, что меня осыпают такими же чудовищными оскорблениями, как С. Есенина и П. Васильева, художника П. Корина, поэта Н. Клюева; обзывают так же, как обзывали в лагерях В. Шаламова и А. Солженицына. Обзывают, потому что боятся нашей правды, боятся, что народ поверит в свое национальное возрождение и пойдет за нами. Если мы, не в ущерб никакому другому, самому малому народу, сумеем помочь национально-религиозному возрождению России, поднять российских тружеников под знамена свободного народовластия, против преступной системы обесчеловечивания, против демагогии, безверия, безбожия, денационализации, нам не страшны будут никакие провокации.

А пока, на сегодняшний день, российские писатели, российские патриотические силы проиграли везде, где могли. На российских писателях лежит позорное пятно журнала «Октябрь», как в насмешку печатающее под знаком «орган Союза писателей РСФСР» самые антирусские произведения. Проиграны выборы в российские Советы, в Моссовет и Ленсовет. Не считаясь с мнением большинства писателей, кучкой функционеров и аппаратчиков в келейной, кабинетной обстановке был назначен новый главный редактор единственного всеписательского органа — «Литературной газеты». Старая площадь (ЦК КПСС) поспешно утвердила это незаконное, антидемократическое решение. О какой демократии идет речь? Неужели мы все, и левые и правые, не понимаем, что только съезд писателей СССР имеет право на альтернативные выборы главного редактора «Литературной газеты», ныне ставшей многотиражкой «Апреля».

Мы постоянно проигрываем, мы теряем нашу российскую молодежь, теряем российскую народную интеллигенцию... потому что мы всегда играем черными... Как я прочитал в одной хорошей статье, даже гениальный шахматист, играя только черными, не выиграет ни один турнир.

Это мы, российские патриотические силы, должны были начать кампанию десталинизации, деревoлюционизации страны. Кто, как не русский народ, наиболее пострадал от этой чудовищной диктатуры, которая за семьдесят лет нанесла тотальный удар по русскому национальному самосознанию, по русской культуре? Осторожные попытки обеления сталинизма, новые неомарксистские доктрины, попытки защитить диктатуру антинациональных сил приводят к последовательной потере уважения ко многим патриотическим организациям у русского и других народов России. Вместо объединения патриотических сил России вокруг программы национального возрождения — часто предлагается новая политизация на уровне «Социализм или смерть», «Долой русофобию и социализ-

мофобию». Впечатление такое, что лозунг Федорчука о главной опасности — русском национализме — действует и сегодня. Патриотизм позволяется только в марксистской упаковке. Патриотическое движение сознательно лишается здоровой экономической программы.

Это мы, российские патриотические силы, должны были написать на собственном знамени лозунг «Свободной России». Разве мы против свободы и воли народной? Против естественных демократических прав каждого человека? Разве возможно сегодня национальное и религиозное возрождение без свободы каждого из граждан России? Разве сможет в условиях несвободы возродиться вольный русский землепашец? Это наш национальный лозунг, и отдавать его разного рода экстремистам и радикалам, вчерашним следователям и прокурорам, сбежавшим генералам КГБ и потомственным деятелям со Старой площади, начисто лишенным демократического сознания,— одна из наших глобальных ошибок... Из-за этого мы потеряли и теряем миллионы голосов избирателей и читателей... Свобода — это не наша политическая программа, это наша национальная суть!

Давно уже, на рязанском выездном заседании секретариата правления СП РСФСР, вернувшись из Эстонии, я предложил создать свой национальный, Российский народный фронт. Мне возразили, мол, не время, не место и вообще некуда спешить... Этот Российский народный фронт организован, но не нами, и, как говорится, русским духом, пушкинским русским духом там и не пахнет! В этом наше коренное отличие от республиканских народных фронтов. Из всех союзных республик — только в России национальное возрождение придерживается на всех уровнях, только у нас к власти приходят антинациональные силы. Попробуй лидер эстонцев или грузин заявить о лености и дурости своего народа, в тот же день его бы на тачке сбросили куда-нибудь в мусорную яму. Мы позволяем и — молчим. Наша интеллигенция защищает все народы, кроме своего собственного, о котором она и думать не хочет, ибо — стыдится его. На пленуме российских писателей встает поэт, Герой Социалистического Труда М. Дудин и говорит о чем угодно, только не о тяжелейших проблемах русского народа. Он отрицает саму возможность национальной обиды русских. Он готов переживать, как и все мы, трагедию армян, готов признавать справедливость иных претензий к русским. Все правильно, есть нам и в чем каяться, но сегодня-то, когда твоя нация на краю гибели, не надо ли русским интеллигентам обратить главный взор на свой народ? Как пишет А. Солженицын: «Кто еще из народов расплачивался такою ценой?.. Нам надо излечить свои раны, спасти свое национальное тело и свой национальный дух. Достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой». Так нет же, всем, чем угодно, норовит заняться интеллигент, только не излечением ран своего народа. Широк в общественной деятельности поэт Михаил Дудин. То он изобличает сионизм, то переживает за народы Кавказа, только на свой народ давно уже рукой махнул:

России нет. Россия вышла
И не звонит в колокола...
И мы уходим с ней навеки,
Не уяснив свою вину.
А в Новгородчине узбеки
Уже корчуют целину.

Если поэт признается, что свою вину перед народом так и не уяснил, понятно, почему он недоволен протестами российских писателей против оскорблений в адрес русского народа. И — сразу же становится другом всех наших «интернационалистов». Давно замечено: стоит любому партаппаратчику, литературному генералу, даже одному из бывших руководителей тайной полиции возмутиться русским народом, выразить симпатии «наши плюралистам», мгновенно прощается все. Тому примеры — А. Ананьев, О. Калугин, Э. Шеварднадзе и так далее... Пишет А. Борщаговский о Михаиле Дудине: «Я десятки раз наблюдал в разные годы его спокойный шаг к ораторской трибуне, его артистизм, легкость и ничего подобного сегодняшней его тоске и тревоге не упомню». Конечно, сегодня видит Михаил Дудин искреннюю боль российских писателей и не знает, как поступать с этой искренностью. Ранее-то уважаемый поэт с артистизмом и легкостью говорил все, что от него требовало начальство. Очевидно, больше всего А. Борщаговскому понравился артистизм и легкость, с какой Михаил Дудин с ораторской трибуны настаивал на исключении из Союза писателей литературоведа Е. Эткинда: «Если вспомнить вступительную статью Эткинда в «Библиотеке поэта» и это письмо молодым евреям, то видно — самое отвратительное — национализм, от него пол-локтя до фашизма. Этот сионизм лезет из каждой строки. Это не имеет ничего общего с программой Союза писателей» (стенограмма опубликована в «Континенте» № 7). Вы правы, Александр Михайлович, как артистично вписал поэт свое обвинение в фашизме ленинградского литературоведа, не чета нынешним — «Десант советских нацистов» — грубо, никакой легкости пера. И тоски с тревогой тогда за поэтом не числилось. Ясно было, что надо, а что не надо.

Другой, недавний пример — выступление очень уважаемого мною писателя — меня более поразил. Да и статья-то сама — о важнейшей теме, отсутствии интеллигентности, о чем и А. Солженицын писал в знаменитой ныне статье «Образованщина». Стоит ли возражать по частностям, к тому же останавливает и возраст и талант писателя? Но сам писатель как бы настаивает на раскрепощенности сознания интеллигента, на отсутствии боязни перед авторитетами, на необходимости спора...

Речь идет о статье Гавриила Троепольского «Попытка диагноза». Неожиданно, спустя почти пять лет, писатель возвращается к рассказу Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии». К истории своего извинения — личного, но от имени редакции «Нашего современника» — на съезде писателей СССР. Троепольского задело недавнее выступление А. Н. Яковлева в Грузии, где тот заявил, что это именно он «...уговорил Троепольского, и он выступил». Но, к сожалению, высказав свои справедливые претензии к А. Н. Яковлеву, писатель далее предъявляет уже свои личные и, на мой взгляд, сегодня совершенно неуместные претензии к Виктору Астафьеву. По мнению Г. Троепольского, В. Астафьев «...неудержимый во гневе, он склонен к жесткому натурализму... он пишет «для себя» и с повышенным честолюбием, пиная направо и налево... И, конечно же, досталось всем грузинским писателям чохом. Потом и сама Грузия «зашаталась» с коровами, кабанами и, конечно же, с людьми... Виктор Петрович слепил несоединяемое, а точнее, запряг «коня и трепетную лань», что никоим образом нельзя делать... рано или поздно Астафьев поймет свою ошибку...». Упрекая В. Астафьева в честолюбии и жестком натурализме, писатель далее утверждает, что «...Грузия приняла «Пескарей» как оскорбление национальных чувств. В этом смысле моя позиция не требует пояснений: если на тебя кто-то обиделся, не поняв тебя, а ты не хотел обидеть, то даже и в таком случае ты обязан извиниться, — значит, что-то сказал так, что можно было понять двояко. Но речь-то шла о национальной обиде, а не о персональной, о чем не может быть двух мнений».

Позволю себе согласиться с Вами, на время развития важной мысли даже с трактовкой рассказа Виктора Астафьева. (Хотя до сих пор не вижу в нем оскорбления всей Грузии, всего народа, скорее наоборот — уважение и любовь, не переносимые на отдельных неприятных субъектов. Нет места, да и тема другая, а то можно было бы привести немало цитат из рассказа, демонстрирующих искреннюю любовь и уважение писателя к Грузии. Но — предположим, так оно и есть — оскорбил национальные чувства.) Думаю, что обида шла не от всего народа. Рассказ не был переведен на грузинский, да и вряд ли за такое короткое время после выхода журнала рассказ дошел до каждого грузинского городка или деревни. Значит, национальную обиду выражали грузинские писатели, литературная общественность.

Теперь пусть любой желающий выпишет все наиболее резкие слова из рассказа Виктора Астафьева — о грузинах, и все наиболее резкие слова из повести «Все течет» В. Гроссмана — о русском народе, и из «Прогулок с Пушкиным» А. Терца — о национальном русском гении — А. С. Пушкине. Любой сторонний — и от русских, и от грузин, и от евреев — человек скажет, что на национальную обиду, исходя из конкретных произведений, у русских имеется больше оснований. Почему же Гавриил Николаевич Троепольский не только забывает о своих приведенных выше словах — «если на тебя кто-то обиделся, не поняв тебя, а ты не хотел обидеть, то даже и в таком случае ты обязан извиниться, — к тому же, — ...речь-то шла о национальной обиде», но даже лишает права российских интеллигентов на национальную обиду за свой народ, приравнивая протесты, прозвучавшие на пленуме российских писателей, в адрес оскорбительной для чести и достоинства России — линии журнала «Октябрь» к «разбушевавшейся дивизии». Почему Троепольский не предложил если не авторам «Октября», то А. Ананьеву извиниться, ведь согласно его же утверждениям «...не может быть двух мнений»?

В этой же статье писатель берет под защиту А. Ананьева и журнал «Октябрь». Он утверждает, что «на пленуме том «висела петля» с установкой, предназначенной теперь уже для шеи одного из редакторов российского журнала в самой Москве — столице. Попытка стащить его с поста не удалась: не та шея, не то время, и живет он не по «старой установке».

На самом же деле, в отличие от келейного назначения главного редактора «Литературной газеты», впервые в нашей литературной жизни — решение о главном редакторе «Октября» принимал гласно — весь пленум. Среди всех членов правления лишь четверо проголосовали в поддержку Ананьева, остальные выразили ему недоверие. Но для нашей все еще командной структуры всеписательское решение ничего не значит. Трусливо ушли от решения и руководители СП РСФСР.

На российском писательском пленуме прозвучала та самая «национальная обида», которую так чутко замечают у армян, грузин, литовцев, якутов, но которую поныне отвергает наша командная и образованческая элита, когда речь идет о русских. Уже семь десятилетий распятый на пятиконечной звезде русский народ пинают, оплевывают и раздевают. А когда он сам, увы, в отсутствие своей собственной интеллигенции (трусливо, а то и презрительно ушедшей в сторону), пусть неуклюже, без тонкостей и изящества, говорит о своей национальной обиде и предъявляет какие-то минимальные права — поднимается всемирный лай — «православный фашизм» (А. Синявский), «национал-монархизм» (академик Гольданский), говорится об угрозе всему цивилизованному миру.

Думая о национальном возрождении России — любому русскому необходимо не просто учитывать, а понять про себя интересы всех российских народов. Можно, конечно, пойти по пути, предлагаемому леворадикальными журналами, мечтающими о разрушении государства российского. Согласиться с предложениями журнала «Век XX и мир», на страницах которого утверждается: «С тотальным режимом покончено навсегда. Нас ждет Свобода, Равенство, Братство. Теперь надо быть до конца последовательными. Вернуть японцам Курилы и другие острова, какие попросят. Немцам вернуть Восточную Пруссию... Вернуть все захваченные земли, если на них претендуют другие народы».

Уже все автономные республики хотят стать союзными. Уже говорят всерьез о восстановлении Дальневосточной республики, о создании независимой Сибирской республики, вспоминают про мифическую Казакию. Наверно, пора и Новгороду с

Русским Севером подумать о возвращении вечевого колокола. И соседи вокруг вспомнят свои былые геополитические мечты — Великая Финляндия, Великая Польша. Вот уже и в Лондоне проходит мусульманская конференция, где, учитывая наш развал, всерьез обсуждали вопрос о границах России в пределах Московии 1552 года.

На память приходит меткое определение меньшевика Мартова — «первый раздел России», которое относится к итогам первых лет Советской власти, к Брестскому миру, к Тартускому миру и т. д., в результате чего Российская империя потеряла около миллиона своих подданных, включая Прибалтику, часть Украины. По нынешним временам, этот Мартов выглядит форменным империалистом и великодержавным шовинистом. Мы успешно идем ко «второму разделу России», и не о союзных республиках уже заботы, уцелела бы сама Россия.

Пока мы не скажем вслух о губительности ленинской национальной политики, не отречемся от нее хотя бы на обломках великой империи, национальные кризисы будут продолжаться «до последнего инородца». Может быть, и США необходимо вернуть свои территории Мексике, Пуэрто-Рико, России наконец? Испании отказаться от басков, Англии от шотландцев и ирландцев, Франции... Бельгии... Любое государство знает в своей истории и захваты чужих земель, и потери. И никто не думает, кроме саморазваливающихся государств, о переделах территории. На мой взгляд, любое большое государство должно быть монолитным государством. Как США. Самый маленький народ — на территории США — имеет свои школы, свои газеты, свои театры, свою национальную этику. Испанцы, русские, евреи, китайцы, ирландцы — все имеют права на свой культурный мир, но смешно говорить о еврейской автономной республике в США, о китайской автономной области. Штат имеет достаточную самостоятельность, чтобы большинство его населения само решало свои национальные и хозяйственные проблемы. Так и хочется сказать: давайте возьмем за основу США. Потом вспоминаешь, в России-то было примерно так же, генерал-губернаторства имели не меньшие самостоятельные права. Коренное население каждой области России должно иметь право строить свои школы, университеты, развивать свою культуру, обычаи, промыслы, но — в рамках одной государственности.

Мои заметки уже не о Советском Союзе. Мартов прав: ленинский первый раздел России закончился. У нас пятнадцать республик. Будем ли мы в конфедерации, или совсем отдельными государствами — будущее покажет, но то, что Россией уже никогда не будем — это точно...

Мои заметки о России. Позволить сегодня уже на территории России создать новый ряд союзных республик — Якутия, Башкирия, Татария и т. д. — это значит где-то в будущем с неизбежностью прийти к новому разделу России. Кому-то мешает не столько Советская власть, сколько Россия как таковая, кто-то делает ставку на самоликвидацию России... Пишет Федор Бурлацкий в «Литературной газете»: «Выдвинули такое понятие, которое выглядит очень привлекательным в глазах русского человека: россияне. Но захотят ли другие нации, живущие в РСФСР, назвать себя башкирами, не мордвой, не якутами, а россиянами?»

Этакий каверзный вопросик, но его можно продолжить. Захотят ли люди разных национальностей назвать себя американцами? А как насчет израильтян? Есть еще бразильцы, китайцы, есть Индия, Австралия.

Федор Бурлацкий, государственный деятель, долгое время особа, приближенная к «царствующему дому» наших руководителей, отрицает само понятие «россияне», следовательно, отрицает и российскую государственность. Он что — сторонник махновских вольных республик? Десятки мелких государств на территории России — не совместно ли с Бурлацким сочинялись эти проекты разными зарубежными мечтателями?

Считаю, что права каждого, самого маленького народа Севера и Сибири, Кавказа и Урала, Дальнего Востока и Поволжья должны быть соблюдены, культура и религия, национальные обычаи и обряды должны развиваться в соответствии с волей каждого народа, но в рамках единой российской государственности.

В одной из самых серьезных работ о российской государственности, вышедшей в Париже,— «Возрождение» и белая идея» Георгия Мейера, которую давно бы следовало опубликовать у нас в стране, можно прочитать: «Наша старая Империя времени Екатерины II, Александра I и вся тогдашняя петербургская политика России не были националистскими (в некоторых отношениях они были прямо-таки антинационалистскими), они были национальными в истинном значении этого слова, т. е. ...возвеличивали Россию... «Немец... финляндец... грузин... татарин... Это и есть Россия»... Что означают эти слова Николая I? Они означают, во-первых, что все подданные российского Императора, без различия племени и вероисповедания, составляют единую имперскую семью; что в Империи не может быть, в племенном отношении, подданных первого и второго сорта; что она не может делать различия между родными своими сыновьями и пасынками, между туземцами и пришельцами; что всякая политика обрусения противоречит идее Империи по самому существу». Конечно, непривычные обороты — Империя, вероисповедание, но вдумайтесь в смысл. Строя сегодня новую российскую программу возрождения, неизбежно придется обращаться к трудам ученых и мыслителей, занимавшихся основами российской государственности.

Вспомним и Константина Леонтьева: «Я не понимаю французов, которые умеют любить всякую Францию и всякой Франции служить. Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию всякую я могу разве по принуждению выносить. Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего шаг за шагом дошли уже многие французы, т. е. до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить...»

В этом утверждении русского мыслителя мне интересны не суждения о французах, сегодня скорее можно обратить это резкое утверждение Леонтьева к России и русским. Важно другое — любить ли нам всякую Россию или терпеть оную, пока мы не сделаем из нее великую и свободную? Важно отрицание пассивности и утверждение идеи государственного строительства... Остановить разрушительный пафос перестройки...

Главное, что мы сегодня усердно — все без исключения — разрушаем у себя то, что является незыблемым законом во всех западных странах. Вместо того чтобы избавляться от одряхлевшей идеологии, мы избавляемся от институтов государственности... Мы избавляемся от пионерского движения, но освободи его от немногих политизированных символов — и мы получим готовое скаутское движение со своими отрядами юных разведчиков, формой, походами, военно-спортивными играми. (Не пора ли «Огоньку» выступить против детского милитаризма в скаутском движении Западной Европы? Могу подкинуть фактов.) Наша милиция по строгости своей не сравнима с европейской полицией. В Швеции, к примеру, тюремное заключение ждет тех, кто сел выпивши за руль машины... А разве не удивляют советских людей на Западе анкеты, которые приходится заполнять? Как при устройстве на оборонный завод, не меньше. И что-то не слышно протестов в нашей левой прессе. Зачем таможенникам ФРГ при получении транзитной визы сроком на сутки знать, когда я женился? Удивительное спокойствие, с которым жители Европы воспринимают даже излишнее соблюдение правил государственными служащими. Они понимают: спокойствие и порядок в стране нужны именно для существования демократии. Что полная демократия возможна только при строгом соблюдении законов, а значит — при сильной государственной власти, также основанной на законе. Выше закона нет ничего.

А вот что считает президент Южной Кореи Ро Дэ У: «Цель этих изменений (в Южной Корее.— **В. Б.**) — демонтаж старой авторитарной системы и введение подлинной демократии. За три года процессы демократизации, дух свободы и движение к самоуправлению распространились во всех сферах жизни общества... Вместе с тем необходимо признать, что в условиях переходного периода накопившиеся требования различных групп и слоев общества прорвались в одночасье, порой нарушая спокойствие и стабильность. Некоторые радикальные группы пытались достичь своих целей посредством насилия и разрушения... Поскольку построение демократии возможно лишь на основе соблюдения прав и порядка, естественно, что правительство по настоятельному требованию большинства населения обеспечить стабильность в обществе вынуждено было пресекать насильственные действия, противоречащие закону. Было бы ошибкой считать подобные меры правительства репрессиями и подавлением демократии».

Старая российская проблема — разумное сочетание интересов народа и интересов государства. В данном случае — сочетание интересов каждого из народов, живущих на территории России, и интересов единого российского государства. Одним из первых изложил свою концепцию будущего развития России Александр Солженицын. Так как публицистика этого русского пророка пока еще недоступна российскому читателю, приведу главные выводы его программы:

«Может быть, как никакая страна в мире наша родина после столетий ложного направления своего могущества (и в петербургский и в советский периоды), стянувши столько ненужного внешнего и так много погубивши в себе самой, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем внутреннем развитии: и духовно, и как последствие — географически, экономически и социально... Мы — устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам: что подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хилеют и непригодны стали для житья деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противоестественные города с торопливыми нелепыми постройками, где мы отравляемся, издергиваемся и вырождаемся уже с юных лет. Изчуречие женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство, потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка — целые духовные пустыни плешами выедают наше бытие, и только на преодолении их ожидает нас престиж истинный... А еще ко всему, похваляясь своею передовитостью, мы рабски копировали западный технический прогресс и вместе с ним бездумно впоролись в кризисный тупик...

Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать свое горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного доме. ...Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности.

К счастью, дом такой у нас есть, еще сохранен нам историей, неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державной рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим свое национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока.

...Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, не обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его

пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса.

...Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно укрепить эти пространства.

Северо-Восток — более звучения своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор самоограничения, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; все развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан, направит к расцвету внутреннему, а не внешнему».

Не скрываю, я сторонник этой программы самоограничения и внутреннего расцвета России. Она не приведет к изоляции, да в конце XX века изоляция и невозможна, но когда же нам всем надоест радоваться успехам в космосе, внешнеполитическим успехам в Африке и Антарктиде? Наш Президент — любимец всей западной публики, но лучше ли от этого стало жить доярке на Вологодчине, шахтеру в Кузбассе, лесорубу в Карелии, якутскому оленеводу? Да, он полезен, этот внешнеполитический успех, если он реализуется во внутреннее развитие России, если помогает нашему возрождению. Иначе зачем он? Теперь мы понимаем, почему американцы традиционно невнимательны к внешней политике и определяют успех своего президенте по качеству жизни в США. Единственный критерий на все времена.

А любителям геополитических размахов, даже среди своих друзей, я скажу — посмотрите внимательно на карту: разве мала Россия? Но как она еще пуста! Чем вкладывать миллиарды во внешнее, объясняя это стратегическими интересами, не лучше ли на миллиарды построить на Тихом океане наши российские Лос-Анджелес и Сан-Франциско, столь необходимые нам мощные океанские порты для всей Сибири? Разве это не стратегичнее? Если бы Южно-Сахалинск стал одним из крупнейших центров на Тихом океане, то и спорных вопросов с Японией могло бы не быть! Всех манит пустота наших северо-восточных пространств. Представьте на минуту, что все европейское побережье или все американское побережье было столь же запрещено для проезда и проживания своих граждан, как и поныне запрещено, засекречено, заграничено все наше Тихоокеанское побережье. Это меня удивляло с детства. Все государства столетиями рвутся к выходу в море, в океан и самым интенсивнейшим образом осваивают прежде всего побережье. Вдоль Атлантического океана, Средиземного моря, Балтики вы насчитаете сотни крупнейших портов мире. Россия столетиями билась за выход к Балтике, Черному морю, и вдруг — сознательная гигантская пустота нашего побережья на Тихом океане. Камчатка с ее удивительным климатом, с богатствами недр — ей бы с Японией равняться, а она до сих пор служит объектом для все тех же запретов да туристских песен, где символизирует нечто глухоманное и диковинное. А разве не то же мы видим и на мурманском побережье? Где тоже все запрещено, закрыто и пустынно. Это спор не с военными. Кстати, и А. Солженицын пишет: «Силы защиты должны быть оставлены... соразмерно с непридуманной угрозой», так что чистым пацифистом его не назовешь, для этого он достаточно хорошо знает историю России. Но ведь это все — секреты не для натовских и американских спутников, радарных систем наблюдения и компьютерных банков информации. На Гавайях взлетают рядом пассажирские авиалайнеры и новейшие военные самолеты не потому, что американцам нечего скрывать. А потому, что зачем скрывать то, что невозможно скрыть.

Это все — от неумения и нежелания разумно хозяйствовать. Так предоставьте другим!

Но захочет ли учитывать столь разумную программу нынешнее российское правительство? Говоря о проблемах Грузии, тот же Чабуа Амирэджиби заметил: «Идя к демократии, прийти к тоталитаризму — эта опасность возникает тогда, когда народ, потеряв ориентиры, может повернуть за теми, кто его интересам готов предпочесть собственные интересы и амбиции». Не знаю, как в Грузии, но мне кажется, это предположение более определяет нынешнюю ситуацию у нас в России. В единственной из республик, где патриотические силы по ряду причин наиболее разрозненны и не представляют еще серьезного фактора в расстановке политических сил. Не будем скрывать: есть недоверие к нам, чему способствует денационализированная пресса, есть доверие к новым глашатаям тотального разрушения. Виноваты и мы сами. До сих пор, к примеру, руководство Союза писателей России вместо опоры на народ предпочитало заигрывать с властью, с аппаратом. При всем уважении к одним руководителям, при неуважении к другим я вижу общее — утрату чувства реальности, абсолютную оторванность от общего движения. Наши лидеры искренне считают, что нам поможет контакт с партаппаратом. Уже рядовые коммунисты не надеются на свой аппарат, а мы до сих пор втянуты в партийный шлейф. Хорошо сказал Юван Шесталов: мол, мы в Ленинграде поддержали партийное руководство, но оно не поддержало нас... То же и на уровне СП России. Теряя поддержку у народа, мы опираемся на партийные коридоры власти, а они громогласно предают нас оптом и в розницу...

Пусть партия разберется сама в своем кризисе. Я не знаю, то ли это капитулянтская политика Имре Надя, который из окна своего кабинета наблюдал, как вешают на фонарях рядовых партийных работников, и называл вешателей народными спасителями, спасая собственную шкуру, то ли это осознанная хунвейбиновщина, «огонь по штабам» в целях завоевания собственной популярности, пропагандируя разгром собственной партии...

История покажет! Но нам в этой дурной политике участвовать не с руки... Это же нас в партийных газетах называют «русскими фашистами», нам затыкают рты!

Интересно, что занимаются разгромом собственной партии не столько рядовые работники (райкомовцы, по сути своей скорее хозяйственники, организаторы, бизнесмены, менеджеры — и плохие, и хорошие, — но к идеологии собственно партии имеющие косвенное отношение), сколько работники ее штаба, ее же давние идеологи, ответственные функционеры — бывшие секретари обкомов и члены ЦК (Б. Ельцин), ректоры Высшей партийной школы (В. Шостаковский), референты и работники идеологических отделов ЦК (Н. Шмелев, Л. Карпинский, А. Беляев), ее идеологи, партийные пропагандисты самого высокого уровня (Ю. Афанасьев, Е. Яковлев, Ф. Бурлацкий). Что это — искреннее перерождение или запланированный переход в коридоры новой власти? Им-то мы и подчинялись, и подчиняемся до сих пор.

Союзу писателей России не надо заниматься политикой. Наша высшая цель — духовное, культурное и христианское возрождение России. Для мусульманских народов России — мусульманское возрождение, для буддистов — буддистское...

При блоке с партаппаратом мы обречены на поражение. Разве не звучит фарсом переиначивание великой столыпинской фразы в «Платформе патриотических сил России»: «Нам нужна великая советская Россия»?!

Я не призываю к борьбе с Советской властью или с коммунизмом. На мой взгляд, антикоммунисты и антисоветчики — это оборотная сторона той же самой медали, это родные братья наших партийных демагогов. Нам сегодня, пусть не время, надо уйти вообще от всех идеологий, кроме идеологии возрождения страны. К тому же, будучи буквалистом, можно объявить о том, что сегодня у нас — официально — нет советской власти, есть «президентская власть» как форма правления. Значит, нет и «советских людей», есть «президентские люди», нет «советской литературы», есть «президентская литература» и «президентские писатели».

Чтобы не выглядеть сначала смешно, а потом и трагично, в новой литературной политике нам необходимо отказаться от любого идеологизирования, от любой политизации. Политика меняется, а Россия остается! В наше смутное время возможно все, возможны любые перемены. Среди писателей России есть убежденные коммунисты и убежденные эсеры, убежденные монархисты и убежденные анархисты. Пусть будет так!

Объединяет всех нас одна, воистину великая задача — духовное и религиозное возрождение России. Мы должны создать независимый свободный Союз писателей России. Все, кто любит Россию, должны быть в наших рядах. Надо отказаться от сектантства. Разве не любят Россию Е. Носов и Б. Можаев, разве не патриоты России А. Солженицын и М. Растропович? Многие из тех, кто сейчас в «Апреле», тяготятся его дешевым политиканством и до конца преданы России. Мы с ними близки. Барьер в Союзе писателей России должен быть один — перед литераторами, презирающими и ненавидящими Россию, так же как и все остальные народы и республики... Вот это и будет наша высшая политика. Объединение российской культуры. Конечно, Союз писателей России должен быть полностью независим от любых партийных и общественных структур, в том числе и от Союза писателей СССР. У нас сейчас в России есть как бы российские писатели и «союзные писатели». Чего нет ни в Грузии, ни в Эстонии, ни в Молдавии. Нет «союзного языка» и нет нейтральной «союзной территории», не должно быть и нелепых «союзных журналов». Разве не русский писатель — Сергей Залыгин?

НАША ЦЕЛЬ — ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МЕРТВЫХ СТРУКТУР И ЗАЩИТА РОССИИ. Только в таком двуединстве, я уверен, мы укажем дорогу пробуждающемуся национальному сознанию.

Для того чтобы стать духовным центром освобождающейся России, мы должны сами освободиться от космополитизма, партийной ортодоксии, чиновничества, воинствующей бездарности...

Мы должны сами себе сказать — прежде всего мы Союз писателей. Много ли из заполнявших коридоры наших литературных зданий литературных генералов имеют подлинное отношение к литературе?

Не потому ли так упал авторитет писательских организаций в глазах народа?

Давайте не забывать, что это на российском секретариате громили не так давно наши секретари Михаила Лобанова за его знаменитую статью. Мы хоть повинились перед ним? Нет.

Давайте не забывать о том, что это недавние секретари, уютно расположившись, уложили наповал несомненного лидера русской критики Юрия Селезнева. Был ли кто-нибудь из них на его могиле? Нет.

Давайте не забывать о разгромах Владимира Крупина, Валентина Пикуля, о помоях, вылитых на Солженицына.

Давайте не забывать, что никто из секретарей не пошевельнул пальцем в защиту узника брежневских лагерей прекрасного русского писателя Леонида Бородина. Прошел мимо Варлама Шаламова...

Мне скажут, что в тех условиях иначе и нельзя было, что секретариат даже смягчал удары, направленные из ЦК и ЧК. Допускаю... Но поневоле вырабатывалась психология раздавленного человека. Даже сталинская эпоха не знает такого измельчания личностей, такой мелкотравчатости, к чему мы пришли в благополучный застой. Лишения очередной премии боялись больше, чем лишения свободы в тридцать седьмом.

Способны ли разогнуться деятели такого типа? Сомневаюсь.

Писательская Россия — это не Поволяевы и Феди, а Леонид Бородин и Анатолий Ким, Дмитрий Балашов и Юрий Кузнецов, Владимир Личутин и Борис Екимов, Виталий Маслов и Михаил Ворфоломеев, Вадим Кожинов и Николай Коняев, Степан Лобозеров и Виктор Лихоносов...

Это алтаец Бронтой Бедюров и якут Николай Лугинов, чуваш Михаил Юхма и бурят Владимир Митыпов...

Я сознательно не говорю о наших известных мастерах прозы В. Белове, В. Астафьеве, В. Распутине, В. Солоухине, Л. Леонове, О. Волкове, Е. Носове...

Да разве может быть такая писательская Россия несостоятельной? Не забыть бы и о своих сверстниках — П. Краснове, Н. Скромном, П. Паламарчуке, Н. Шипилове. Талантами была, есть и будет богата Россия. Разве не ощущаем мы некий духовный оазис в Вологде и Иркутске, Краснодаре и Красноярске?.. Из одного Иркутска примерно в одно и то же время вышли Валентин Распутин и Александр Вампилов, Леонид Бородин и Михаил Ворфоломеев... Недавно я прочел замечательный роман еще одного иркутянина — Леонида Мончинского — «Прощеное воскресение». Это событие в нашей литературе, а кто знает о нем? А «Новый мир» не стал печатать. А мы говорим, что нет прозы!

Так, может, научимся мы беречь таланты? И, учреждая премии, научимся понимать разницу между Н. Тряпкиным и сворой литчиновников от поэзии, между В. Личутиным и политическими борзописцами?

Только научившись уважать подлинный талант, сделав ставку прежде всего на талантливых россиян, мы сможем обрести подлинное уважение народа, сможем стать ядром духовного возрождения, центром национального сопротивления.

Многонародная российская нация за тысячу лет своего существования выработала духовную культуру мирового значения, и, как бы ни топтали ее свердловы и бухарины, как бы ни морили по лагерям сталины и брежневы, как бы ни изгалялись над ней «стаи окультуренных слуг нынешнего престола», она способна и сегодня, как птица Феникс, возродиться из пепла. Только бы не мешать!

Но когда вы видели, чтобы российской национальной культуре не мешали существовать?!

Национальная Россия — этот лозунг писали на своих знаменах наши отцы, деды и прадеды. Этот лозунг выпестован нашей духовной аристократией, нам вручают его последние представители дворянства и купечества, казачества и офицерства, пронеся его сквозь все мытарства эмиграции. Только поняв себя как многонародную нацию и вернувшись к национальной российской культуре, мы сумеем преодолеть заразу все разъедающего сепаратизма, навязанного нашим народам интернационалистами всех мастей, готовых разделять и властвовать над нами — над татарами и карелами, бурятами и якутами, поморами и казаками.

Наш лозунг — объединение духовных сил России. Это касается и структур российского союза. Считаю, что, перестав быть политической надстройкой над угнетенным народом, орудием в руках партократии, мы станем творческим писательским союзом национальной России.

Время компромиссов прошло. Защита российской нации и российской культуры — наш творческий, художнический долг! Россия должна играть белыми!



ПОЭЗИЯ



ГЕННАДИЙ ЛУТКОВ



Я НЕ СГИНУЛ НА ШАХТАХ

* * *

На зеленую Троицу
выпущен был я из клетки.
Я не зверь.
Но считалось, что в клетке надежней мне быть.
За колючкой сидеть
присудили мне две пятилетки.
Я одну отпыхтел. Повезло.
Не извольте судить.
Мир зеленым встречал,
позабытой листвой и травою.
И кувшинкою мокрой,
что держит стекло стрекозы.
Пылью дальней дороги
и степью моей ветровою.
Степь дрожала, двоилась
в кристаллике теплой слезы.
Я зеленый еще,
а уже вон чего за плечами!
Я зеленый еще,
а уже побывал «во врагах»!
И зеленый камыш,
поделенный на стебли лучами,
Так приветно кивал мне
на белых донских берегах.
Я не сгинул на шахтах,
наверное, мне пофартило!
Не свалил меня голод,
не бросил в больницу недуг...

Как зелеными ветками
убрана густо квартира,
Чтоб и ночью витал
надо мною березовый дух.
На зеленую Троицу
выпущен был я на волю.
Силу все набирало,
земля неустанно цвела.
Я вернулся к забытому,
как возвращаются к полю.
Летом воля милее,
хотя и зимою мила.

* * *

Клеймят коммунистов в стране
Октября.
И зря Перекоп, и рейхстаг тоже
зря!..
Такое затеять попутал нас бес:
Зря рвали мы пуп, чтобы встал
Днепрогэс!
Из нашей дали все былое узря,
Твердим: это зря... Это зря...
Это зря!

Туда и Гагарин, и Ленин туда,
И молот, и серп, и с лучами звезда.
Отечество наше больное! — оно
Свершеньями многими осветлено.
Оно сохранило и память, и честь.
Есть путь перед ним и грядущее
есть.
И там свою ношу на плечи беря,
Отмякнув душой, скажем тихо:
не зря...

* * *

В домах на первых этажах
решетки —
Спасение от воров, как считают.
Но чтоб они не смахивали очень
На окна тюрем —
здесь пруты стальные
Не в клетку, а с фантазией иной!
Решетка в виде солнца
восходящего,
Расставившего веером лучи,
Или цветка с крутым изгибом
листьев,
Иль волн, кричащих краской
голубой —
Такими их всегда рисуют дети.
Но дух неволи все же здесь парит!

Людей свободных лица за
решеткой,
Цветы и телевизор за решеткой,
И детский смех, и песни —
за решеткой!
Тоскливо заточенье добровольное.
А со второго этажа и выше
Смеются окна — как они
свободны!
Ясны, открыты для ветров
и солнца,
Вознесены над местом заключенья,
Над первым полурабским этажом.
Не понимаю — как всю жизнь
прожить
За этой охранительной решеткой?

* * *

Отлит недавно — светел и тяжел,
Разговоренный звонарем сутулым,
В раскачку колокол большой
пошел,
Наполнив поднебесье медным
гулом.

Удар — и пауза.
И вновь удар.
И звуки, отрываясь от металла,
В степь улетают, в августовский
жар,
И медднозвонной вся округа стала.

Все чаще звон, он покоряет высь.
И в главную мелодию набата
Колокола, что помельчей,
вплелись,
Чтоб подкрепить могучего собрата.

Как заливаются воскресным днем!
Слух радуют и радуются сами!
Как будто десять троек с
бубенцами
Влетело в этот башенный проем!

Трезвон! Ликует небо и земля.
Псет нутро у звонаря седого,
В миг вдохновения почти святого
Святыми без разбора быть веля.

И звуков, звуков осыпь на луга,
На старицу, что с голубинкой
летней,
На вербы, на протоки, на стога.
И медной точкою удар последний.
И тишина...

* * *

Таинственность старых дворов!
Качели, сирени дремучесть.
Несчетность ребячьих даров,
Ребячья вихрастая участь!

Иной предвоенной поры
Смешливые наши заботы.
Пропахшие пылью дворы,
Далекого детства оплоты!

Тридцатых пронесся здесь вихрь,
С хулою троцкистов, эсеров.

Веревок не счесть бельевых
В прищепках, от времени серых.

Здесь слышались плачи войны,
Здесь жизни мелькали, сгорая.
Следы антрацита видны
У двери трухлявой сарая.

Петель проржавелость и скоб.
Все так отрешенно, нездешне.
И поднята, как перископ,
Из глуби былого скворешня.

* * *

Осыпан воробьями куст
У мокрой мартовской дороги.
Под колесом ледышек хруст,
В себе таящий знак тревоги.

Той, в ожиданье перемен,
Всесветного раскрепощенья.

И степь в неярком освещенье
Осознает свой долгий плен.

И за душу меня берет
Все, что вернулось из былого.
И степь, и ветра полон рот
Холодного и молодого!

* * *

Запах сена и сбруи...
в сарае лучи из-под крыши...
Крыльев легкий шлепок —
здесь ночевка седых голубей...
Я встаю с кожушка —
и травинки, что колки и рыжи,
Как из снов моих теплых,
торчат на макушке моей.
Дверь скрипучая
день голубой мне впускает навстречу,
На пороге столкнувшись,
лицо он обдаст ветерком.
Мокрой вербой качнется,
и ласточки писком отмечен,
Он ромашковой пылью
взойдет над болтливым телком.

Льдинкой тающей
где-то в пространстве звезда над сараем,
Тропка в сливах опавших,
под яблоней старой кровать...
Каждым утром мы заново
все для себя открываем.
Так и будет.
Ведь есть еще что на Земле открывать...

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Третий год в печати появляются материалы о повести А. Жигулина «Черные камни». Автор рассказал о подпольной молодежной организации КПМ (Коммунистической партии молодежи), разгромленной абакумовской охранкой в 1949 — 1950 годах. Он представил эту организацию как террористическую группу юнцов, готовящихся убрать любыми средствами Сталина, предвосхитивших XX съезд КПСС. В ряде обстоятельных материалов журналистов, знакомившихся с делом, в областной и центральной печати убедительно доказывалось на языке документов, что КПМ была «помощником ВКП(б) и другом Ленинского комсомола», что ребята, острее своих сверстников видевшие недостатки в окружающей жизни, хотели помочь Родине, а их за это бросили за решетку. Еще одно страшное преступление сталинщины!

Автором повести завышена, искажена деятельность КПМ. А. Жигулин обвинил своего ближайшего друга, тоже члена Союза писателей СССР, Геннадия Луткова, закамуфлировав его псевдонимом Чижов, в предательстве (теперь Жигулин псевдоним в своих статьях открыл). Якобы Лутков — Чижов выдал чекистам организацию.

Семья Геннадия Яковлевича Луткова подверглась в Воронеже яростному шельмованию. Об этом знают в городе многие («Советская Россия», «Молодая гвардия», «Литературная Россия» в свое время опубликовали материалы, снимающие обвинение в предательстве). Тем не менее в средствах массовой информации, в новых переизданиях книги «Черные камни» Жигулин продолжил свои обвинения против бывшего товарища по КПМ и Союзу писателей.

Вопрос о «предательстве» возник и на отчетно-выборном собрании писательской организации 23 августа 1990 года. И её руководство сделало официальный запрос в Управление КГБ по Воронежской области на имя его начальника генерал-майора А. И. Борисенко:

1. Действительно ли Г. Я. Лутков выдал организацию КПМ?
2. Какую роль играл Г. Я. Лутков в КПМ?

Получен ответ. И мы приводим его полностью.

И. о. председателя правления Воронежской писательской организации тов. ПЫЛЕВУ С. П.

г. Воронеж.

На Ваше письмо сообщаем, что в архивном уголовном деле на Батуева, Луткова, Жигулина и др. членов КПМ никаких материалов и данных о причастности т. Луткова к провалу организации не имеется.

Более того, на первых допросах т. Лутковым было названо меньше членов КПМ, нежели Батуевым, Жигулиным и др.

Неоднократное изучение и анализ всех архивных материалов дела позволяет нам утверждать, что автор повести «Черные камни» безосновательно обвиняет Чижова в предательстве.

Что касается роли Луткова Г. Я. в организации КПМ, из материалов дела усматривается, что он был одним из активных ее руководителей: являлся «членом Бюро ЦК и первым секретарем обкома КПМ», «автором гимна», и именно по этой причине его фамилия была включена вместе с Батуевым и Рудницким в письмо Абакумова Сталину с предложением об их аресте.

Зам. начальника Управления А. НИКИФОРОВ.



НОВЫЕ СТИХИ

ФЕЛИКС ЧУЕВ

* * *

Народ наговорился всласть,
напелся песен запрещенных,
уже и власть ему — не власть,
и ни поэтов, ни ученых.

А дальше что? Какая честь
персоной выглядеть приличной,
зачем-то быть, и спать, и есть,
мечтать о тряпке заграничной...

А дальше что? А все с нуля,
ничтожность мысли и поступка.
Нет полушарий. Есть Земля,
Земля, лишенная рассудка.

Во тьме опять родится он,
и реки алые прольются,
и вновь откроется закон
эпохи войн и революций.

* * *

Как это будет?
Какая погода
в тихой державе на грозном пути?
Сунулись в воду, не ведая броду,
илистым дном непривычно идти.

Ливнями вогнутый, словно корыто,
камень лежачий обступит толпа.
Надпись зеленой землею забита,
для драгоценных потомков слепа.

Кто-то потрогает камень рукою,
холодом вечным слова обожгут.
Неотомщенное и дорогое,
что-то неслабое кроется тут.

Все-таки чувствую: нас не осилят,
все-таки верую: наша возьмет,
и на щербатых скрижалях России
в стылой степи отдохнет небосвод.

* * *

Акварельные дали
рисовала страна.
Мы за Родину пали,
а она не нужна.

За Победу, за правду,
за российские сны.
Мы погибли — и ладно,
мы уже не нужны.

Наши звезды ломают,
топчут наши цветы,
словно после Мамая,
в душах даль пустоты.

И улыбки не видно
вдоль салютных минут,
даже нету напитка,
чтобы нас помянуть.

* * *

Под флагом черным или алым
воспрянет новая орда...
Я под конвоем либералов
дойду до главного суда.

И там поймут меня, однако,
я буду все-таки прощен
хотя б за то, что, как собака,
не суетился меж знамен.

АЛЛА КОРКИНА

* * *

Мысль устает — она живая.
Так стража спит сторожевая,
когда бездействием измучена,
а ночь тревогою озвучена.
Как выйти ей из тупика?
Дорога мысли нелегка.
Она плутала в лабиринте
и побеждала косность в спринте.
Она, как лазер, тьму пронзала
и нервничала у вокзала
пред эмигрантским злым безвестьем
и пробивалась к ним в предместье.
Не всем она была нужна,
всегда горька, а не нежна.
И гений века и злодейства
душил в объятьях фарисейства,
в «шарашках» не давая ход,
но мысль грядет, как ледоход.
Запретной гостьей, нежеланной,
она горела новой Жанной.
И гению лишь одному
досталась — он развеял тьму.

Черный хлеб любви

Но если б только жить на черном хлебе
досталось матери, то кто об этом плачет,
но, доченька, застенчивая лебедь,—
и худоба твоя, и неудачи.
Но если б только зябнуть одиноко
досталось матери,
она б перетерпела,
но видеть, как в отчаянье глубоком
дочь извелась — то плакала, то пела.
То собиралась долго, уезжая,
в жизнь непонятную, по оклику подруги...
И знала мать,
что, бездной угрожая,
мир девичий был невзначай поруган.
Мать бедная, мы все твои таланты,
взращенные на черном, добром хлебе.
Русь деревенская, ты осознаешь траты,
когда увидишь всех, кто выбрался на гребень.
Но никому не выстоять, я знаю,
на ледяном ветру и славы и обмана,
когда бы родина,
всей синевой пронзая,
страной младенчества не врачевала раны.

* * *

Как мама счастлива — впервые Коктебель.
Жизнь хороша, как в халцедонах мель.
Она ведет себя, как неофит —
со старичком на пляже говорит
так запросто, как будто не с «маститым»,
и тема их — борьба с радикулитом.
А мне потом: «Вот милый старичок,
а дочь его так на отца похожа...»
Меж тем она жена и дочери моложе,—
мать удивляется: «Ну кто б подумать мог!»
Один сосед — профессор из Иркутска,
о нем жена и дочь заботливо пекутся,
другой — поэт известный — как же прост!
И рыбою в воде мать среди «звезд»!
В неведенье ее забавная есть прелесть,
и все, что нам обрыдло и приелось,—
ей внове все, и зрением другим
увиден каждый: лги или не лги,
но сущность человеческая все же
не замутится фразой или ложью.

* * *

Н. Л.

Страна в застое, судьбы на изломе,
и противостояние тайком,
но хорошо мы жили в этом доме,
и согревались, как пред камельком.
Дом творчества похож
на богадельню,
лишь отзвуки каких-то слав и драк,
но поутру идем толпой в деревню
и веселит заезжий нас чудак.
Когда же по субботам приезжала
хозяйка чаепитий, то тогда
гитара своей речью поражала,
Высоцкий вел в ушедшие года.
И были, словно долгие поминки,
когда хрипел свое магнитофон,
те вечера какой-то дивной синьки,
где жизни остановлен марафон.
Как хочется нам счастья и покоя.
Да где они? Вот выпадут, шутя.
Но лето отзвучало золотое,
магнитофоном старым шелестя.

* * *

Митинги, митинги по стране
вспыхнули — не унять!
В деревне дедовской по весне
некому митинговать.
Сколько было трудных дней,
разоренья, доносов, тоски,
и боль, что с годами видней, видней
серебрит чужие виски.
Выглянет радостно сосед-отставник,
летом он здесь гостит.
К окошку тусклому кто-то приник—
на странных гостей глядит.
И все... И такая стоит тишина,
некому бунтовать.
И пусть скорбит теперь вся страна,
как сыновей потерявшая мать.

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕТИННИКОВ

Тетя Поля

В нашем доме старом, довоенном
тетя Поля горемычная живет.
Спать она ложится рано,
как в деревне,
как в деревне, вместе с солнышком
встает.

Вспоминает часто, как, бывало,
на работе горбилась она
и еще о том, что кровь сдавала
двадцать раз, когда была война.

Мне рассказы эти грустно слушать,
откровенье их по сердцу бьет.
Но больнее слов тех ранит душу
безысходность — тетя Поля пьет.

Я знавал старушек хитромудрых,
сам у них порой бывал в долгу.
А она ко мне: — Не дашь ли
рублик?
Скоро будет пенсия, верну.

Разом вспыхнут бойкие соседки,
будто черт вступил на их порог.
Станут дружно, шумно, как
наседки,
обличать российский наш порок.

— Не ругайтесь, — крикнет им,—
побойтесь,
бабы, бога! Я ж вас не сужу.
— Тетя Поля, что вы? Успокойтесь.
Так нельзя. Давайте провожу.

Старая. Она легко ранима.
Так какого нужно им рожна?
Всех родных давно похоронила,
никому на свете не нужна.

Мы пройдем с ней до ее подъезда
от судов и пересудов прочь.
Утешать больную бесполезно,
все равно ей не смогу помочь.

Лишь в дверях признается устало:
— Страх берет, пережила свой век.
Пропадаю. Неужели стала —
господи! — и впрямь не человек?

* * *

Давно блюстителей Орды
не кормит русская мотыга.
Но до сих пор в душе видны
приметы сумрачного ига.

Ужель казенным потолком
нам служит шапка Мономаха
и впредь ходить под колпаком
холопской зависти и страха?

Ведь побеждали мы не зря
врагов. Кого ж теперь бояться?
Доколь родимая земля
слезами будет обливаться?

Довольно было немоты!
Спасибо небу за уроки...
Когда, когда отверзнут рты
России гордые пророки?

* * *

Бейся, сердце! Душа, не молчи!
Вижу — в мире творится такое
безобразье, что даже грачи
остаются мятежной толпою
зимовать в подмосковных лесах,
в городах, пропитавшихся смрадом.
О каких помышлять чудесах,
если падаль валяется рядом
с чистым телом российской зимы,
развращая доверчивость нашу?
В этом — горестный привкус
тюрьмы.
Если я хоть чуть-чуть приукрашу,
значит, незачем строчки слагать...
Ждут Россию унылые годы,
если только на птиц возлагать
очищение нашей природы.

+++

АНАТОЛИЙ ДРОЖЖИН

* * *

Приглянулось собакам на сене.
Наступила такая пора.
Затянулись у нас выясненья —
так и ясность уйдет со двора!

Созиданью нельзя без крушенья,
но не только же тень — на плетень!
Ясным светом, теплом и движеньем
обеспечить бы завтрашний день.

Катят волны по выпуклым рекам,
слепо тычется дух во плоти.
Ясный свет, освяти человека
и не дай ему спятить в пути!

О покаянии

Жизнь прожил в поре окаянной
и в том виноват без вины.
Я должен теперь в покаянье
тереть на коленях штаны?

Я вкалывал до отвращенья
со всею великой страной.
У тех ли просить мне прощенья,
кто кукиш держал за спиной?

Кто радостное и пустое
раздумье носил на челе
и пел аллилуйю в застольях,
припрятав крамолу в столе?

Двурушник, он выждал награду,
и впалая грудь напряглась...
Будь славен, кто выстрадал правду,
а не придержал про запас.

Сибирь

Виктору Петровичу Астафьеву

Спасибо, Русь, что душу упасла!
Мы, помнится, в учебниках зубрили:
Россия станет прирастать Сибирью...
Литература ею приросла.

Незыблемая преданность корням,
возвышенная совестливость света.
По городам шатаются поэты,
прозаики — живут по деревням.

Тут обостренней зрение и слух,
и речь течет в согласье с родниками.
Как дерево чувствительнее камня,
так у деревни трепетнее дух.

Тут сапогами помыкает грязь,
но разумом не понукает лживость.
Исконных дел таинственная
живость,
исконных слов естественная связь.

И нас не сбить с дороги, с толку,
с ног,
за что бы, кто и как ни поносили,
пока в Овсянке, посреди России,
пульсирует, как сердце, огонек.

+++



Панорама мнений

РЫНОК: ПАНАЦЕЯ ИЛИ ЛОВУШКА?

МИХАИЛ АНТОНОВ

ЭТИКА ЖИВОГО ХРИСТИАНСТВА

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА В ТРУДАХ С. Н. БУЛГАКОВА

...Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4.

Когда-нибудь наши далекие потомки будут изумляться тому, как сумели мы в столь короткий срок разорить складывавшуюся тысячу лет великую державу, довести до полного развала ее народное хозяйство, на котором держалось веками не только благосостояние самого Отечества, но и экономика половины Европы. И будут задавать вопрос, все чаще возникающий и у наших современников: а куда же смотрели советские ученые-экономисты, которых ведь была целая армия?

Ведущие экономисты, правда, заранее составили ответ-оправдание. Они уверяют, что их рекомендации подлинно научны, беда же в том, что директивные органы не слушают ученых.

Здесь ученые мужи слегка лукавят. Многие рекомендации ученых были воплощены в жизнь. Стерты с лица земли сотни тысяч «неперспективных деревень», а автор этого людоедского проекта удостоен звания академика. Не без экономических расчетов строились и целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале, и экологически страшные химические комбинаты в Астрахани и Тенгизе, и Чернобыльская АЭС с никуда не годными реакторами, и каналы Волга — Чограй и Волга — Дон-2. На наше счастье, не все рекомендации ученых и экономистов осуществлены: одни вызвали сомнение даже у правительства, в целом с чрезмерным доверием (если не сказать — легковерием) относившегося к науке; другие не были воплощены в жизнь по причине нехватки средств, третьи пришлось признать никуда не годными под давлением возмущенной общественности.

Но почему же мы пришли к развалу экономики, почему никак не можем дать всем нуждающимся людям добротное жилище, построить в достаточном числе современные школы и больницы, концертные залы и библиотеки? Обычный ответ: нет средств. Но позвольте усомниться.

Почему на нужное средств нет, а на ненужное они находятся в изобилии? А потому, что ненужное... «выгодно» — не стране, не народу (его мнения никто не спрашивает, да и показателей таких нет: советская статистика учитывает абсолютный рост производства и процент выполнения плана, а не степень удовлетворения потребностей населения в той или иной продукции), а ведомству, предприятию, трудовому коллективу или его руководству. Одним словом, в стране, особенно же в ее экономике, царит корыстный личный или групповой интерес, общество разделено как бы на бесчисленное множество своего рода разбойничьих шаек, нередко служащих мафиям и на законном основании или без оного грабящих государство. Так, работникам торговли выгодно, когда люди в магазинах часами томятся в очередях, — тогда покупателю не до придирок к качеству товара, он мирится и с обвесом, и с обсчетом. Материальная база торговли допотопна — склады и хранилища с протекающими крышами, в заборах дыры, через которые не только вору пролезть — машине проехать можно. Потому что торговой мафии **выгодна бесхозяйственность**, ибо позволяет осуществлять различные махинации со списанием, пересортицей и пр., наживая на этом громадный капитал (что хорошо показал Л. Капелюшный в серии впечатляющих очерков, напечатанных в свое время в «Известиях»). Да и в любой другой сфере жизни общества картина в целом та же, отличаясь в подробностях и способах перекачки средств из государственного кармана в частные. Пока человек считает, что на первом месте стоит **его личный интерес, понимаемый только как интерес материальный, денежный**, он всегда найдет способ (или по крайней мере будет стремиться к этому) обойти какой угодно закон, тем более что и в контролирующих органах тоже люди не без обычных человеческих слабостей. Тут экономика вплотную смыкается с миро- и жизнепониманием, с философией, чего никто из советских ученых-экономистов никогда не принимал во внимание.

Вот почему можно утверждать, что вопиющая, невиданная в истории человечества бесхозяйственность нашего народного хозяйства объясняется прежде всего тем, что у нас экономическая деятельность все годы Советской власти ведется без научного, мировоззренческого и нравственного основания, иными словами, без того, что именуется **философией хозяйства**. Честь создания основ такой науки, ныне завоевавшей всемирное признание, принадлежит одному из крупнейших русских мыслителей XX века Сергею Николаевичу Булгакову.

Сергей Николаевич Булгаков родился в 1871 году в городе Ливны (Орловской губернии) в семье священника. Учился в духовной семинарии, где царил дух формальной религиозности, а фактически — безбожия, что надолго отбило у одаренного юноши интерес к православию. Поступив на юридический факультет Московского университета, С. Н. Булгаков увлекся марксизмом, ставившимся в то время едва ли не тиранически-обязательной интеллигентской религией. Привлекало марксистское учение видимостью научной обоснованности неизбежности победы социализма и тем, что отвечало издавна свойственному русской интеллигенции стремлению к служению народу, а также своей установкой на прогресс и всеобщее благоденствие в обществе светлого будущего. Хотя С. Н. Булгакова больше всего влекли философия, филология, литература, он счел своим долгом углубленно заняться политической экономией. Его первый печатный труд «О рынках при капиталистическом производстве» (1896 г.) удовлетворил, вероятно, всех марксистов, но уже двухтомная магистерская диссертация «Капитализм и земледелие», написанная в Германии во время научной командировки, вызвала гнев В. И. Ленина. Еще бы! — Булгаков осмелился оспорить тезис Маркса о преимуществах крупного производства и научно доказал, что именно единоличное трудовое крестьянское хозяйство есть самая эффективная форма земледелия, что деревня — это основа материального и духовного могущества России.

Булгаков вовсе не собирался критиковать Маркса, напротив, отыскав слабые места в теории учителя, пытался подштопать эти прорехи. Однако честное и объективное исследование приводило русского мыслителя к неожиданным для него самого выводам, и совесть не позволяла ему принести истину в жертву партийным догмам.

При всей своей мягкости и созерцательности Булгаков не уклоняется от активной политической жизни и в годы первой русской революции пытается создать новую политическую партию «Союз христианской политики», стремясь возродить традицию неразрывной связи государственной деятельности, экономики и христианской этики.

Революция 1905 года с ее кровавыми эксцессами и страшным озлоблением людей в обоих противостоящих лагерях произвела на Булгакова отрезвляющее действие. Он приходит к убеждению о принципиальной ошибочности марксизма и переходит к идеализму. В знаменитой книге «Вехи» (с подзаголовком: «Сборник статей о русской интеллигенции»), 80-летие которой в 1989 году было широко отмечено за рубежом, он поместил статью «Героизм и подвижничество», где показал принципиальное различие между западноевропейским и русским пониманием нравственного идеала. На Западе почитается герой — человек, который преодолевает внешние препятствия, борется за революционное преобразование общества ради достижения всеобщего благоденствия и счастья, на Руси — святой подвижник, видящий путь к улучшению жизни народа прежде всего через нравственное совершенствование людей, начиная с себя.

В зарубежной научной литературе обстоятельно проработан вопрос о связи экономического строя общества с господствующими в нем мировоззренческими, философскими и религиозными установками. Так, убедительно показано, что капитализм, зародившийся первоначально в католической стране (в Италии), наибольшее развитие получил в странах, где господствуют различные разновидности протестантизма (сначала в Голландии, затем в Англии, наконец, в США). С. Н. Булгаков уловил эту связь еще в начале XX века, что видно из его доклада «Народное хозяйство и религиозная личность», прочитанного в марте 1909 года в Московском религиозно-философском обществе, а также из курса его лекций «История экономических учений». В названном выше докладе он говорит: «Протестантизм в противоположность средневековому католицизму отправляется от принципиального уничтожения противопоставления церковного и светского или мирского, причем мирские занятия, гражданские профессии, деятельность в доме, в предприятии, в должности рассматриваются как выполнение религиозных обязанностей, сфера которых расширяется, таким образом, на всю мирскую деятельность. Одновременно с этим он провозглашает автономию мирской жизни и стремится изъять из-под влияния Церкви, то есть папской иерократии, эту жизнь. **В этом выражается протестантское обмирщение христианства**, сопро-

вождающееся, однако, религиозным этизированием мирской жизни».

О протестантизме и, в частности, об идеологии кальвинизма, сыгравшей большую роль в становлении буржуазного общества Англии и США, нужно сказать потому, что сегодня это общество рассматривается многими экономистами и публицистами в СССР как образец для безоговорочного подражания. Кальвинизм разделил людей на обреченных на вечную гибель и избранных, которым предстоит спастись; ни вера, ни дела не могут изменить заранее предопределенной судьбы конкретного человека.

Булгаков прослеживает весь путь политической экономии от самых ее истоков, начиная с идей ветхозаветных пророков и мыслителей Древней Эллады, показывает противоречивость учений ее классиков и доходит до критического анализа экономической теории марксизма с христианской точки зрения. Это исследование привело его к следующему выводу: «Политическая экономия в настоящее время принадлежит к наукам, не помнящим своего духовного родства... Еще А. Смит в основу своего исследования положил условно методологическое различение альтруистических и эгоистических инстинктов человека, причем влияние одних он исследовал в «Теории нравственных чувств», по ведомству морали, влияние же других — в «Богатстве народов», по ведомству политической экономии. Последняя и начала, таким образом, с дробной величины вместо целого. Но в дальнейшем условно методологический характер и этого различения был позабыт продолжателями Смита.

Классическая политическая экономия в лице Рикардо приняла как догмат учение Бентама (о человеке-эгоисте, думающем только о выгодах и потерях. — М. А.)... Живая психологическая личность была здесь вычеркнута и заменена методологической предпосылкой: «экономическим человеком», общество превращалось как бы в мешок атомов, которым только не следует мешать в их взаимном движении, причем эти атомы остаются взаимно непроницаемыми».

Булгаков подверг сокрушительной критике не только буржуазную политическую экономию, но и экономические воззрения Маркса. Еще Вл. Соловьев в конце XIX века, показав, что капитализм — это варварское, бесчеловечное общество, вместе с тем предупреждал, что социализм, если он останется разновидностью «экономического материализма» и замкнет человека только в рамках производства и потребления материальных благ, вне высокого понимания смысла жизни и своего места в мироздании, может оказаться строем еще более жестоким. Булгаков продолжил эту мысль:

«Социализм, хотя и составил как бы антиномию и к классической школе политической экономии и к манчестерству... в такой же мере механизирует общество и устраняет живую человеческую личность и неразрывно связанную с ней идею личной ответственности, творческой воли, как и манчестерство... он есть манчестерство навыворот или контрманчестерство, с той разницей, что вместо уединенного индивида здесь ставится общественный класс, то есть совокупность личностей с общим интересом, — тот же «экономический человек», но не индивидуальный, а групповой».

Принципиальная ошибочность такого подхода к человеку (неизбежного в теориях атеистов) Булгакову совершенно ясна: «В душе человека сочетаются различные мотивы, как своекорыстные, так и идеальные, и политическая экономия никоим образом не должна вычеркивать из круга своего внимания мотивы второго рода. При определении этого рода мотивов должны учитываться и такие факторы, как общее мировоззрение, как религия», ибо, например, буддизм, античная религия и христианство весьма по-разному влияют на хозяйственную деятельность их последователей (буддистам, например, запрещено копать землю, и вряд ли они смогут поэтому создать экономику, основанную на горнорудной промышленности). «Труд есть не только подневольная тягота, но включает в себя в большинстве случаев в известный этический элемент: он может рассматриваться и как исполнение религиозного или нравственного долга, обязанностей. В связи с религиозными представлениями труд, хотя и «в поте лица», отпечатывается, например, в сознании русского крестьянина как особое религиозное делание». А в монашестве труд входит в систему общей аскетики.

Отвергнув принципиально атеистические системы политической экономии, Булгаков показал, что Евангелие, открывшее новую эру в истории человечества, изменило также, очеловечило и одухотворило понимание смысла хозяйственной деятельности людей. В предисловии к русскому изданию книги И. Зейпеля «Хозяйственно-этические взгляды отцов Церкви» (М., 1913, с. IV) он писал: «Заслуживает особого внимания высокая оценка труда вообще, а в частности и хозяйственного («производительного») труда, которая вводится в жизнь христианством и получает свое выражение в патристической литературе. В той общей переоценке ценностей, которая была совершена христианством, была произведена новая оценка труда, которая вывела его из униженного и презираемого положения и поставила на недосягаемую дотоле нравственную высоту. Эта переоценка труда в христианстве для истории хозяйственного самосознания имеет первостепенное значение, ибо в ней закладывается духовный фундамент всей европейской культуры, основанной на свободном труде нравственных личностей, а не подъяремных рабов».

В то же время Булгаков отрицает и отождествление первохристианства с социализмом, часто встречающееся и в наши дни, и показывает, какая духовная пропасть разделяет эти два явления всемирной истории. Члены первохристианской общины были бедны, но их движение носило не классово-экономический, а общенародный и религиозный характер, их социальные отношения являлись производными от главного, тогда как в социализме социально-экономические отношения выступают на первое место. В первохристианской общине господствовала атмосфера чуда, вступление человека в Церковь было актом интимным и индивидуальным. Социализм же сводит все отношения людей к классовым, тем самым обезличивая личность. Социализм не идет в религиозные глубины души, а ограничивается внешними социальными отношениями, что ведет к усилению классовой вражды. Христианство же переродило античное рабовладельческое общество изнутри, осуществив полное религиозное равенство в Церкви (раб мог стать священником и епископом, а его хозяин — остаться простым прихожанином). Словом, говорит С. Н. Булгаков в работе «Первохристианство и новейший социализм» (в его книге «Два града», т. 2, М., 1911), первохристианство — не потребительский коммунизм, а движение благотворительности и социальной политики. Единственно возможный социализм — это средство осуществления христианской этики, а он стал религией атеизма и человекобожия.

Общий вывод Булгакова таков: экономические теории капитализма и социализма основаны на убеждении в исключительно эгоистической природе человека, стремящегося «поднять» и абсолютизировать «сознание особых своих интересов»[1].

Вот с такой высокой духовной и нравственной точки зрения подходил Булгаков к построению мировоззренческих основ экономической науки. Он первым поднялся над классовыми воззрениями и положил в основу своей теории общечеловеческие ценности, взглянул на экономические процессы как на совокупную хозяйственную деятельность всего человеческого рода. Так появилась его знаменитая книга «Философия хозяйства», ознаменовавшая новый, высший этап в развитии мировой экономической мысли, на котором был осуществлен синтез идей политической экономии, христианства и русского космизма, выявлены экологические (как принято сейчас выражаться) основы нравственного природопользования.

С точки зрения Булгакова, хозяйство есть лишь одно из проявлений вселенской борьбы Жизни и смерти, Добра и зла, Света и тьмы, иными словами — Христа и антихриста. При таком подходе к науке о хозяйстве у нее, очевидно, будут совсем иные критерии, чем при подходе с точки зрения снижения себестоимости штуки продукции.

Булгаков, можно сказать, просто вернул слову «экономика» его первоначальный глубинный смысл, поскольку в переводе с греческого оно и означает «умение вести дом».

Книга Булгакова «Философия хозяйства», вышедшая в Москве в 1912 году, заложившая прочные духовные основы хозяйственной деятельности и мировоззренческие устои политической экономии, была воспринята современниками с недоумением, как разумно не объяснимая попытка отойти от, казалось бы, окончательно восторжествовавшего и единственно правильного материалистического понимания экономики к навеки отвергнутому (как устаревшее, как пройденный этап) идеалистическому. И лишь после второй мировой войны, с обострением глобальных общечеловеческих проблем, за рубежом стали постепенно открывать для себя этот труд Булгакова, с каждым годом находя в нем все новые глубины. Советскому же читателю он до сих пор, по сути, недоступен.

«Философия хозяйства» — труд вполне оригинальный и в то же время наследующий и продолжающий глубокую традицию византийской и русской христианской мысли. Булгаков считает задачей науки «философия хозяйства» составить идеальную картину преображенного человеком мира и выработать пути перехода от нынешней экономики «падшего человека» к тому разумному и любовному хозяйствованию, идея которого заложена в трудах Василия Кесарийского, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста и особенно Максима Исповедника, живет в нашей самобытной традиции от исихастов XIV века до старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» у Ф. М. Достоевского. Именно на этой животворной почве и проросла идея Вл. Соловьева о трех типах отношения человека к природе, вылившаяся под пером Булгакова в стройную теорию.

Булгаков совершил подлинную революцию в экономической науке. Именно благодаря ему на наших глазах в мире идет процесс становления новой экономической науки (неизмеримо более высокой, чем привычная нам), трактующей не о том, почем кубометр бетона, а о том, как надо человеку жить и вести хозяйство, если он хочет быть достойным своего вселенского призвания.

Я убежден в том, что советская экономическая наука не сможет сама выйти из состояния глубочайшего упадка, в каком она ныне пребывает, и тем более указать путь выхода страны из кризиса, если она не преодолеет свой «экономизм», не перестанет рассматривать человека как «экономического человека», только как производителя и потребителя материальных благ, не примет во внимание человеческую душу и духовно-нравственный аспект экономики. Самый надежный ориентир на пути ее вы-

[1] Чрезвычайно интересно сопоставить выводы Булгакова с размышлениями современного ученого И. Р. Шафаревича в работе «Две дороги — к одному обрыву» («Новый мир», 1989, № 7), где он, анализируя проблему противостояния капиталистического и социалистического лагеря, на этом современном материале приходит к заключению, аналогичному рассуждениям Булгакова.

хода из тупика — это идеи булгаковской «Философии хозяйства» (не стану останавливаться на учении С. Булгакова о Софии-Премудрости Божией, которое осуждено Православной Церковью, поскольку это вопрос скорее богословский, чем экономический).

Какое же значение могут иметь идеи С. Н. Булгакова для нашей современной экономики? На мой взгляд, первостепенное. Думаю, С. Н. Булгаков немало удивился бы тому, что в конце 1990 года, в условиях, когда страна оказалась в тяжелом положении, ученые экономисты, публицисты, государственные деятели ведут затяжной и бесплодный спор о переходе к рынку. Ведь он-то (автор труда о рынках!) прекрасно понимал, что рынок — это не какой-то особый хозяйственный уклад, а лишь механизм, служащий достижению поставленных целей. Рынок существовал в Древнем Риме, определял развитие капитализма в Англии во второй половине прошлого века (что наблюдали Маркс, Энгельс и Ленин), не пропал он даже в годы «военного коммунизма», проявляясь хотя бы в форме базара. И в условиях административно-командной системы существовал рынок, крайне зарегулированный. Не знаю, как участники дискуссий о рынке, но лично я, прожив 63 года, хлеб и другие товары всегда покупал за деньги, мне никто не преподносил их бесплатно. Разным целям отвечают и различные рыночные механизмы. Возьмем для начала пример, близкий к фантастике. Допустим, консультант, приглашенный с Запада к нам (такое уже не редкость), но блюдущий интерес своих постоянных хозяев, поставит задачей создать благоприятные условия для превращения нашей страны в колонию транснациональных корпораций. Можно с уверенностью сказать, что он будет рекомендовать «просто рынок», «рынок без границ». Если в качестве консультанта привлечь социал-демократа из ФРГ, он, видимо, будет отстаивать «социально ориентированную рыночную экономику». Если же мы хотим возродить разоренную страну, сохранив ее независимость, и затем добиться превращения ее в процветающую державу, то потребуется совсем иной рынок, основанный на прочных нравственных началах. Но участники нынешних дискуссий говорят просто о переходе к рыночной экономике, не называя целей, какие предполагается с ее помощью достичь. Пытаясь объяснить такое необъяснимое положение, сначала теряешься в догадках. Предположить, что эти люди ничего не понимают в предмете, который с глубокомысленным видом обсуждают, как-то неловко: ведь речь идет о «цвете нации» (каковым они, видимо, искренно себя считают). Допускать же, что цель, ими преследуемая, слишком неблаговидна и потому о ней нельзя заявить открыто, тоже душа не лежит, ибо это люди, которым народ, едва вкусивший сладость свободных выборов, доверил решать судьбы страны. И ничего третьего на ум не приходит. А оно, третье, есть: эти люди просто не знают своего народа, его ценностей, великой культуры, наследником (правда, пока не очень достойным) которой он является, а потому и навязывают ему свои представления, заимствованные в основном извне и кое-как на живую нитку сшитые из разнородных кусочков.

Рыночный механизм должен соответствовать тому, какое общество он обслуживает и каким это общество хочет стать. А общество таково, какой человек его образует и преобразует. Обществу хищника и пенкоснимателя отвечает один рынок, цивилизованному, но бездуховному обществу — другой, а обществу, движимому духовно-нравственной идеей, — третий. В этих обществах будут действовать разные рыночные механизмы, обусловленные различием нравственных идеалов.

Обличители административно-командной системы немало потрудились, доказывая вред уравниловки, утвердившейся в нашей стране в годы культа личности и застоя и якобы превратившей «низы» общества в сборище завистников, ненавидящих богатство. Некоторые апологеты предпринимательства печатно доказывают даже то, что и рэкет порожден именно этими низменными чувствами. Дескать, стоит только предприимчивому человеку разбогатеть, как завистники-рэкетиры тут же устремляются его «уравнять» с остальными (хотя в действительности теми движет та же страсть разбогатеть, это ведь не Робин Гуд со товарищи). И вот в противовес придуманному «идеалу» завистника выдвигается иной идеал — оборотистого дельца, быстро разбогатевшего. Идеалом, образцом для подражания становится тот, у кого деньги, особенно валюта. И тут уж не важно, кто (и как) их отхватил, — предприимчивый глава посреднического кооператива или валютная проститутка (кумир чуть ли не большинства наших старшеклассниц). А когда в народе о быстро разбогатевшем дельце говорят презрительно: «из грязи да в князи», либеральные деятели объясняют это все теми же низменными качествами «низов», впитывавших идеи уравниловки с молоком матери. Они все время хотят убедить нас, что только между этими двумя идеалами и возможен выбор: либо «завистник», либо разбогатевший делец, а уж кого из них предпочесть — дело ясное.

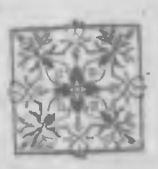
Вот тут-то они и ошибаются. Русский народ давно выработал свой идеал совершенного человека. Даже в самой глухой деревне более всех почитался не лодырь-бедняк и не жадный кулак, в стремлении к богатству не останавливавшийся ни перед чем, а «справный крестьянин», у которого были достаток и порядок в доме, но находилось время и для мыслей о душе, о Боге, и для дел милосердия, и для добросовестного и инициативного исполнения общественных обязанностей, — вспомним хотя бы Ивана Васильева из очерка Глеба Успенского. А уж о просвещенном обществе Руси и говорить нечего — его идеалы проверены веками. Князья-мученики Борис и Глеб, со смирением принявшие смерть от руки убийцы, преподобные Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, купец-патриот Кузьма Минин и князь-патриот Дмитрий Пожарский, предводитель чудо-богатырей Александр Суворов и другие деятели русской истории, о которых народ хранит светлую память и без напоминаний официальных кругов, прославились чем угодно, только не талантом делать деньги. И хотя русские промышленники и купцы не раз давали сто очков вперед своим иностранным конкурентам на деловом поприще, прославились они тем, что дарили согражданам музеи и больницы, школы и богадельни. «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13) — вот основа русского нравственного идеала, появившегося не на пустом месте, а на неисчерпаемом духовном богатстве великих цивилизаций. За ним стоят исполинские фигуры апостолов, гениев мировой культуры святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника, приведшего в систему православное учение о хозяйстве. И этот нравственный идеал Служения Делу (а не «службы» и «делишек») проявлялся по-своему в каждой сфере жизни русского народа — в искусстве и литературе, в воинском деле и в правом суде, в купечестве и предпринимательстве. Русский народ видел свою страну в идеале не великой, не могучей, не богатой, а Святой Русью. Именно потому, что никогда не забывал об этом своем идеале, он в артелях, в казацких вольницах, в общежительных монастырях добивался такой высокой эффективности деятельности, какая и не снилась самым оборотистым и устремленным исключительно к «пользе» деловым людям Запада. А нам теперь вместо этого захватывающего дух идеала хотят подсунуть в качестве кумира образ преуспевающего торгаша, у которого ничего кроме валюты нет за душой, а вернее — нет и души. Какая наивность! Если «такая бредь» осуществилась бы, то только как следствие страшного культурного и духовно-нравственного одичания «просветителей» и «просвещаемых».

Но чем же объяснить, что современные либеральные просветители народа не знают его дум и чаяний и навязывают ему чуждый для него путь? Увы, местечковостью их понятий и представлений (при всей начитанности), оторванностью от величайшего в истории культурного и духовного наследия русского народа, основанного на православии, непониманием высокого исторического призвания России, которой суждено, преодолев все испытания и кризисы, найти свой путь развития, не сбиваясь на соблазны преуспевающего Запада (где, говорят, в ходу афоризм: «если ты умный, то почему же бедный?»).

Достоевский пророчески утверждал: «...В народных началах заключаются залоги того, что Россия может сказать слово живой жизни и в грядущем человечестве». Булгаков, считавший Достоевского пророческим вождем русского народа на пути к Горнему Иерусалиму, не просто был твердо уверен в мессианском предназначении России (призванной свидетельствовать о чистоте и красоте православного христианства), но и указал путь самобытного экономического ее развития, который нам так необходимо осознать сегодня.

Примечательно, что дискуссия по проблемам экономики, развернувшаяся на страницах «Нашего современника», во многом вращается вокруг идей, высказанных Булгаковым. С одной стороны, русский мыслитель утверждал необходимость чувства ответственности человека за свою хозяйственную деятельность, во многом предвосхитив то, о чем писал в журнале З. Паузванг из Норвегии. С другой — он предупреждал об опасности экономического порабощения России Западом, о которой с такой тревогой говорят А. Беляев из ФРГ, а также советские экономисты А. Сергеев и Т. Васильков. Но веры в Россию, в возможность ее возрождения, в то, что она станет примером для всего человечества, он никогда не терял...

Нет, не бюрократы-«кавалеристы» и не торгаши-«купцы» станут героями нашего времени. Россию спасут созидатели-«домоустроители», основывающие экономическую деятельность на идеях гениев русской мысли, среди которых почетное место занимает С. Н. Булгаков — провозвестник нового мышления в области хозяйства.



«Круглый стол»

ХРИСТИАНСТВО И ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННОСТИ

В. Н. ТРОСТНИКОВ

Восьмая заповедь гласит...

Вопрос о социальности в христианском строе жизни является сегодня для России одним из ключевых вопросов. Его громадная важность обусловлена тем, что именно на ложной трактовке этого вопроса мы в свое время и поскользнулись — соблазнились идеологией марксизма, утвердившей в нашей стране свое господство на целых семьдесят лет, в течение которых было уничтожено и покалечено гораздо больше русских людей, чем за весь период татаро-монгольского ига. Пленение марксизмом оказалось пострашнее даже вавилонского пленения. Да и вообще вряд ли что-либо в мировой истории можно сравнить с этой бедой, выпавшей на долю нашей нации. А ведь марксистская идеология есть не что иное, как христианская ересь.

Ересью в самом широком смысле называется система взглядов, получающаяся из истинной системы выбрасыванием каких-то элементов, которые кажутся ересиарху слишком сложными или вообще излишними. Делается **редукция**, упрощение, и это-то и соблазняет многих. Людям вроде бы сохраняют их прежнее мироощущение, оставляют какие-то привычные ценности и святыни, а в то же время делают картину мира более простой и понятной, требующей для освоения меньше душевного и умственного напряжения. Марксизм целиком подпадает под это определение. Он взял за исходную систему христианское мировоззрение, оставил в нем идею необходимости духовного совершенствования, оставил идею братства людей и бескорыстной помощи ближнему, оставил идею Божьего Царствия, но выбросил идею существования потусторонней действительности, которая важнее земной и материальной. Получилась проекция объемной конструкции на плоскость, которая вызвала неизбежные искажения связей. И вместо истины получилась ложь. А ложь, как известно, имеет способность убивать. Сатана потому был и остается человекоубийцей, что не устоял в истине.

Самое страшное в ересях то, что из-за указанного выкидывания элементы мировоззрения, оставаясь внешне как бы теми же самыми, меняют свой смысл, причем обычно меняют его на прямо противоположный. Поэтому так тщательно следили Вселенские соборы за неповрежденностью христианского учения: святые отцы прекрасно понимали, что из песни слова не выкинешь и что малейшие изменения в догматике могут привести к колоссальным политическим последствиям. Так оно и бывало, так произошло и с марксизмом, то есть с Россией. Поместив Царство Божие сюда, на землю, то есть кардинально изменив космологию христианства, марксисты невольно так же кардинально изменили и антропологию. В результате два основополагающих понятия — заботы о себе и заботы о ближних — приобрели абсолютно нехристианское содержание, хотя, на поверхностный взгляд, это было можно и не заметить. В этой-то замаскированности лжи и таилась страшная угроза, которая и осуществилась над нашим многострадальным народом — возможно, в назидание потомкам.

В христианской системе взглядов, то есть тогда, когда все убеждены в существовании потустороннего мира, куда все мы пойдем после окончания земной жизни, забота о себе есть прежде всего забота о спасении своей души. Душа важнее тела, ибо тело тленно, а душа неуничтожима. Здесь ты находишься краткое время, а там будешь находиться вечно. А самым доступным всем людям, а не отдельным подвижникам, способом спасти свою душу является оказание помощи ближним, благотворительность, милосердие, любовь к людям. Так мудрейшим образом забота о себе в рамках христианского миропонимания претворяется в заботу о ближних, то есть цементирует общество. Не менее мудрым является и встречный механизм, благодаря которому забота о ближних претворяется в увеличение личной защищенности каждого индивидуума. В самом деле, забота о ближнем есть в этой системе опять же главным образом забота об их душах, об их спасении. Это влечет за собой строгую систему наказаний за преступления, ограждающую общество от злодеев и душегубов. Современному человеку, воспитанному на ложном либерализме, трудно понять то, что средневековому христианину было яснее ясного: наказание необходимо прежде всего самому преступнику, ибо в страдании он получает шанс покаяться и быть прощенным Богом. Лучше перетерпеть здесь недолго, чем мучиться там вечно — разве это не понятно? Понятно тому, кто верит в тот свет, а мы в него уже не верим. Отсюда мягкотелость нашего общества, отсюда захлестывание его преступностью со все растущим уровнем жестокости преступлений, отсюда эта ложная «гуманность», которая оборачивается небывалой жестокостью по отношению к ни в чем не повинным людям — например, к насилуемым девочкам. Ведь изверги, которые их насилуют, знают, что им грозит всего лишь отсидка, а то и возьмут на поруки, выяснив, что в таких наклонностях повинно тяжелое детство и недостаточная воспитательная работа комсомола...

Но самым страшным практическим последствием еретического искажения истины марксизмом является **отнятие частной собственности.**

Маркс прекрасно понимал, что̀ надо сделать, чтобы уничтожить людское племя. В «Манифесте» он говорит: если бы нас спросили, как в двух словах выразить суть нашего учения, мы бы ответили: его суть — ликвидация частной собственности. Именно в этом пункте весь дух христианской социальности деформируется так сильно, что возникает совсем другой дух — не жизни, а смерти. В книге Марченко «Карл Маркс?» убедительно доказывается, что Маркс был сознательным сатанистом. Но если бы этих доказательств и не было, все равно древо познается по плодам.

Человеческая жизнь имеет два порядка: естественный и сверхъестественный. Первый регулируется Ветхозаветными заповедями, Синайским законодательством. Восьмая заповедь гласит «не укради», то есть охраняет частную собственность, а десятая, из-за особой важности этой охраны, добавляет к восьмой запрещение даже **помышлять** об имуществе ближнего. Сверхъестественный, божественный порядок жизни задается Новым заветом, в котором имеется одна-единственная заповедь — заповедь любви. Когда Иуда вышел из Сионской горницы, Иисус сказал ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Отменила ли эта заповедь Моисеев закон? Нимало. Сам Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророки, не нарушить пришел Я, но дополнить» (в привычной редакции «исполнить», но по-церковнославянски это и означает «дополнить» — перевод сделан не до конца, что и вызывает иногда недоразумения). И в другом месте: «Ни одна черта и ни одна иота не прейдет, пока не исполнится весь закон». Следовательно, исполнение заповеди «не кради» остается в полной силе и тогда, когда жизнью людей управляет Новый завет. Дополнение не может существовать вне того, что̀ оно дополняет. Просто мы имеем здесь две степени совершенства, что особенно ясно из притчи о богатом юноше. Юноша спросил Иисуса, как обрести жизнь вечную. Иисус ответил: выполняй заповеди (Моисея). Но юноша сказал, что с детства выполняет их, и намекнул, что желает чего-то бо̀льшего. Тогда Иисус «полюбил его» и ответил: пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим, затем возьми свой крест и следуй за Мной. Из этого диалога совершенно очевидно, что выполнение Ветхозаветных заповедей является само по себе спасительным, но не дает высшего спасения, когда человек становится другом Бога. Высшего же спасения может достигнуть лишь тот, кто на базе Ветхозаветного законодательства исполняет Новозаветную заповедь любви. Ибо любовь есть добровольная отдача своего имущества ближнему, а если у человека нет своего имущества, которое он имеет юридическое право не отдавать, он этого акта любви выполнить не сможет, и его любовь останется пустым звуком. Когда одного старца высокой жизни спросили, нужна ли частная собственность, он не задумываясь ответил: очень нужна — нужна для того, чтобы была возможна благотворительность. Добавим: а значит, и высшее спасение тех, кто эту благотворительность оказывает своим ближним.

Но частная собственность нужна не только для этого — божественная мудрость всегда предусматривает несколько полезных функций у всякого своего установления. Она абсолютно необходима и для деятельности более низкого плана, но тоже промыслительно предназначенной человеку — для дела повышения организованности окружающей материи, уменьшения ее энтропии. Помимо миссии спасения своей души, у нас есть и миссия спасения материи. Когда частная собственность священна и неприкосновенна, вся материя как бы разделяется на секторы, каждый из которых становится продолжением чьей-то личности и начинает вести себя не по физическому закону — второму началу термодинамики, согласно которому беспорядок материи повышается со временем, — а по биологическому закону, приводящему к самоорганизации этой материи. В обществе, где имеется частная собственность, материя «сама собой» приходит в порядок, а в социалистическом мире, где люди ограблены, она, в точном соответствии с законом термодинамики, неотвратимо приходит в упадок и деградирует. Не менее, чем материи, необходим институт частной собственности и людям, не способным к высшему спасению, но желающим спастись «средне». При наличии в своем распоряжении орудий труда и земли, становящимися как бы их «руками и ногами», они становятся творческими хозяйственными деятелями и находят точку приложения своих душевных сил, обретают жизненный интерес, которого лишает людей марксизм, одним ударом уничтожая сразу оба порядка людского бытия — и природный, и божественный. В этом, видимо, и состоял замысел сатаны, подсказавшего эту ересь.

ФЕЛИКС КАРЕЛИН

«...Как не жить братии вкупе!»

Коммунистический принцип «каждому по потребности» был осуществлен в общине Иакова за 18 веков до того, как был провозглашен в кабинетной доктрине Маркса.

Церковь началась с культа.

Когда Предвечное Слово восприняло человеческую природу от пречистых и девственных кровей Богоматери, Церкви еще не было. Когда Иисус Христос учил Апостолов тайнам Царствия Небесного, Он еще только подготавливал их для восприятия Церкви. Но когда Первосвященник исповедания нашего принес в Иерусалимской горнице Евхаристическую Жертву и причастил Ею учеников, Церковь была сотворена.

В силу Евхаристической Жертвы, в которой Господь наш Иисус Христос отдал Себя в снедь и питье Своим ученикам, Церковь есть Его истинное Тело, живой многочленный организм. А это значит, что, вкушая Евхаристическую Трапезу, верные вступают в органическое единство не только со Христом, но и во Христе друг с другом.

Известно, что впервые высказал и развил это учение в своем классическом благовествовании Апостол Павел. Однако прежде чем Апостол Павел изложил это учение словом, первохристианская община в Иерусалиме явила его делом.

Когда в день Пятидесятницы народ, умиленный первой проповедью Петра, спросил: «что нам делать?», Петр ответил: «покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2. 37—38). «...Охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в ОБЩЕНИИ И ПРЕЛОМЛЕНИИ ХЛЕБА и в молитвах... ВСЕ ЖЕ ВЕРУЮЩИЕ БЫЛИ ВМЕСТЕ И ИМЕЛИ ВСЕ ОБЩЕЕ. И ПРОДАВАЛИ ИМЕНИЯ И ВСЯКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И РАЗДЕЛЯЛИ ВСЕМ, СМОТРЯ ПО НУЖДЕ КАЖДОГО. И каждый день единодушно пребывали в храме и, ПРЕЛОМЛЯЯ ПО ДОМАМ ХЛЕБ, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа» (Деян. 2. 41—47). «У множества же уверовавших, — продолжает далее Писание, — было одно сердце и одна душа; И НИКТО НИЧЕГО ИЗ ИМЕНИЯ СВОЕГО НЕ НАЗЫВАЛ СВОИМ, НО ВСЕ У НИХ БЫЛО ОБЩЕЕ» (Деян. 4. 32).

Совершенно очевидно, что Дееписатель (кстати, ближайший ученик Апостола Павла) подчеркивает здесь не только единодушие первохристианской общины, но и ее полнейшую единотелесность, простершуюся от таинственного преломления Хлеба по домам и до полнейшего хозяйственного единства.

«НЕ БЫЛО МЕЖДУ НИМИ НИКОГО НУЖДАЮЩЕГОСЯ: ИБО ВСЕ, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЛИ ЗЕМЛЯМИ ИЛИ ДОМАМИ, ПРОДАВАЛИ ИХ, ПРИНОСИЛИ ЦЕНУ ПРОДАННОГО И ПОЛАГАЛИ К НОГАМ АПОСТОЛОВ; И КАЖДОМУ ДАВАЛОСЬ, В ЧЕМ КТО ИМЕЛ НУЖДУ» (Деян. 4. 34).

Толкователи книги «Деяний» не раз пытались ослабить нормативное значение первохристианского коммунизма на том основании, что общение имуществ было у первых христиан делом совершенно добровольным. Довод явно неубедительный. Личная святость тоже является делом совершенно добровольным. Можно ли на этом основании утверждать, что Христианство не требует от человека личной святости? «...да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — ...да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17. 21—22). Искреннее стремление к тому всесовершенному единству, о котором молился Христос на Тайной Вечере, отдавая Себя в снедь и питье Своим ученикам, не может не являться для христиан не только делом молитвенного подвига, но и нормой общественного поведения. Так что всякое нарушение этой нормы (в зависимости от характера и тяжести нарушения) либо навлекает на виновных гнев Божий, либо требует церковного врачевания. То, что именно так смотрела на это Первенствующая Церковь, хорошо видно из двух событий, рассказы о которых Дееписатель поместил непосредственно после рассказа об имущественном общении христиан. Читатель, вероятно, уже догадался, что речь идет, во-первых, о гибели Анании и Сапфиры (Деян. 5. 1—10), а затем о хозяйственном конфликте, который возник между Еллинистами и Евреями «в те дни, когда умножились ученики» (Деян. 6. 1—6).

Разумеется, что Анания и Сапфира пали бездыханными не потому, что не пожелали положить к ногам Апостолов всего, что имели, а потому, что «согласились солгать» живущему в Церкви Святому Духу. Это прямо вытекает из слов Апостола Петра: «Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Святому Духу и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5.3—5). Итак, грех Анании и Сапфиры состоял в том, что они солгали Богу. Это несомненно! Однако несомненно и то, что этот грех все-таки был неразрывно связан с проблемой собственности. Ведь ложь их, столь сурово наказанная Богом, состояла не в том, что они были тайными еретиками, тайными блудниками или тайными предателями, а в том, что они оказались лукавыми общинниками.

Когда же умножились ученики и «произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» (Деян. 6. 1), Апостолы могли легко разрешить конфликт, указав на то, что общение имуществ есть дело не обязательное; так что верные могут есть и пить каждый кто что имеет. А вместе собираться только для совершения символической «агапы» и вкушения Таинства. Ведь именно так, в похожей ситуации, поступит четверть века спустя Апостол Павел, смягчая социальную требовательность Евхаристии ради церковного благочиния. «...Вы собираетесь так, — напишет Апостол Павел Коринфской Церкви, — что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть СВОЮ ПИЩУ, так что ИНОЙ БЫВАЕТ ГОЛОДЕН, А ИНОЙ УПИВАЕТСЯ. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю... Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А КТО ГОЛОДЕН, ПУСТЬ ЕСТ ДОМА, чтобы собираться вам не на осуждение» (1 Кор. 11. 20—34).

Мы не сомневаемся, что Апостол Павел поступил правильно. Оградить святыню Евхаристической Трапезы от посягательств со стороны человеческого эгоизма (а, быть может, и буйства плоти) было делом необходимым. В богатом, роскошном и развращенном Коринфе, по-видимому, не было к этому иных путей, чем тот, который избрал Апостол. Тем более важно, что в подобной ситуации Первенствующая Церковь все-таки поступила по-другому.

Коммунистический строй первохристианской общины, естественно возникший от совместного вкушения Таинства, был в глазах Апостолов настолько большой ценностью, что, ввиду разразившегося хозяйственного конфликта, они не только не отказались от него, но по согласию всей Церкви учредили особую духовную администрацию (первоначальный чин дьяконов) для его поддержания (Деян. 6. 2—6). Туда, где недоставало любви, пришла на помощь распорядительность и справедливость.

Почему же коммунистическая Теократия Первенствующей Церкви все-таки оказалась недолговечной?

Я думаю, что по двум причинам.

Первая причина — нравственная.

Падение Анании и Сапфиры и затем возникший в общине ропот по поводу несправедливого раздаяния потребностей должны были показать Первенствующей Церкви, насколько труден для падшей человеческой природы социальный идеал Христианства, насколько противоборствует ему личный и клановый эгоизм. Перед Апостольской Церковью не могла не встать проблема: либо, впадая в противоречие с духом христианской свободы, поддерживать коммунистический строй общины крутыми мерами (именно таким путем пойдут впоследствии средневековые коммунистические секты), либо, отказавшись от немедленного осуществления на Земле коммунистического идеала, погрузить закваску его в Историю до тех пор, «пока не вскиснет все тесто». Естественно, что Христова Церковь избрала путь второй.

При этом не случайно, что именно тот Апостол, который пламеннее других проповедовал свободу во Христе и более других потрудился над включением христианского благовестия в Историю, первый счел возможным ослабить социальную требовательность Евхаристической Трапезы.

Вторая причина — социальная.

Коммунизм первохристианской общины был коммунизмом потребительским. Ясно, что потребительский коммунизм может существовать только до тех пор, пока есть что потреблять. В данном случае — деньги от проданных домов и земель. После этого коммунистическая община должна либо распасться (не отсюда ли особая забота Апостола Павла о сборе подаяний в пользу «Святых в Иерусалиме»?), либо коммунизм потребительский должен перерасти в коммунизм производственный. Общение в имуществах должно замениться «общением в труде и прибытке». Организовать коммунистическое производство в условиях гонений, — сначала иудейских, а потом языческих, — было делом почти невозможным. Я говорю «почти», потому что в малых масштабах такие производственные коммуны во времена раннего Христианства все-таки существовали. Когда же гонения были прекращены и Христианство стало официальной религией Римской империи, Церковь немедленно проявила коммунистическую природу своего общественного идеала в той лучшей части церковного общества, которая бескомпромиссную борьбу с эгоизмом сделала своей профессией. Нетрудно догадаться, что речь идет о монашестве.

Монашество возникло как движение анахоретов. Но когда египетская пустыня наполнилась, Евхаристическая Трапеза снова осуществила свое общественно-созидательное дело. Причастная Чаша собрала отшельников воедино. В 320 г. в Верхнем Египте возник первый общежительный монастырь св. Пахомия Великого — начало и первообраз всего общежитийного монашества Вселенской Церкви. На смену коммунистической общине Иакова, основанной на совместном потреблении, пришла новая христианская коммунистическая община, основанная на совместном труде.

Известно, что не вся Церковь осуществила себя в монашеском коммунизме. В IV веке два великих христологических установления Вселенской Церкви — община и семья — исторически разделились. Семейное христианство, в значительно большей степени, чем христианство монашеское, связанное с жизнью мира, оказалось втянутым в социальную

структуру, весьма далекую от коммунистического идеала. Но то, что общественный идеал самого Христианства остался тем же, что и во времена Первенствующей Церкви, хорошо видно из слов св. Василия Великого, хотя и сказанных непосредственно по поводу современных ему общежитийных монастырей, но по существу относящихся ко всему Христианству в целом: «Что добро и красно есть, как не жить братии вкупе!»

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

Христианство и собственность

Революционеры неизменно называли Россию деспотией. Но вот что странно. Они боролись с ненавистным им государством отнюдь не за политические свободы, вовсе не за установление парламента и многопартийной системы. Вспомните всех наших пламенных нигилистов, начиная с Чернышевского и Бакунина. Кто из них болел за демократическое государство? Какой бомбометатель, идя на операцию, мечтал при этом о переносе в Россию порядков Третьей республики во Франции или политической системы США времени освобождения негров от рабства? В том-то и заключается загадочный парадокс, что целые поколения наших «борцов за свободу» боролись отнюдь не за гражданские права, вовсе не за «свободу» в общелиберальном смысле этого слова. Конечно, какие-то фразы о «конституции» произносились. Но горели сердца террористов и агитаторов не идеей демократии, а идеей социализма. Люди шли в Сибирь и на эшафот не ради замены монархии республикой, а ради принципиально новой общественно-политической системы, которой нигде никогда не существовало, но о которой так заманчиво писалось в переводимых с французского и немецкого брошюрах. «К топору зовите Русь!», «Умрешь не даром: дело прочно, Когда под ним струится кровь...», «Буря! Скоро грянет буря!» — все это во имя «социализма». Иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Чудесные сны Веры Павловны, зажигательный «Манифест коммунистической партии», мечты о рае на земле, которому мешает одно самодержавие. Русская монархия встала поперек их пути, их «социалистического выбора». Поперек их пути оказалось и христианство — вероучение, говорившее о принципиальной невозможности установить социалистический рай, т. е. имущественное равенство, несовершенным человечеством. Авторитетный русский мыслитель Димитрий Алексеевич Хомяков, сын великого А. С. Хомякова, писал в своей работе, одобренной Православной Церковью, так:

«Человек по грехопадении утратил навсегда не только фактическое личное и душевное, и умственное, и физическое совершенство, но и потенциальное (на земле). Хотя искупление открыло человеку горизонты, которых не было удостоено при своем создании, тем не менее они все уже сверхмирные; а ВСЁ ЧУВСТВЕННОЕ ПОДЧИНЕНО ЗАКОНУ НЕСОВЕРШЕНСТВА И СЛЕД. НЕРАВЕНСТВА (выделено мною. — В. О.), который и есть самый, так сказать, осязаемый результат утраты человечеством его первоначального блаженно-однородного совершенства»[1]. Человеческое несовершенство, многообразное неравенство людей по способностям, вожделениям, нравственным качествам, по осознанию чувства долга и ответственности, по многим другим параметрам не дает права на претворение одного-единственного равенства — имущественного. Конечно, перед Богом все равны, и христианство само по себе есть учение о равенстве, о равенстве в Церкви. Но из этого вовсе не вытекает непременная уравнительность в обладании материальными благами. Господь сказал людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». В наше время «обладание землей» означает, естественно, не только то, что связано с сельским хозяйством, но и — заводы, фабрики, мастерские, мир механизации и машин. Право обладания, право собственности даровано человеку Богом, и в самом этом обладании нет ничего зазорного. Больше того, поскольку человек есть «образ Бога» и является личностью, он утверждает себя в качестве личности именно правом владения, правом собственности. Собственник — это личность. Лишить человека собственности — значит лишить его важного, существенного свойства. Коллективизация, например, не только отняла у крестьян землю, скот, инвентарь, но и лишила их тем самым достоинства, самоуважения, чувства хозяина. Колхозная, социалистическая система обрекла людей на нищету, хроническое недоедание. И одновременно — превратила их в жалких обезличенных «трудящихся», безгласных роботов, голосующих и аплодирующих по указанию начальства. Крестьянин-личность превратился в «массу» (любимое слово Ленина). Можно работать как попало, материться, воровать «общенародную собственность», бить лампочки в подъездах и поливать соляркой поля — какой спрос с «массы»? Уничтожение личности в человеке едва ли не главное следствие лишения человека собственности. Христианство, как учение о личности, учение о достоинстве человека, прямо противоположно социализму. Я не отличаю Фурье от Маркса, не отличаю утопического социализма от якобы научного. Любой социализм, включая теорию «научного коммунизма», есть утопия. Роковая утопия, принесшая человечеству море страданий. И все-таки, благословляя право собственности, христианство, и прежде всего Православие, противополагает себя не только социализму, но и апологетам капитализма, тем приверженцам либеральной доктрины, которые утверждают абсолютную «священность и неприкосновенность собственности». Собственность естественна и правомерна, но не абсолютна и не неприкосновенна. Право собственности есть общее право всех и каждого в отдельности пользоваться благами дарованной Творцом «земли». Собственность должна приобретаться через труд (включая ратный) и служить труду. Снова обратимся к авторитету Д. А. Хомякова: «Следовательно, группировка людей в классы, наследственность таковых и даже привилегированность одних перед другими не может нисколько смущать православного, если только это взаимоотношение не основано на духе превознесения и не утверждает такового, помимо НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»[2]. И далее: «Чистая привилегия, как результат «исторически приобретенных прав», не может быть терпима с той точки зрения, при которой все общество должно строиться только на основании несомых обязанностей и которая допускает права только как средство для исполнения обязанностей»[3].

Права без обязанностей немыслимы. Так учит Православие. Освобождение дворянства от обязательной государственной службы Петром III (которого первоначально воспитывали в лютеранстве для шведского престола и у которого не было укорененного православного мировоззрения) при сохранении права на владение крестьянами представляло собой явное отступление от принципов Православия. Эти принципы требуют как раз того, чтобы государство стояло на страже справедливости и не позволяло богатеть одним в ущерб другим. В отличие от либеральной доктрины, провозглашающей, по сути, безграничную свободу стяжательства, Православное учение полагает, что «государство или всякое иное человеческое общество, властью облеченное, по СУЩЕСТВУ имеет право даже властно так распределить пользование всеми естественными ценностями, чтобы никто не был более другого благоприятствуем»[4].

Православие, как христианство в чистом виде, исходит из того, что экономическое неравенство есть следствие душевной анормальности людей, а не причина его. «Чем выше стояли бы нравственно люди, тем менее они терпели бы существование абсолютной нищеты рядом с возмутительным избытком»[5].

Богатство дает право на праздность. В России до вышеупомянутого указа Петра Третьего никто не имел такого права. Богатые имелись, но они обязаны были или проливать кровь в сражениях, или нести иные тяготы. Капитализм в классическом виде есть отступление от христианства, тем более от Православия. Христианское вероучение отвергает понимание труда как товара и считает, что к человеку следует относиться не как к орудию производства, а как к его творцу и причине. Работа во имя человека, а не человек во имя работы.

Таким образом, допуская и благословляя частную собственность, христианство в то же время требует, чтобы она служила добру, чтобы она оплодотворяла материальную сторону жизни для блага людей, а не для эгоистического стяжания. Чтобы она была средством, а не самодовлеющей целью. Вот почему православный не может сегодня выступать за немедленное «введение» капитализма в обезбоженной стране, где алчные собственники, взращенные агрессивным атеизмом, забыв стыд и совесть, будут набивать мошну ради своего чрева. Само происхождение воровских капиталов, накопленных посредством казнокрадства, взяточничества и лихоимства безупречных безбожников, совершенно аморально. Эти капиталы со следами грязи и подлости, эти люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы теневой экономики, всесоюзной мафии, — какое благо принесут стране? В американском городе Энн Арбор, штат Мичиган, 120 тысяч жителей и 120 церквей разных конфессий. Пусть не все горожане действительно набожны, пусть не все имеют в душе страх Божий, но все обязаны соблюдать нормы этики, нормы приличия. Есть грехи и у этих людей, но грехи другого рода. Никто не срывает там телефонные трубки в будках, никто не бьет стекол, не превращает улицу в свалку, ибо существует НРАВСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. И она существует благодаря христианству. Пока мы не восстановим в своей стране эту инфраструктуру, продавцы будут по-прежнему безбожно обсчитывать, чиновники — воровать, рабочие — халтурить, а все вместе пить и бесчинствовать. Стаи молодых дикарей, воспитанных, по Губельману, в криминогенной атмосфере, оккупируют города, и милиция не смеет их сдерживать, опасаясь еще большей ярости.

Горе людям, забывшим Бога!

---

[1] Д. А. Хомяков. «Православие, Самодержавие и Народность». Издание братства преп. Иова Почаевского в Монреале. Монреаль, 1982, с. 52.

[2] Там же, стр. 49.
[3] Там же, стр. 49—50.
[4] Там же, стр. 52.

[5] Там же, стр. 53.

РУССКАЯ ПРАВДА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Завершается дискуссия о рынке, начатая в восьмом номере журнала. А на улице уже рынок. Эпоха благоденствия и изобилия наступила.

Предвижу негодование читателей. Но оглядитесь. Вот кооперативный киоск — там есть все «Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по Балтическим волнам за лес и сало возит нам...» Пройдитесь по мясным рядам московских рынков — когда вы видели подобное изобилие? Для людей, имеющих «свободные» тысячи или валюту, жизнь сегодня хороша как никогда.

А напротив стоит длиннейшая очередь: промтоварный магазин отоваривает «приглашения». Тут впору вспомнить не пушкинские строки, — нелюбимого мною Маяковского: «Кому бублик, кому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика».

От куска хлеба — к доле в экономическом пироге. Приватизация только начинается, но кооперативы уже легализовали миллионные состояния «теневых» мафиози. Приватизация — это, собственно, спор о деталях — удастся ли мафиози еще раз, теперь уже на законном основании, поживиться за наш счет, по дешевке скупив наработанное поколениями, за гроши присвоив наш труд.

Разумеется, не того ждали. До хрипоты спорили в очередях об э к о н о м и к е, ждали решения м о р а л ь н ы х вопросов: честной платы за работу, достижения уровня жизни, соответствующего затраченному труду.

Но то в очередях. А в газетах, на телевидении, на парламентской трибуне и в просторных коридорах власти говорили совсем о другом. О своих, а не о наших с вами проблемах.

Тут никаких иллюзий быть не должно. Для того чтобы отсечь возможность превратных толкований, нам с самого начала объявили: экономика и мораль — «две большие разницы». Что эффективно, то и нравственно — разве не под этим лозунгом современных флибустьеров начался процесс? А когда мы призадумались, попытались разобраться с многочисленными аферами, ну хотя бы с грандиозной аферой АНТа, на нас прикрикнули со «свободной писательской трибуны»: «Будем работать или чувствовать» («ЛГ», № 17, 1990). А эти слова прозвучали и вовсе с заоблачных высот власти: разрешено все, что не запрещено.

Где вы читали, что одним запрещено есть свежую клубнику в декабре и кататься в собственных «мерседесах» за полмиллиона, а другим запрещено голодать? Полгода назад я хотел процитировать свидетельства польских ученых о голодных обмороках в школах Польши. Не верили, вычеркивали из статьи. Сегодня читаем о голодных обмороках в ленинградских очередях («Правда», 30.11.90).

Почему мы обманулись так нелепо? Да потому, что поверили: кто п р о т и в существующего порядка вещей, обрекающего нас на всевозможные дефициты, тот з а нас. Простая схема. Простая, как всякая ловушка.

Нам навязали выбор: либо партократ, либо предприниматель. Либо мораль всеобщей уравниловки, заботливо приберегающая спецпаек для партийной элиты,— либо «эффективная нравственность» капитализма, отдающая львиную долю жизненных благ «четырем процентам активных особей», иными словами, буржуа, но и остальные 95 процентов населения подкармливающая на уровне мировых стандартов. Львиная доля отдана, а до мировых стандартов, пожалуй, еще дальше, чем при коммунистической уравиловке.

Выбор, навязанный нам «активными особями», рассчитан на Иванов, не помнящих отечественной истории. У нас была собственная мораль. Великая Русская Правда, по которой народ жил тысячу лет. Уже в начальной летописи Руси — «Повести временных лет» — повелительно звучал евангельский завет: «Не собирайте себе сокровищ на земле... Но собирайте себе сокровища на небе». Столетия спустя этот духовный завет лег в основу экономической теории. Первый русский профессиональный экономист Иван Посошков еще в начале XVIII века писал: «Паче вещественного богатства надлежит всем нам обще пещися о невещественном богатстве, то есть о истинной правде».

И это не было бессильным пожеланием кабинетного теоретика. На страницах журнала я уже рассказывал о поступке патриарха русских предпринимателей прошлого века Сергея Мальцова. Из-за расторжения крупного контракта он был поставлен перед необходимостью закрыть одно из своих производств и выбросить на улицу тысячи рабочих. Предприниматель избрал другой, немыслимый для любого «классического» западного капиталиста путь — он не остановил производство, не уволил ни одного рабочего, а чтобы покрыть убытки, продал свое имение. Вот что такое русская правда, русская этика.

Организуя дискуссию, журнал стремился привлечь внимание к веками складывавшейся нравственной системе, определявшей как верования, так и практическую деятельность русских людей. Элементы этой системы воссозданы в статьях Ю. Бородая, А. Михайлова, М. Антонова, а также в материалах «круглого стола».

За нашим «круглым столом» собрались люди, до недавнего времени лишенные возможности высказывать свои взгляды в советской печати. Двое из них — Ф. Карелин и создатель знаменитого «Веча» В. Осипов — долгие годы провели в лагерях, причем Осипов уже в брежневско-андроповских лагерях. Таких людей никак не заподозришь в симпатиях к коммунистической морали. Тем характернее, что они отвергли и навязываемую сегодня обществу мораль капиталистическую.

При всей полярности их взглядов, подкрепляемых ссылками на Ветхий — в основном — завет (В. Тростников) и на Новый завет (Ф. Карелин), участники «круглого стола» едины в том, что нравственная жизнь общества возможна лишь при ориентации на христианскую, православную мораль, на которой и основывалась русская правда. Думаю, теоретические споры о правомерности частной собственности, с христианской точки зрения, удачно примиряет В. Осипов, подошедший к вопросу сугубо практически. Не так важна форма собственности, как тип собственника. Важно, в чьих руках сосредоточится богатство и власть.

На вопрос, нужны России предприниматели или нет (а его задают повсеместно), следует ответить — нужны, но предприниматели, а не мафиози. Очевидно, что вчерашние «теневики» не переродятся завтра в Мальцовых, Третьяковых, Щукиных. Они будут управлять государством не по русской правде, а по законам уголовного мира. Сегодняшний о р г а н и з о в а н н ы й голод — первое тому подтверждение.

На смену варварскому «реальному социализму» идет варварский капитализм. Рынок стал реальностью. Но тем, кто говорит: о чем теперь спорить?—я отвечу: борьба за гуманные принципы экономики только начинается.

Александр КАЗИНЦЕВ

«ПИРШЕСТВО ДУХА»

Со скульптором Петром ЧУСОВИТИНЫМ беседует журналист Игорь СТЕПАНОВ

И. Степанов: Петр Павлович, ни для кого не секрет, в каком тяжелом положении пребывает русская культура в последние семьдесят лет. Но то, как это время сказалось на скульптуре, особенно удручает: тут и невероятно размножившиеся памятники вождям, и бездарные монументы, никак не отражающие дух и суть тех событий и явлений, которые они призваны увековечить...

П. Чусовитин: Почему никак? Большинство из них действительно не отражает сути изображаемого, зато они блистательно свидетельствуют о баснословном умственном снаряжении своих создателей — лауреатов, кавалеров, академиков. Всякое изображение, скажем, портрет, даже когда он неверно или просто никак не характеризует портретируемого, всегда точно характеризует портретирующего. Так и с памятниками. Они суть память о людях, их заказавших и наваявших. Они расскажут внимательному зрителю о вдалбливаемых в народное сознание руководящей «серократией» и учеными мужами идиотских идеологических мифах, о вкусах и уровне исторических представлений плотно спаянной корпорации — членов министерских художественных советов, коллегий, заведующих и секретарей управлений и отделов, принимавших эскизы, рабочие модели и сами памятники. Старательно шевелящие губами при ведении протоколов, важно дающие «замечания и ценные указания», докладывающие высшему руководству об этапах «проделанной работы», они были и остались преисполненными сознания особой важности своей химерической деятельности. Поневоле поверишь философам, настаивающим на таинственной метафизической связи человека с именем, если вспомнить, что долгие застойные годы машиной «монументальной пропаганды» на всей территории страны командовали некие Халтурин, Безобразова и Тупицын.

А председателем художественного совета, выносившим окончательный вердикт о достоинствах создаваемых монументов, был поставивший во всех полушариях — восточном, западном, левых и правых — массу халтуринско-безобразно-тупицынских памятников Лев Ефимович Кербель. Непререкаемый Пахан скульптурного Парнаса, Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии СССР и, конечно же, профессор, наставник «бестолковой» молодежи, родившийся 7 ноября 1917 года, возможно, одновременно с залпом «Авроры».

И перед ним, как и перед вышеперечисленными ответтоварищами, дабы при жизни «войти в вечность», ходили и ходят вприсядку, стараясь строить умильные глазки, наши духовно «независимые» творцы. И некоторые все-таки «вошли». Теперь материализованные ими в камне и бронзе фантомы и призраки сознания — отличный материал для исследований психоаналитиков и социальных патологоанатомов.

Один памятник Гагарину на Ленинском проспекте Москвы скульптора П. Бондаренко — неистощимый источник изучения причин перевоплощения известного всему миру человека в блестящего чешуей роботообразного упыря из фильмов ужасов, полностью лишенного чего-либо человеческого. Подобно тому, как смерть Кощея Бессмертного из русской сказки скрывалась в игле, игла в яйце, яйцо в утке и т. д., так секрет уничтожения человеческого в человеке содержится в капсуле, замурованной в основании памятника, которая, по замыслу изготовителей, должна быть вскрыта благодарными потомками через сто лет после его установки. Но сгорающим от нетерпения можно теперь же, не выжидая сроков, по секрету сказать, что это секрет Полишинеля. Там наверняка находятся не стихи Пушкина и не речь Достоевского при открытии памятника поэту, а скромно полеживают какие-нибудь газетные передовицы совсем других Федоров Михайловичей, возможно, даже Бурлацкого, писавшего и в тот период много и вдохновенно. Или «неизвестного» создателя неподражаемой трилогии «Малая земля» — «Возрождение» — «Целина».

И. С.: На фоне быстрого процесса возвращения обществу исторических знаний, введения в научный оборот не известных ранее источников, новых исторических ис-

спедований, отставание скульптуры, по-прежнему питающейся старыми псевдонаучными мифами, стало особенно заметно...

П. Ч.: Мастерская моя, как вы могли заметить, находится совсем неподалеку от большого восьмифигурного памятника работы О. Иконникова и В. Федорова, установленного в Москве на площади 1905 года, живописующего схватку подростка и работницы с конным казаком. Можно ли по такому эпизоду, возведенному в ранг монумента, составить серьезное представление о сущности, характере и движущих силах революции, когда она представляется борьбой пролетариата с казачеством? За что им друг друга не любить? Какие-такие между ними классовые противоречия? Это ли не глупость? Можно ли станичника, оторванного от хутора для разгона смутьянов и выполняющего, согласно присяге, приказы непосредственного начальника, выдавать за символ всего казачества, и такую заведомо узкую правду считать достойной монументального увековечения? Дивятся на сей памятник мои дорогие друзья донцы-молодцы, когда они, по приезде в первопрестольную, сворачивают мимо этого монументального непотребства ко мне в гости. Крепкие статные, шумно-веселые, они, едва ввалившись в дверь и еще ие раздевшись, кричат: Петр Палыч, шо это за хреновина тут у тебя стоит? Хде это видано, шоб баба казака с коня стащила? Как же ты позволил поставить эту срамотищу на вековечное поруханив казачьего рода?

Так и позволил. А вы как позволили? Теперь вот и боритесь за правду. В рамках конституции. Или возьмем другой пример. 25 лет (юбилей!) стоит в Одессе памятник в честь восстания на броненосце «Потемкин», изображающий группу матросов, вырывающихся из-под брезента. Его авторы — скульптор В Богданов, архитекторы Ю. Лапин и М. Волков.

Если бы благодарные потомки, слепившие монумент, не довольствуясь бульварным соцреализмом Эйзенштейна, удосужились заглянуть в иные книги, кроме сберегательных, они без труда установили бы, что червивое мясо, послужившее предлогом восстания, было куплено на одесском базаре в присутствии баталера и двух матросов-артельщиков, которые, «осмотрев это мясо, нашли его свежим». Что ни из-под какого брезента отказавшимся есть суп примерно двадцати пяти матросам вырываться не доводилось, поскольку их накрыли брезентом не царские сатрапы, а задумавший кинобойню режиссер с патологически извращенным садистским сознанием. Что узкая группа заговорщиков, вынашивающих революционные замыслы, потому и воспользовалась возможностью все свалить на червивый суп, чтобы, не посвящая в свои планы команду корабля, состоявшую из 753-х нижних чинов и 10 кондукторов, вовлечь их в восстание, большинство из которых влипли в «историю КПСС» как «червивый» кур в ощип.

Что «капитан I ранга Голиков обратился к буитовщикам с увещеваниями, но Матюшенко не дал ему говорить, закричал окружающим: «расступись», и, когда последние разбежались, Матюшенко и несколько других бунтовщиков выстрелили залпом и убили капитана I ранга Голикова, тело которого тут же было выброшено за борт. Затем был вытребован наверх минный офицер лейтенант Тон, к которому Матюшенко обратился с требованием снять погоны, когда же лейтенант Тон ответил на это требование словами: «дурак, не ты мне их дал, не тебе и снимать» (чем не герой? — **П. Ч.**), Матюшенко выстрелил в него из винтовки, а затем, когда лейтенант Тон упал, в него (в соответствии со скрепленной кровью революционной круговой порукой. — **П. Ч.**) последовательно стреляли матросы Сергей Гузь, Ефим Шевченко и несколько других нижних чинов».

Подобно тому, как литература требует мыслей и мыслей, всякая революция, в обещании будущих благ, требует денег и денег. Поэтому агитаторы, горланы и главари восстания, ни секунды не мешкая, руководствуясь революционным правосознанием, завладели, естественно, судовой кассой и поделили деньги.

Затем из-за бездействия парализованной под дулами карательных орудий броненосца одесской береговой администрации начался колоссальный погром порта. Но по-настоящему «непобежденной территорией революции» броненосец стал, по-видимому, с момента, когда на его борт вступили член некой «революционной рабочей партии г. Одессы», пожелавший именоваться Кириллом, и алешковский мещании Константин Фельдман, называвший себя студентом Ивановым, переодевшиеся в матросское платье.

«...Став на возвышение, Константин Фельдман произнес речь, в которой объяснил, что народ на берегу так же, как и «Потемкин», восстал против правительства, что армия готова к ним присоединиться и ожидает только сигнала со стороны «Потемкина», каковым сигналом должна послужить бомбардировка броненосцем города», каковая, добавлю я, и была произведена.

Представьте себе, что современный ракетный крейсер, восставший из-за того, что «перестройка топчется на месте», ради удовлетворения своих «справедливых революционных» требований принялся лупить по Одессе ракетами класса «корабль — дума», да еще в момент проведения там радостной «Одесской альтернативы». То-то был бы праздник свободы!

Можно еще долго описывать приключения восставшего броненосца, — его одиннадцатидневная эпопея так и напрашивается на новый сценарий, — перемежающиеся обращениями «ко всему цивилизованному миру» и террором Феодосии, «революционными эксами» угля, продовольствия и судовых денег с пиратски захваченных судов.

Однако, возвращаясь к памятнику потемкинцам, я, в свете вышеизложенного, полагаю, что воплощенная в нем историческая правда — крайне односторонняя и

ее должно было избежать во имя высшей трагической правды русской исторической распри. Ведь она не окончена, русский узел не развязан. Напротив — он становится все туже. Никто не забыт и ничто не забыто.

И. С.: Если авторы памятника добивались этой односторонности сознательно, а не по неведению и творческой немощи, вследствие чего памятник остался заурядной дорогостоящей агиткой, «монументальной пропагандой», то разве не было бы актом исторической справедливости поставить памятник и жертвам потемкинцев?

П. Ч.: Как и жертвам народовольцев, эсеров, тухачевсковцев, чапаевцев...

Пройдите по площадям и улицам Москвы, взгляните на памятники Маяковскому, Георгию Димитрову, Эрнсту Тельману... Кому они показывают свои чудовищные кулаки? Спешащим по своим делам, измученным жизнью людям, матерям, выгуливающим подле них малышей? Чтобы те, глядя на эти кулаки, помнили, чем дело пахнет, и не вздумали пикнуть? Это ли задача искусства? Разве об этом на заре советской власти мечтал Ленин с его поистине ленинским отношением к культуре? Открываю «Записки коменданта Кремля» товарища Павла Дмитриевича Малькова и, в надежде найти опору в Ильиче, жадно читаю.

Вот, наконец, наступает 1 Мая 1918 года, и с ним разгорается заря новой культуры. «Члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались в 9.30 утра в Кремле, перед зданием Судебных установлений. Вышел Владимир Ильич... приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем:

— Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уже не хорошо, — и указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича. Я сокрушенно вздохнул.

— Правильно, — говорю. — Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.

— Ишь ты, нашел причину! Так говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи? — обратился Владимир Ильич к окружающим. Со всех сторон его поддержали дружные голоса. — Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки...

— А ну, дружно! — задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули и памятник рухнул на булыжник.

— Долой его с глаз, на свалку! — продолжал распоряжаться Владимир Ильич. Десятки рук подхватили веревки и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду. Владимир Ильич вообще терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным генералам. Он не раз говорил, что победивший народ должен снести всю эту мерзость, напоминающую о самодержавии...»

Итак, Митрич сбегал за веревками, Ильич ловко накинул петлю, а Михалыч с готовностью впрягся. Вот тебе и «ленинское отношение к культуре»! Ведь это все равно, что книги сжигать. Кто эти не названные Митричем «другие члены ВЦИК и Совнаркома» — как до сих пор утверждают, самого образованного правительства Европы? Неужели и легендарный нарком Луначарский тоже взялся за веревку? А если не взялся, то что же он-то после столь очевидной дикости хоть из приличия не сделал очередного опереточного заявления о выходе из состава Совета Народных Комиссаров? У Малькова речь идет просто о «памятнике». Но управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич, также бывший свидетелем и участником большевистского надругательства над культурой, в отличие от простодушного коменданта, уже вполне сознательно пишет: «Небольшая колонна опрокинулась и разбилась на несколько кусков». Ай-ай-ай, как нехорошо. А еще в шляпе, в пенсне, солидный мужчина. И вдруг — откровенная ложь! Ведь памятник представлял собой созданный по эскизу Васнецова — гордости русского искусства — высокий бронзовый крест, украшенный эмалью, с распятым на нем Христом и скорбящей рядом Богоматерью. Надпись на кресте гласила: «Отче отпусти им — не ведают бо, что творят». Так что «основоположник» накинул удавку не на колонну и не на изваяние своего кошмарного классового врага, а на шею Христу Спасителю.

Примерно такая же «история» произошла с памятником П. Столыпину. Известно, что посвященный ему памятник, стоявший у здания киевской городской управы, был уничтожен в дни февральской революционной свободы — вожделенной мечты нынешних либералов, покоренных идеей «учредилки».

А сразу после победы Октября родственники и поклонники Мордки Гершовича Богрова выступили с инициативой установить на месте свергнутого памятника Столыпину памятник «тираноборцу», помощнику присяжного поверенного и двойному агенту Богрову, разом «мстившему за еврейский народ» и реакционерам и революционерам. Настойчивое предложение не было осуществлено, видимо, потому, что подступили такие события, когда стало не до памятников. А жаль. Очень хотелось бы посмотреть на памятник Богрову. Но правильней опять-таки было бы оставить стоять на своем месте памятник русскому премьер-министру и установить, коли напала охота, и памятник его убийце. Уж лучше два памятника, чем ни одного.

И. С.: Плюрализм так плюрализм?

П. Ч.: Вот именно. Как говорится, «к чему в обаянии умного Ваню держать»? И гуляя по ночному городу, переходя от памятника к памятнику, каждый папаша сможет при лунном сиянии поведать Ване, Коле, Саше правду своих воззрений. Так, мол, и так: это, Ваня, плохой Христос — опиум народа, а это хороший Иуда. Вот

стоит ревнивый Пушкин — видишь, как в нем кипит африканская кровь! А теперь пойдем, я тебе покажу ни за что ни про что обиженного им блестящего Дантеса. Здесь невдалеке друг от друга стоят омерзительно-трусливый Александр II и героические интернационалисты Гриневицкий с Гесей Гельфман. Чуть подальше стоит с газетой в кармане сжимающий кепку великий Ленин и держащий на руках маленького царевича ничтожный Николай. Вот она, наша история, «единая и неделимая Россия», ее крестный путь и Голгофа. Смотрите, учитесь, запоминайте. Не думайте наивно, что «это не должно повториться». Это, хоть и по-разному, повторяется повсюду и везде. Каждый день и каждую минуту.

И. С.: Думаю, наши читатели поймут горький юмор ваших слов. Действительно, эпоха «монументальной пропаганды» была губительной для многих прекрасных произведений искусства и исторических памятников. С другой стороны, иные памятники этой «пропаганды», похоже, действительно способны спровоцировать человека, чуткого к культуре, на вандализм: не только низкий художественный уровень, но и крайняя тенденциозность, двухмерность изображений, пожалуй, даже компрометирует некоторых из исторических лиц послереволюционного периода. Давайте попробуем пофантазировать на примере личности, чьи изваяния давно уже не мозолят нам глаза. Я говорю о Сталине. Как вы считаете, достоин ли он увековечения и каким должен быть памятник Сталину?

П. Ч.: Я не тоскую ни по Ленину, ни по Сталину. Но вот как-то случайно разговорился с одним сталинистом, возмущенным бурной радостью нашей «передовой» печати, вызванной известием о снятии последнего памятника Сталину в Монголии и ее же демонстративным недоумением от нестерпимо затянувшегося существования памятников Сталину в Албании.

И. С.: Любопытно узнать, что он сказал...

П. Ч.: Высказанное им мнение любопытно тем, что его можно считать как бы незаинтересованным, взглядом как бы со стороны.

Ни он, ни его близкие не пострадали при Сталине, но вместе с тем они ни прямо, ни косвенно не были связаны и со сталинской карательной системой, то есть не были ни палачами, ни жертвами. Чем же ему полюбился Сталин? По его мнению, Сталин настолько же выше сталинизма, насколько Маркс — марксизма. В особенности «научного». Вопреки известным предостережениям Ленина, и достигнутым положением, и славой Сталин — нельзя этого не признать, утверждал он, — если не целиком, то в решающей степени обязан себе. Он впервые доказал, что в партии и стране абсолютного «культа личности» Ленина можно пойти поперек и победить. Эта победа над «марксизмом-ленинизмом» — историческое, еще никем не превзойденное достижение Сталина. Как известно, продолжал он, наличие каких бы то ни было недостатков не исключает каких бы то ни было достоинств. Сталин не был добродетельным, поскольку, делая благо одним, приносил зло другим, но он не был и злым, ибо, низвергая одних, возвышал других.

Сталин был честолюбив и властолюбив, но разве он один? Говорят, что его поведение было продиктовано страхом перед подвластными ему людьми. Возможно. Но так уж устроена эта жизнь, что большинство властителей проводят ее среди тех, кто их тайно ненавидит. Послушайте-ка, что говорят наследники власти о своих предшественниках. Но он и боясь не пресмыкался перед своими соперниками, а повелевал, не вися на шее голливудского актера и не опускаясь до ежедневного состязания в популярности со звездами массовой культуры.

Возможно, он был глупым, но не настолько, чтобы над ним смеялись глупцы. Он не знал сострадания, но не винил обездоленных в том, что они бедны. Обманывая хитрецов, он не обманывал себя и властвовал над господствующим направлением умов и политической фразеологией, не придавая им большего значения, чем они того заслуживали.

Я не предлагаю вам, Петр Павлович, — продолжал он, — освободить деяния Сталина от нравственного истолкования, — да это и невозможно, — напротив, его жизнь исключительно поучительна для того, кто собирается взвалить на себя бремя власти.

Стоит ли менять великую неправду, состоящую в том, что Сталин был величайшим зодчим, рулевым и кормчим, на еще большую неправду, по которой он был паучком в темном уголке, занятым только прослушиванием чужих телефонных разговоров, «дракулой» массовой культуры?

Мы, сталинисты, никогда не забудем, что именно при Сталине в первый и последний раз за советское время хотя бы в самой несправедливости была достигнута национальная справедливость, — если не в жизни, то хоть в смерти. Когда вся эта «ленинская гвардия», все эти не могущие скрыть изумления, раскормленные на чужом горе заклятые враги, мучители и гонители России со споротыми знаками отличий оказались в одной тюремной параше вместе со своими недавними жертвами.

Для них, гордых своей изворотливостью, расчетливостью, умом, так и осталось навсегда непонятным, — это видно по бесчисленной антисталинской прессе, — как и почему их обставил какой-то уголовник грузин, а не признанный равным представитель «высшей расы», да к тому же вырвавший власть в тот момент, когда она казалась беспредельной и окончательно достигнутой.

Вот за что они особенно и несоизмеримо более люто ненавидят Сталина, чем доступного их пониманию майнкампфного Гитлера. За то, что не понимают. И я ни на минуту не сомневаюсь, сказал он на прощание, что теперь, когда под знаменами либеральной демократии вырастает новое зло и новая несправедливость быстро идет к высшему пределу, именно либеральное чрево вынашивает еще не известного миру гада, который, во имя свободы придя к власти, пожрет самонадеянных «детей» нынешней «бескровной» революции. Надеюсь это увидеть. Потолковать с ними на общих нарах об упущенных ими возможностях.

И. С.: Ну что ж, если таких сталинистов наберется всего-навсего сто тысяч в нашей необъятной стране, то почему бы им в складчину, скинувшись по рублику, и не поставить памятник своему кумиру? Всякое убеждение вызывает уважение. «Мемориал» пусть ставит свой памятник — бывшим палачам, а затем жертвам сталинских процессов 1937 года, народ — всем невинно убиенным и без вести пропавшим во время ленинско-сталинских и прочих репрессий от 1917 до 1990 года.

П. Ч.: А «здоровые силы катастройки» смогут поставить даже не один памятник, а выдвинуть аж целый альтернативный «ленинскому плану монументальной пропаганды» свой катастроечный план. Они ведь тоже в скульптуре ни хрена, кроме пропаганды, не видят, так что бы им и не выдвинуть? Прямо против известного памятника на Октябрьской площади, переименовав ее в Апрельскую, можно было бы поставить Плюрализма с большим Консенсусом и Альтернативу. В Тайнинском саду — Голую Правду. В Александровском — Хозрасчета с Самоокупаемостью и Прогрессе с Пользой. На Манежной площади — рогатую Свободу с факелом, чтобы все было как у «них». Или Свободу Печати с Огоньком во Взгляде.

Общеевропейский дом по праву увенчает Терпимость. На Ленинских горах встанет величественный Мировой Разум во фригийском колпаке, а на Поклонной горе — Индивид. На бульварном кольце во множестве разместятся исполинские фигуры стряпчих, финансистов, мастеров смеха, всех Здоровых Сил и Сексуальных Меньшинств. Работы непочатый край. Не будут же борцы за перемены одними видвоконсервами травиться. Возжаждут когда-нибудь и полноценной Духовной Пищи. Можно, кстати, и ее изваять со скрижалями с начертанными на них изречениями из сахаровского Билля о Правах Человека. А на пьедестале так и написать на всех языках народов СССР: ДУХОВНАЯ ПИЩА. На всех хватит. Не то что колбасы. И у всех будут свои конкурсы, свои жюри, свои обсуждения, где люди, объединенные определенным единством взглядов, в конце концов, смогут договориться и прийти к общему мнению, — разве это плохо? А то выходит одна нелепость.

Объявили, например, конкурс на проект скульптурной композиции, посвященной герою поэмы А. Твардовского Василию Теркину для Смоленска. Масса учредителей. «В соответствии с итогами общественного обсуждения было утверждено жюри конкурса», сообщает «Советская культура» (24 января 1989 г.). Где, когда, какого «общественного» обсуждения? Кто о нем слышал? И немудрено, что этот, черпающий и левым и правым бортом перестроечный ноев ковчег, где кормчими и зодчими стоят Г. Бакланов, О. Долматовский, В. Лакшин, Г. Немеровский, Б. Окуджава, М. Ульянов и проч., и проч., приплыл к мудрому соломонову решению, что деньги, собранные на сооружение памятника, лучше всего потратить на некий «народный дом».

Мне по душе верно и глубоко угаданным духом византийско-христианской античности изумительные русские шедевры — памятник Минину и Пожарскому, памятник Суворову, стоявший прежде на Марсовом поле в Ленинграде, памятник Тысячелетию России в Новгороде, но представьте фантастическую картину: их еще нет и правительство объявляет открытый конкурс на их создание. Осуществился бы хоть один, когда бы проекты были выставлены на «всенародное обсуждение», да еще когда в «мемориальном» жюри сидят такие «перестроечные» соколы, как А. Адамович, Е. Евтушенко и Ю. Афанасьев?

Тотчас поднялся бы их «всенародный вопль»: «А почему Минин? А почему Пожарский? Довольно нам двух лавочников славить!» Ведь это они — черносотенные ублюдки — помешали Лжедмитрию второму начать в измученной стране немедленную перестройку и она оказалась в когтях Михаила Романова!

Не лучше ли средства, собранные на сооружение памятника, передать на клистирные трубки, их так нам теперь не хватает!

Вы думаете, это вымысел? Ничего подобного. СССР — страна чудес. Некто А. Любимов, ведущий популярной программы «Взгляд», едва взглянув как-то на проекты памятника Победы в Манеже, с легкостью необычайной предлагает все средства, собранные на его создание, передать на больницы, протезы, детские сады. А почему бы средства, идущие на программу «Взгляд», не передать на эти же цели?

Если рассуждать таким образом, никогда бы не было создано ни одного произведения искусства. Вздумали бы, например, афиняне построить общегреческий храм. Тут как тут Любимов: друзья, что вы делаете? Одумайтесь! В стране свирепствует рабовладельческий строй, на каждом шагу униженные и оскорбленные, погрязший в пороках Фрины Перикл узурпировал общегреческую казну. Как же можно в такое время строить Парфенон?

А можно ли строить в Петербурге Исаакиевский собор? Смешно подумать. В стране Аракчеевых, Бенкендорфов, Дубельтов, где нет ни одного свободного человека, где не хватает даже фотообоев — за ними громадные очереди, — и вдруг Собор? Ох уж эта «соборность». Давайте-ка лучше истратим денежки на туалетную бумагу. Вот в чем мы теперь испытываем самую острую нехватку!

«...Напоминаем, что вы смотрите программу «Взгляд»! До встречи в Верховном Совете РСФСР!»

И. С.: Читатели, пожалуй, заподозрят Вас в скрытой рекламе программы «Взгляд», а «Взгляд» в ней, как известно, не нуждается...

П. Ч.: Конечно, не в одном ненаглядном Любимове дело. Значительно большего успеха в шельмовании скульптуры достиг наш великий слепоглухонемой товарищ Кино. Теперь, если в прологе любого заурstriднейшего фильма вам покажут знаменитое чеховское ружье и заодно скульптуру, будь-

те уверены, в целости она не останется. Но тон задают конечно же не какие-то однодневки, а неувядающая «киноклассика». Возьмите хоть еще один своего рода «Броненосец «Потемкин» — «Ностальгию» Тарковского. Как и следует быть у великого режиссера, начавшего творческие подвиги сожжением коровы в «Андрее Рублеве», после дежурного джентльменского набора ностальгических мук, вызванных отсутствием привычного обожания, дело, естественно, доходит до самосожжения. Но не простого, а творческого. Метафорического, так сказать. Не в поле, чтобы никого не побеспокоить, а на античной конной статуе Марка Аврелия. Вот это красота! Но почему именно на античной скульптуре, а не на авангардистской стряпне из кузовов старых автомобилей? О, в этом все и дело. Как же можно терпеть рядом с Собой пережившие целые столетия памятники, когда рушится Моя жизнь? Мне больно, плохо, Я страдаю! Кто же вам Это кроме Меня скажет, неужели вы Этого не понимаете? Что же, эти памятники еще целые столетия так и будут стоять, когда Меня не будет?! Все-таки не случайно, когда речь заходит о памятниках, начинается столкновение таких страшных своей безотчетностью интересов, утопий, предрассудков, тайных и явных комплексов сверхполноценности, вступают в борьбу такие силы, что тут уж не до скульптуры!

На страницах газет, на экранах телевизоров появляются, а к микрофонам выскакивают, как черт из шкатулки, ряженые в художественных критиков разнообразные знатоки, околоведы, посредники, толкачи, интеллектуальные фарцовщики. Кого тут только нет, весь перестроечный бомонд!

Вот и стихотворец А. Вознесенский дерзнул как-то во всеуслышание заявить, что проект Памятника на Поклонной горе Кирюхина, Чернова, Белопольского и Полянского, если его осуществить, нависнет над Москвой черной тенью, и даже изложил свою точку зрения в рифмах.

Но может ли человек, поставивший совместно с Зурабом Церетели — между прочим, как и Вознесенский, утвержденным Советом Министров СССР в декабре 1989 года членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям — какой-то «фундаментальный шашлык», говорить о чужих проектах, когда его собственный не лезет, как говорится, ни в какие ворота? Какой тенью он, абсолютно не вписанный в сложившуюся городскую среду, лишенный какой-либо логики и создающий на Тишинской площади только ощущение досадной преграды, навис над Москвой?

Невозможно представить, чтобы эта вертикальная требуха могла быть установлена в центре Рима, а ее автор потом еще и публично рассуждал о недостатках чужих проектов. Другой, кажется, со стыда бы умер, соорудив такую дрянь, но нашему великому архитектору высоких степеней посвящения в это таинственное ремесло органически не присуща никакая самокритика.

И я не удивлюсь, если Вознесенский, с его-то «пробойной» силой сварганит монумент еще и с разъезжающим по стране с дубовым проектом мемориала жертвам сталинских репрессий Эрнстом Неизвестным, воспетым им в стихотворении, где мужественный Эрнст «идет наступать один», а белесый дрожащий Митька боится высунуться из окопа. Как будто не эти «Митьки», «Ваньки», «Саньки» лежат под тысячами воинских надгробий и не эти Эрнсты соорудили им более чем посредственные монументы! Убитого объявляют трусом, в выжившего храбрецом...

И. С.: Если я правильно Вас понимаю, все, что Вы говорите о положении дел в скульптуре, есть свидетельства ее упадка в настоящее время. Но давайте возьмем феномен Неизвестного, прижизненно объявленного гением. Хотя сейчас он уже не вполне принадлежит к нашей культуре, может быть, все-таки он выделяется на общем «кербелевском» фоне и хоть отчасти скрашивает его?

П. Ч.: Неизвестный — это Кербель наоборот. У Кербеля, раздутого в циклопическую величину партозаврами, руководившими культурной политикой, — монументальная пропаганда, а у отказавшегося от кербелевского «реализма» Неизвестного — контрмонументальная пропаганда или монументальная контрпропаганда. Вот и вся разница. И никакого понятия о собственной самоценности скульптуры, которую отвоевала себе русская литература, отмежевавшаяся от литературы, вышедшей из шинели Троцкого, портянок Каменева и подштанников Зиновьева.

Скульптура стала ремеслухой. Скульпторы почувствовали себя наемниками, ландскнехтами, причем заранее как бы подразумевалось, что в создаваемом произведении не должно быть чего-то личного, никакой судьбы поэта, никакого путешествия души. Вот причина упадка скульптуры.

В нашей профессии есть совокупность определенных знаний, приемов, средств, навыков, необходимых для овладения профессией. Кербель отличается от человека, не занимающегося скульптурой, как человек, умеющий сворачивать пилотку из газеты от не знающего, как это делается. У него есть чему поучиться, если никогда не брал в руки глину. Но ведь мы говорим о Герое Социалистического Труда в одном случае и в другом — неформальном «гении», занимающем почетные места во всех международных каталогах. Ранние «реалистические» работы Неизвестного ничем не отличаются от «академических достижений» того же Кербеля.

В свое время Неизвестный не раз бахвалился в профессиональном кругу, что ему ничего не стоит сделать любую реалистическую работу за три дня. Я как-то видел в музее Свердлова в Свердловске одну его «реалистическую» диковинку — тошнотворно вылизанную плакатную троицу якобы рабочих, трепетно несущих в лучезарную даль бюстик Свердлова. Почему эти поделки при административно-командном руководстве скульптурой имели оглушительный успех? По той же причине, по какой тупые цензоры с дьявольской безошибочностью вымарывали лучшие строки в стихах русских поэтов. Они вычеркивали

то высшее и наиболее сложное, что казалось им темным, маловразумительным и непонятным. А в простом как мычание «творчестве» Кербелей и Неизвестных никакого таинства нет. И в том и в другом случае мы имеем дело с изготовителями «имиджей» и подобий — болванов, истуканов, кумиров.

Взгляните на надгробный памятник Хрущеву работы Неизвестного. И формальные и неформальные бюрократы с черно-белым восприятием мира от него восхищенно «балдеют», им все понятно: белая и черная половина указывают на то, что Хрущев стоял на границе между светом и тьмой, одной ногой в сталинизме, другой — уже в оттепели... С тем же успехом можно прославлять памятник в честь освоения космоса, изготовленный А. Файдышем, на ВДНХ, где сложнейшая многовековая история отношений человека с космосом воплотилась в гигантском чернильном приборе, куда можно втыкать ручку с ракеткой на конце.

Так и с памятником Хрущеву: вот его светлая сторона, вот темная, вот сам Хрущев, а вот его бородавка, а то, что портрет — наистандартнейшая худфондовская голова, каких миллионы и миллионы, — это не важно. Чем она отличается от серийных бюстов Ленина или Мао Цзедуна?

Конечно, Хрущев допустил промах, неосторожно обругав на выставке тридцатилетия МОСХ в Манеже мазню белютинской студии, вместе с которой выставил свои железки и Неизвестный. Они не стоили такого разноса. Стоит ли замечать и на правительственном уровне обсуждать пачкотню, какой завалены теперь весь Арбат и Измайловский рынок? Но какие купоны эти «гонимые» стригут с него уже 27 лет! Какие репарации снимают и с Хрущева, и со Сталина!

В телепрограмме «Добрый вечер, Москва!» (19 октября 1989 г.) Элий Белютин возмущенно восклицает: «Нас до сих пор не признает Министерство культуры! Это даже удивительно!»

А кого же оно тогда признает?

Пройдите по выставочным залам. Бесперебойные выставки авангардистов. Прыжки, объятья, пируэты!.. Зал Московской организации Союза художников на Кузнецком мосту, выставка Ассоциации «Нью-йоркские художники» с многозначительным названием «Живопись умерла, да здравствует живопись!», подготовленная, как сообщается в афише, неким Дональдом Каспитом.

В проеме центральной части зала висит «Дьявол» Бенни Андерса. Почему дьявол? Это просто дрянненькое, еле-еле душа в теле, изображение тупо уставившегося в пространство пейсато-волосато-бородатого дебила, сидящего рядом с валяющимися на столе полувыдавленными тюбиками красок и банкой с кистями. «Выдавливал раба» и выдавил и здесь и там столько, что уж и сам не может продохнуть. Кто бы мог предположить, что «Демон поверженный» Врубелем, будет так безжалостно добит кистью Андерса!..

Малевич умер, но его квадрат живет в творчестве Шарона Голда. Вот его серый квадрат под названием «Почти Борис Годунов». Несколько грязных портянок с названием «Без названия», авторы которых, видимо, полагают, что слова бессильны перед этими экспонатами. Здесь же три «Лиминальных иконы» Ханса Бредера (лиминалии всех стран, соединяйтесь!) — выщербленные, перемазанные акрилом дощечки. Далее «Японское колесо» Пола Стайера — круглая, примерно в два метра древесно-стружечная плита, обтянутая перепачканным холстом. При чем здесь Япония? Филиппу Сайресу «Главы государства» видятся как девять выкрашенных квадратов. Он соперник Шарона Голда. Как бы они не обвинили друг друга в плагиате. Алекс Катц изобразил «Стол». Он — «реалист». На холсте в самом деле стол.

Хорошо помню, какие шквалы, цунами ярости, какие истошные вопли поднимались всякий раз, когда кому-нибудь не включенному в четырежды утвержденный правлением план выставочной деятельности МОСХа удавалось протиснуться со своей выставкой в этот зал. Легко представить, как бесновались бы радикальные секретари, если бы вместо нью-йоркских дарований зал занял Шилов или Глазунов. Коллективные письма, протесты, представления, демарши посыпались бы как из поганого ведра. А тут вместо оглушительных воплей — оглушительное молчание. Стоит ли орать, если Дональд Каспит подготовит ответную выставку московских «лиминалиев» в Америке. Остальных просим не беспокоиться. Зал, конечно, общий, но в Америку поедут не все.

Таких выставок, советских и зарубежных, в последние годы — десятки. Если перевесить таблички с указанием имен авторов, вы ни за что не догадаетесь, какой квадрат или «лиминальная икона» какому мастеру, подмастерью или ученику принадлежат.

Скажу несколько слов лишь еще об одной выставке, выделяющейся отнюдь не иным пониманием задач искусства, а уровнем организации. Размещенная в Центральном Доме художника на Крымском валу, она называлась «Транзит. Художники России в эмиграции». Ее организаторами выступили не какие-нибудь бывшие фарцовщики иконами, ставшие владельцами частных галерей. А совместно с фирмой «Эдуард Нахамкин файн артс», «уже много лет, — как сказано в презентации, — специализирующейся на материале русского и советского искусства», и музеем изящных искусств Лонг-Айленд (Нью-Йорк), принял участие в этом балагане и пользующийся (пользовавшийся) мировым авторитетом Государственный Русский музей.

На выставке багажа двадцати транзитников все те же квадраты, кубики, пятна, кляксы, «структуры», исколотые с маниакальной аккуратностью иголками разных сечений терракотовые головы, «намеки», издевательски перерисованные шедевры русской и мировой живописи (например, «Венера» Джорджоне с красной пятиконечной звездой на лбу), металлолом Неизвестного...

Но при чем здесь Россия? Насколько мне помнится, эти «художники России», в большинстве евреи, — некоторых из эмигрантов я знал лично еще до отъезда, —

живя здесь, никогда особо не настаивали на своей принадлежности к России. Они скорее противопоставляли себя ей — косной, темной, невежественной. Но, переехав, они тут же стали выступать от имени России, подавая себя чуть ли не ее полномочными культурными представителями. К чему этот балаган? Не лучше ли было, чтобы снять недоумение, назвать выставку, скажем, «Русско-еврейский диалог»? Мы в нем крайне заинтересованы. Он даже намного важнее для русских, чем для евреев.

И. С.: Из Ваших слов следует, что Вы невысоко оцениваете художественную ценность большинства произведений авангардистского толка. Мне кажется, что и организаторы выставки «Транзит» придавали ей скорее политическое значение. Может быть, и нам отнестись к ней так же? Не поддаваться унынию от того, что вновь в зале российских художников мы не видим произведений российских художников, а вступить в предложенный диалог?

П. Ч.: Уж лучше самим добровольно попытаться понять изнутри логику еврейского ума, чем под воздействием внешней психотерапевтической лоботомии, когда Крамской, изображая Христа, воплощением мучительных раздумий русской демократической интеллигенции о выборе пути к дворцам из алюминия вдруг, неожиданно для себя, изобразил неукротимого носатого бомбиста. Или как Поленов, писавший Христа прямо с Левитана. А Стасов называл это реализмом!

Так вот, в рамках русско-еврейского диалога и, разумеется, Конституции, как истинный плюралист, откровенно и честно заявляю, что я не люблю как подобную «Транзиту» и признающую только себя еврейскую культуру, — хотя бы за то, что она и не вполне еврейская, — так и способы ее материального самоосуществления. И я не боюсь в этом признаться, не считая это свидетельством преступного «антисемитизма» и разжиганием межнациональной розни. Если потребуется, могу доказать, что знаком с еврейской культурой ближе, чем многие евреи и ее инокультурные защитники. Но она тем не менее мне не близка.

Я считаю полным бездарем героя «Сотбиса» Гришу Брускина и заурядными посредственностями Шагала, Тышлера и Каплана, но не потому, что они евреи, а потому, что посредственности. Однако и думая подобным образом, я — таки да! —уверен, что тот же Шагал достоин все же большего, чем пустое бессодержательное славословие, источаемое в его адрес Каменским, скорее напоминающее нынешние предвыборные листовки или предреволюционную «социал-демократическую брошюрятину» начала века, чем работы искусствоведа.

Никого нельзя заставлять насильно кого-то или что-то любить. Но это не должно мешать установлению отношений, поскольку, как это часто бывает, отношения, основанные на признании различий, на откровенном выражении взаимного неприятия тех или иных черт неверно сложившихся национально-культурных соприкосновений, разумнее отношений, где эти различия искусственно замалчиваются. А на этом замалчивании процветает многочисленный клан политических паразитов, специализирующихся на борьбе с «левым и правым уклоном». Потешно балансируя как собака на заборе, в своих глазах они кажутся, конечно, усталыми мудрецами, уравновешивающими своими пудовыми задами крайности и перехлесты недалекой «творческой интеллигенции». Надеюсь, читатели не заподозрят меня в интеллигентности? Меня как награжденного почетным званием реакционера радует здоровая тошнотворнорвотная реакция народного организма,— именно она-то и обнадеживает! — на ту духовную отраву, какой его ежедиевно потчуют эти «центристы» совместно с взаимозаменяемыми «либертинами», «пассионарами» и массовиквми-затейниками нынешней «культуры».

«Вестник еврейской советской культуры» от 22 августа 1989 года похваляется тем, что «евреи вносили и вносят свой немалый для такого малочисленного народа вклад в русскую и советскую культуру. И мы вправе этим гордиться и хотеть, чтобы это звучало не шепотом».

Неужели авторы такого рода заявлений не понимают, что их уместнее было услышать от русских, а не от евреев, коль скоро речь идет о вкладах именно в русскую культуру...

Рассуждая на половине страницы «Московского комсомольца» от 12 ноября 1989 г. о тернистом, извилистом жизненном пути скульптора Петра Шапиро, о трудностях, мешающих ему осуществить проект памятника с названием то ли «Альтернатива», то ли «Реальность прогресса» (скульптор еще не решил), некая Наталья Ефимова вопрошает: «Но неужели случится то же, что с памятником декабристам, который мог бы появиться в Иркутске,— ведь жители отдали за проект Петра большинство голосов. И неужели правда — эти строки из стенограммы, принадлежащие Валентину Распутину: «Я не против памятника декабристам. Я против памятника Шапиро. (Смех, аплодисменты.)»

Но неужели, если проект памятника сделал Шапиро, надо, не раздумывая, его осуществлять? Неужто принадлежность к еврейству стала профессией? Нет — неужели мы действительно дожили до того, чтобы не идти на поводу у Шапиро? Что-то не верится. Ведь он произвел на свет божий множество печально прославленных «нетленок», есть среди них и «бессмертный» образ Брежнева. И, не сомневайтесь, столько же, если не больше, произведет.

А стенания продолжаются: «Он не мог быть принят в Строгановское училище — вопреки мнениям специалистов (каких, интересно? Уж не таких ли, как те, что засели в жюри всех конкурсов — от КВН и «мисс Очарование» до... «Мемориала»? — П. Ч.], вопреки логике дара, — не мог... как сын человека, осужденного по пятьдесят восьмой».

А мне вот не довелось учиться в Оксфорде. Пришлось довольствоваться учебой у не известного широкому читателю Саула Львовича Рабиновича в Строгановском училище. Но я как-то не догадался объяснить случившееся «происками» Голенпольского и обвинить в своих злоключениях «гнусное правительство». Наоборот. Я ему очень, очень признателен. Спасибо. Выучили.

Журнал «Творчество» (1989, № 7) в рубрике «Взгляд», — что-то много у нас «Взглядов», — помещает статью Анатолия Слепышева, начинающуюся тирадой:

«Институт для своих питомцев из МСХШ в виде исключения устроил весной отдельные от общего потока экзамены. Не заболей начальник отдела кадров, не «прошляпь» мою фамилию его заместитель, мне, как еврею, не видать бы института как своих ушей. Это было в 1951 году. Каждый знает, что это было за времечко».

Да уж, как не знать. Мне, да и мне ли одному — миллионам оно запомнилось. Мы вдвоем с бабушкой в нищей обезлюдевшей уральской деревушке Шипелово Белоярского района Свердловской области, выискивая в земле прошлогоднюю картошку, — до сих пор помню ее вкус! — едва-едва выжили. И я искренне рад, что не все сидели в лагерях, ссылались, голодали, холодали, а и оставались на свободе, готовились к лучшей жизни, учились. Но, оказывается, исключительно «по недосмотру» кадровика. Тогда непонятно — что помешало в неправовом государстве выздоровевшему начальнику отдела кадров после обнаружения «ошибки» под любым предлогом исключить еврея из Института имени Сурикова? Оказалось не по зубам, несмотря на «времечко».

В той же «творческой» статье говорится, что, кроме Слепышева, окончившего школу напротив Третьяковки, ее окончил и такой до сих пор у нас не признанный, гонимый, но, разумеется, великий и неповторимо-гениальный Володя Янкилевский. И тоже по недосмотру, конечно. Но только эти двое. Остальные по досмотру.

А теперь скажите, есть ли хоть какое-нибудь различие между мировой скорбью «Вестника еврейской советской культуры», стенаниями органа МГК и МК ВЛКСМ «Московский комсомолец» и причитаниями органа Союза художников СССР журнала «Творчество»? Вам не кажется, что мы в последнее время просто избалованы пиршеством русского духа?

И. С.: Да, видимо, «пиршество» будет не так скоро, как хотелось бы. По существу основная часть средств массовой информации и тиражируемая либеральная культура не столько освобождают общественное сознание от мифологем и фантомов семидесятилетнего тотального большевизма, сколько пытаются половчее подменить их своими, новыми мифами. При ближайшем рассмотрении методологическая база предшественников и наследников перестройки оказывается практически идентичной. Может быть, наша беседа получилась несколько... угрюмой, мрачной, но очень не хочется поменять шило на мыло и на старый лад поклоняться новым идолам...

П. Ч.: Как-то позвонил знакомый литературный критик и, кипя благородным негодованием, возмущался награждением Даниила Гранина звездой Героя Социалистического Труда. Я его спрашиваю:

— А что тебе не нравится?

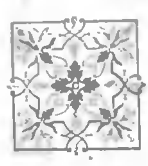
— Как что?! Да ведь он в свое время ругал «космополитов»!

— Но ведь правильно ругал.

— Может, и правильно, но сейчас-то он что пишет? «Зубра»! Выходит, он тогда был неискренен?

— Неизвестно. Может, он теперь пишет неискренне, а тогда был искренен. Может, его наградили за правильные мысли в 1949 году. Главное, что награда, хоть и спустя сорок лет, но нашла своего героя. Это ж «амбивалентность». Что борьба с «космополитами», что «социалистический труд», что «перестройка»... Понимать надо.

Когда на трибуну съездов Советов, — сердце заходится от счастья при виде такого обилия кристально-честных культурных людей! — царственно поднимаются украшенные как елки штампованными флажками народные избранники и с неподдельным жаром клянут «остаточный принцип финансирования культуры», я думаю: если в «архитектуре» коробки из-под обуви будут уступать место дерзновенно-авангардным крысоловкам, «театр» вытеснять одну мерзость другой, еще большей мерзостью, если на выставках «изобразительного искусства» поток черных, серых и белых квадратов будет сменяться жеваными консервными банками и приклеенными к холстам прииндалами женского нижнего белья, а депутаты будут «чистить» себя под «Лениным» Кербеля, — сколько ни вкладывай денег в культуру, количество вложенных средств будет обратно пропорционально результатам. А для набирающей обороты новой «перестроечной культуры» и «остаточного принципа» слишком довольно.



Из нашей почты

«НАДО БОРОТЬСЯ...»

Спустя год в редакцию все еще поступают отклики на работу И. Шафаревича «Русофобия»

Публикация работы И. Р Шафаревича «Русофобия» в журнале «Наш современник» (№№ 6, 11, 1989) стала событием общественной жизни не только в нашей стране, но и за рубежом. Выдающийся математик привнес в сферу, где до этого кипели эмоции, аналитичность научного подхода. Он рассмотрел русофобию как систему, выявил ее корни, проанализировал в историческом контексте, привлекая факты не только из отечественной истории, но и из истории других стран.

Этот всеохватный труд поставил инициаторов антирусской кампании в затруднительное положение. Выяснилось, что у них нет аргументов для спора с ученым. Но и ответить, по обыкновению, бранью они не могли: у Шафаревича не только блестящая научная репутация—биография ведущего правозащитника 70-х годов, друга А. И. Солженицына.

Работу пытались замолчать, представить курьезным поступком эксцентричного ученого. О безуспешных попытках найти убедительный тон в споре свидетельствуют, в частности, возвращения к теме в одном и том же органе печати. Только газета «Новое русское слово» (США) посвятила «Русофобии» несколько публикаций.

Постепенно полемика со взглядами Шафаревича переросла в полемику вокруг Шафаревича. У замечательного ученого нашлись сторонники, выдвигавшие весомые аргументы. Мы публикуем фрагмент спора-резюме статей видных американских журналистов Д. Ремника и Дж. Собрана. Кроме того, в нашу подборку включены отклики отечественных читателей и письмо доктора наук Н. Лебедевой, рассматривающей приемы критиков «Русофобии».

ДАВИД РЕМНИК

«Вашингтон пост», международный отдел

Гласность пробуждает голоса антисемитов

Москва, 11 апреля. Гласность — политика свободной дискуссии Кремля, которая открыла путь потоку литературы и информации, также открыла путь «интеллектуальному антисемитизму», который понимается здесь его критиками как постоянная зловещая тенденция в русской культуре.

Ни одна публикация не привлекла столько внимания советской интеллигенции в этом году, сколько статья Игоря Шафаревича «Русофобия», в которой утверждается, что «Малый Народ», в основном еврейские писатели и эмигранты, разрушает самоуважение исконно русских — «большого народа», описывая его как нацию рабов, которая боготворит власть и нетерпимость.

«Существует только одна нация, о чьих нуждах мы слышим почти каждый день, — пишет Шафаревич в «Нашем современнике». — Еврейские национальные чувства лихорадят всю страну и весь мир. Они негативно влияют на разоружение, торговые соглашения и международные отношения ученых. Они вызывают демонстрации и забастовки и присутствуют почти во всех разговорах».

«Термин антисемитизм как атомиая бомба на наши головы», — заявляет он. По поводу сообщений и слухов о нападениях на евреев Шафаревич сказал: «На фоне антиармянского и антирусского насилия невозможио говорить об антисемитизме. Я не слышал ни об одной ссоре или случае избиения из-за антисемитизма. Это совершенно не сочетается с сегодняшними реальными проблемами».

Что пугает евреев больше всего в связи с Шафаревичем и рядом других известных здесь лиц, которые с ним согласны, — это их интеллектуальная и социальная позиция. В отличие от большинства членов крайне антисемитской организации «Пвмять», группы людей, которую часто представляют коротко подстриженные юнцы в черных рубашках, размахивающие неофашистскими знаменами, Шафаревич является первоклассным математиком с репутацией бывшего политического диссидента большого ума и мужества.

Его работы о необходимости возродить русскую культуру и ценности были включены в сборник «Из-под глыб», антисоциалистический сборник под редакцией писателя-диссидента Александра Солженицына, в начале 70-х годов. С тех пор его отстранили от преподавательской работы, но сейчас он призывает правительство оказать давление на журналы, которые публикуют работы писателей, которых он называет еврейскими «русофобами».

«Пару лет иазад была только «Память», но они «люмпены», они находятся на самом низком интеллектуальном уровне, какой можно только вообразить», — сказал Александр Шмуклер, лидер Конфедерации еврейских организаций в Советском Союзе. — Но теперь подняли голову люди такие, как Шафаревич, а они гораздо опаснее. Они представляют собой слияние старого антисионизма, антиеврейской теории и практики. И все это под прикрытием возвращения к понятию Великой Российской Империи».

«Мы живем в страхе», — говорит Наталья Раппопорт. Она и ее дочь недавно уехали из СССР. «В опасные времена все обращено против евреев. Когда мы приехали сюда, мы впервые спали спокойно».

ДЖОЗЕФ СОБРАН

«Нью-Йорк сити трибюн»

Политического диссидента клеймят антисемитом

Ну-ну. Игорь Шафаревич попал на первую страницу «Вашингтон пост». Даже поместили фотографию его покрытого морщинами лица, это вторая его фотография, которую я видел в своей жизни.

В первый раз я услышал о Шафареенче в конце 70-х годов. Он был видным математиком. Он был храбрым политическим диссидентом. Он был автором глубокой критики социализма во всех его исторических проявлениях — книги «Социализм как явление мировой истории». Ни одно из этих качеств не сделало его, однако, достойным того, чтобы написать о нем здесь в газете.

Итак, почему он на первой странице «Вашингтон пост» сейчас? Потому, что его обвинили в «антисемитизме». Кто? Согласно корреспонденту из «Вашингтон пост» в Москве Давиду Ремнику — «критики отсюда» и «многие евреи отсюда». Заглавие статьи даже не дает понять, что это просто чье-то мнение. «Гласность пробуждает голос антисемитов», говорится в нем.

Статья не подтверждает обвинение. Не ясно также, в чем обвинение. Слово «антисемит», как и «расист» и «человеконенавистник», настолько же семантически пустые, насколько и эмоционально взрывоопасные.

Причиной негодования является большой очерк Шафаревича «Русофобия», который был осужден в этой стране (США. —Ред.) до того, как был переведен или опубликован здесь. Очерк анализирует враждебность к этническим русским, которая, как говорит Шафаревич, особенно сильна среди некоторых евреев, особенно тех, которые помогли сформировать коммунистическое движение и советскую систему. В очерке также высказывается тревога, что проблема евреев несправедливо заслонила собой проблемы других групп населения.

Поразительно, противоречиво — да. Возможно также и преувеличено. И, может быть, ошибочно, как общее суждение. Но — антисемитское?

Ни один из запальчивых оппонентов Шафаревича не дал ни одной цитаты, подтверждающей, что в его работе содержится какое-либо оскорбление евреев или хотя бы желание для них того типа униженного состояния, в котором неевреи находятся в Израиле. Однако, несмотря на его мужество, как борца за права человека, Шафаревича причисляют к группе хулиганов, которые призывают бить евреев иа улице.

Определенным образом статья в «Вашингтон пост», как кажется, иллюстрирует точку зрения Шафаревича. Мы так стали озабочены некоторыми интересами неких меньшинств, что автоматически приравниваем эти интересы к «правам» и столь же автоматически — критику этих интересов к фанатизму. Это стало стандартным приемом. Сказать, что у нас расизм и антисемитизм стали идефикс, значит быть осужденным как расист и антисемит.

Нельзя утверждать, что не существует «таких вещей», как античерный и антиеврейский предрассудки. История сурово доказывает нам, что есть. Но клеймящие термины сейчас используются неразборчиво и даже цинично, применяются к слишком широкому кругу явлений — не только к прямому преследованию, но и к тому стилю нравственной критики, который необходим для честной общественной дискуссии.

Предрассудок против социальной группы может быть антибелым, антихристианским, антинехристианским антивесповским (само слово wasp* — антивесповское)... Он может быть антирусским, антипольским, антиарабским, антинемецким. И каждый «предрассудок» является частично жизненным выводом: обычно можно указать на большой жизненный опыт, подтверждающий его. Но некоторые исторические обобщения допустимы, если они делаются более в духе социолога, чем обличителя.

В наш век, когда межнациональные отношения возродились с новой страстностью необходимо иметь возможность обсуждать эти отношения честно и открыто —а также и ответственно. Публичная дискуссия искажена сейчас почти подсознательным предрассудком, неким стереотипом, согласно которому этническое большинство всегда фанатично и тупо, в то время как любая группа, называемая «меньшинством», предполагается полностью невинной. Эти предпосылки столь же несправедливы и нереалистичны, как и те предрассудки, которым они намереваются противостоять. В случае этнических разногласий обе стороны внесли в них свой вклад. Читая между строк, я догадываюсь, что именно это говорит Шафаревич.

Но, возможно, мы никогда этого не

* Сокращение от «белый англо-саксонский протестант».

узнаем. Благодаря «Вашингтон пост» сильный мыслитель заклеймен прежде, чем он даже был прочтен. Несомненно, Шафаревич, яркость ума которого засвидетельствовал (среди прочих) Александр Солженицын, не заслужил того, чтобы его выставляли типичным изувером. Прав он или нет, но его ум для этого слишком широк — как это ни неприятно некоторым.

«Народ жив...»

* * *

Не знаю, кто из малого народа первым прогулялся насчет «страны тысячелетнего рабства» (Гроссман тут явный продолжатель), но знаю, что нас 70 лет учили этому и добились, что история для нас стала зловонным трупом. Т. е. убили корни патриотизма. Теперь убивают уже новейшую историю. И вот получается так, что нам не в кого и не во что верить.

Демократия — дело хорошее, но только при двух условиях. Везде в западных странах и везде в прошлом все демократии были национальными и религиозными. Демократия — власть народа; душа народа — его национальная культура, следовательно, демократия — это власть народной национальной культуры, культуры, объединяющей народ в единое самобытное целое.

Н. СЕРОВА,
историк.
Нижний Новгород.

* * *

В 60—70-е годы меня привлекало диссидентское движение. Самиздатовская литература выгодно отличалась от официальной мертвечины, и все мы, и ныне «левые» и «правые», отдали ей дань. Но отрезвлением от упоительного чувства собственной значительности и посвященности в опасные тайны стали книги Федора Абрамова и писателей-«деревенщиков». Мы испытали чувство сродни тому, что испытывает, наверное, детдомовец, вдруг узнавший, что у него есть сестры и братья, что и выжил-то он не благодаря заботе детдомовской администрации, а благодаря незримой поддержке, труду и терпению братьев и сестер.

Следующее потрясение — Солженицын. Через его страшное и мощное слово пришло радостное известие, что народ наш, отпетый диссидентами, жив, что сила, позволившая выстоять самому Солженицыну, не ему одному присуща, а лично ему отмерена из того резерва, откуда будет черпать силы и весь народ.

Вот по такой лесенке поднималась я до Вашей статьи и приняла ее с восхищением и надеждой на то, что она убережет многих от недооценки разрушительной силы антисистемной идеологии, столь укрепившей свои силы за последние годы. Укрепившейся за счет недоверия людей к нынешней системе управления, за счет веры обывателя в любую складно оформленную идейку, противостоящую официозу, за счет того, что «малый народ» очень консолидирован и умеет дружно называть черное белым и наоборот. Вот и Ваша статья объявлена антисемитской, и нет никакой возможности объяснить людям, что она совсем о другом. Думаю, потому и нет возможности, что там всё прекрасно понимают.

А мне остается радоваться, что дожила до времени, когда живую мысль можно прочесть, пережить, еще раз перечитать...

М. В. МИХАЙЛОВА.
Москва.

* * *

Однажды поделилась своими впечатлениями от «Нашего современника» с сотрудником по работе. Так он перестал со мной здороваться. Я была поражена. Мне стыдно за свою трусость, но когда у нас в Ленинграде проходили выборы и на работе зашел разговор о том, кто за кого голосовал, я не призналась, что голосовала за Марка Любомудрова.

Пожалуй, только с прошлого года я начала испытывать боль, горечь и гнев в тех случаях, когда унижается человеческое и национальное достоинство русского человека. К сожалению, эти тенденции усиливаются..

Надо бороться за сохранение и восстановление национального самосознания русского народа. Я буду стараться честно высказывать свои взгляды и отстаивать их, Ваша работа дает мне силы. Спасибо.

Л. ЮХНОВА,
биолог.
Ленинград.

* * *

Как классифицировать действия Н. Ивановой, когда она приписывает И. Шафаревичу слова, которых он не говорил, и на их основе обвиняет его как минимум в антисемитизме? Действительно, И. Шафаревич произносит словосочетание «малый народ» и отзывается о нем нелестно; действительно, И. Шафаревич не более лестно отзывается и о некоторых (вполне конкретных!) евреях... И Н. Иванова тут же делает сверхсмелый вывод: у И. Шафаревича «малый народ» — это все евреи, проживающие в СССР!

И какое дело Н. Ивановой, что под «малым народом» И. Шафаревич разумел не какую-либо определенную национальность, а ту часть любого общества, населения любой страны, состоящую из ультрареволюционных псевдоинтеллигентов, которая противопоставляет себя всему прочему обществу, «большому народу»! И плевать Н. Ивановой, что статья И. Шафаревича — крайне, предельно добросовестный труд, писанный кровью, кровью патриота, кровью человека, преданного своей Родине и своему народу, и что статью эту И. Шафаревич писал (кстати, в начале 80-х!) не ради лавров, и что за нее И. Шафаревич был подвергнут гонениям (и не со стороны длинноволосых неформалов, а со стороны власть имущих)...

Ю. В. ЗАСОРИН,
канд. физ.-мат. наук.
Воронеж.

НАТАЛИЯ ЛЕБЕДЕВА

На том ли уровне?..

За перо меня заставила взяться статья А. Шмелева «По законам пародии?», опубликованная в журнале «Знамя» (1990, № 6), в которой автор пытается иронизировать (и довольно неуклюже) над основными положениями статьи Игоря Шафаревича «Русофобия». Сразу же, с первых строк, Шмелев сообщает, что при чтении «Русофобии» у него «возникает и все усиливается чувство недоумения».

Странное совпадение, но при чтении статьи самого Шмелева происходит в точности то же самое явление — зачем это ёрничанье? Начну с названия. Почему пародия? На кого или на что? Пытаюсь проследить разгадку и недоумеваю: приводимые автором примеры никак не желают укладываться в рамки пародийности. Скажем, на странице 218 Шмелев пишет, что особенно ярко пародийный характер работы Шафаревича проявляется при обсуждении национальных проблем. Приводится пример, где Шафаревич констатирует сверхчувствительность евреев к любой критике лиц своей национальности: «Всякая мысль, будто когда-нибудь или где-нибудь действия каких-то евреев принесли вред другим народам, да даже всякое объективное исследование, не исключающее с самого начала возможность такого вывода, — объявляется реакционным, неинтеллигентным, нечистоплотным. Взаимоотношения между любыми нациями: немцами и французами, англичанами и ирландцами или персами и курдами — можно свободно обсуждать и указывать на случаи, когда одна сторона пострадала от другой. <...> Но по отношению к евреям подобные суждения <...> — в принципе запрещены». Даже дать отрицательному персонажу в художественном произведении еврейское имя и фамилию, считает он (Шафаревич. — Н. Л.), опасно...»

Спрашивается: в чем же здесь у Шафаревича пародия?! Это же чистая правда. Привычная, всем известная практика нашей жизни.

Примеры Шафаревича можно сколь угодно продолжить. Сам Александр Солженицын (которого так любит цитировать Шмелев) не избег подобных же обвинений сразу же после того, как обнародовал списки лагерных палачей и начальников с еврейскими фамилиями. Обвинения Солженицына в антисемитизме продолжаются до сих пор в публикациях Янова, Синявского и других. А вот уже и еще один из лучших писателей России, человек высокой совести — Валентин Распутин, объявлен шовинистом, антисемитом и чуть ли не фашистом лишь за то, что выступил против шельмования русских и русского патриотизма.

Шмелев даже как будто соглашается с мыслью из «Русофобии», что «есть только одна нация, о заботах которой мы слышим чуть ли не ежедневно... Еврейские национальные эмоции лихорадят и нашу страну и весь мир». Он пишет (с. 219)... «Евреи, безусловно, занимают выделенное место в общественном сознании...» Но далее замечает, что ПОСЛЕ национал-социализма бесстрастно обсуждать этот вопрос психологически трудно... Спрашивается: но разве ДО национал-социализма обсуждать его было легче? Кроме того, именно ПОСЛЕ национал-социализма стало понятно, чем может поплатиться человечество, если одна нация или раса претендует на «выделенное положение».

Далее, на странице 223 Шмелев сообщает, что в заключительных параграфах пародийный характер «Русофобии» становится все ощутимее. Тут же приводится пример, снова вызывающий недоумение. Автор описывает, как Шафаревич в главе 2 опровергает тезис, что революция и социализм имеют корни в традициях русской истории, а в главе 9, к удивлению Шмелева, Шафаревич все же якобы обнаруживает национальные корни у русской коммунистической революции, только корни эти — еврейские. Но ничего подобного нет в главе 9! Там Шафаревич пишет вот что: «Начиная с пореформенных 60-х годов в России у всех на устах появилось (появилось, по утверждению Шафаревича, с Запада.— Н. Л.) слово «революция». Стал формироваться «Малый Народ» с присущими ему чертами мироощущения и поведения. Процесс этот сопровождался отчуждением и отрывом от российских национальных корней жизни, как того неизбежно требовало посвящение в новое учение. Этот отрыв, считает Шафаревич, проходил мучительно в массе рус-

ской молодежи и значительно легче в среде еврейской молодежи, не только не связанной общими корнями с этой страной и народом, но с детства воспитанной в духе вражды к ним и отрицания.

Как видим, в приведенном примере на странице 223 Шмелевым допущено искажение смысла написанного в «Русофобии», и опять же ни следа нет пародийности или противоречия. Все очень серьезно и ясно.

В охоте за придуманной им же самим «пародийностью» Шмелева все время как бы корежит, утягивает куда-то в сторону, мимо основных мыслей и рассуждений «Русофобии», которые от этого оказываются оборванными или искаженными до неузнаваемости. Так, в заключительной главе «Русофобии» Шафаревич, говоря об опасной и разрушительной деятельности современного варианта «Малого Народа», об угрозе, исходящей от него для будущего России и русских (особенно для неискушенной молодежи), пытается дать свое решение — какое же оружие можно противопоставить этой угрозе? Казалось бы, пишет Шафаревич, «с мыслями можно бороться мыслями же, слову противопоставить слово». Но, однако, логика, факты, мысли — это оружие в данной ситуации, считает Шафаревич, бессильно, так как ему со стороны лидеров «Малого Народа» неизбежно противопоставляется не логика же и не мысль — а ложь, пропаганда, организованная клака. Значит, кроме слова, нужна, по Шафаревичу, защита иного рода: осознание народом правды о своем трагическом послеоктябрьском опыте; восстановление и укрепление народного самосознания, верований, традиционных государственных и семейных установлений; восстановление нарушенных связей с землей и с собственной историей. Словом, нужно воссоздание всего того коренного пласта тысячелетней жизни и культуры нации, которые безжалостно уничтожались 70 лет.

Таким образом, у Шафаревича в «Русофобии» яснее ясного сказано, какое «оружие защиты» он имеет в виду. Но нет! Шмелев вдруг оказывается страшно непонятливым, рассеянным, текст как-то недочитывает, цитаты обрывает на самом интересном месте и поэтому вдруг ужасно пугается, вопрошая (с. 225): «Каким же видит Шафаревич это «оружие»? Если недостаточно мыслей и слов, то, очевидно, предполагается прибегнуть к каким-то более действенным методам?». И далее — в сноске, на той же странице: «При виде подписи Шафаревича под коллективными письмами последнего времени может возникнуть впечатление, что надежда связывается с методом административного воздействия на лиц, занимающих неугодную позицию. Хочется все же верить, что это впечатление ложно». Вот такой ход.

Хочется сразу успокоить взволнованного до слез Шмелева: да, впечатление ложно. Но ложно и то, что таковое впечатление взаправду могло сложиться. Рецензент его просто придумал и блестяще продемонстрировал правоту Шафаревича, что с известного рода противником слова и логика — оружие мало пригодное.

Вот уж поистине — «беззаботность автора» по части правды удивительна!

В конце статьи автор доводит до совершенства свою позицию актера-клоуна, разыгрывающего тему «пародии», и разводит руками: «Простая серьезность этих слов (заключительных слов «Русофобии») противоречит предположению о пародийном характере «Русофобии». Так пародии не заканчивают».

После прочтения статьи Шмелева становится, пожалуй, понятным ее название. Статья действительно написана в духе пародии на серьезный разбор. Так что название, выходит, удачное.

Прежде всего (после прочтения статьи до конца) остается неясным главный вопрос: есть ли у нас такое, описанное Шафаревичем, явление, как русофобия, или нет его? Ведь Шафаревич и написал свой труд, так как понял, что среди хаоса разнообразных общественных суждений сейчас в нашей стране (и в мире) обозначилась, как он пишет, одна совершенно четкая концепция умонастроения и деятельности. Ее основная черта — русофобия; основной и активный ее носитель и выразитель — националистически настроенная часть еврейства — ядро современного «Малого Народа» в толковании Шафаревича. Он считает русофобию крайне опасным для России, разрушительным явлением, анализирует причины ее возникновения и, как мы видели, предлагает метод национальной защиты от нее.

Как же относится к этой концепции Шмелев?

Поначалу он как будто отрицает наличие этой опасности и самой русофобии как единого умонастроения в современном мире. Примеры, приведенные Шафаревичем из высказываний еврейских историков и литераторов, Шмелев считает не заслуживающими внимания (Р. Пайпс, Янов и др.) и легко относит их к «просто ругательствам», которые почему-то следует принимать со смирением (с. 216). Но далее по тексту Шмелев не только признает наличие русофобии, но и пытается оправдать ее, поскольку считает, что в ее возникновении виноват сам русский народ, который настолько плох, что заслуживает и ненависти, и, конечно, коренной переделки, чтобы наконец стать получше. Для доказательства этой не новой мысли Шмелев прибегает к излюбленному и порядочно затертому приему всех упомянутых Шафаревичем русофобов: как и они, Шмелев с удовольствием выписывает «избранные места» из произведений нашей классики, где русские сами ругают русских.

Да, что есть, то есть. Русские, в том числе русские писатели, следуя голосу справедливости и чести, не замалчивают собственные пороки, не остерегаются разоблачать и высмеивать своих, русских негодяев, страстно призывать свой народ к покаянию и очищению. Солженицын в статье «Наши плюралисты» писал, что всякий великий народ склонен смеяться над собой. Но о пороках и язвах своей нации наши-то великие, будь то Чаадаев или Достоевский, Солженицын или Распутин, пишут с болью и тревогой любви, жаждой пробудить совесть — как свои о своем («мы — о нас»). А русофобствующая братия пишет с иными чувствами и помыслами, пишет как чуждая сила, торжествуя и натравливая, высмеивая с ненавистью. Вот в чем разница, когда пишут «они — о нас». Шмелеву следовало бы почуять эту разницу. А он соблазнился и тем же путем проследовал: поцитировал и Лермонтова, и Белинского, и, конечно, Чаадаева, поискал у Достоевского и даже у Хомякова.

Нехорошо получилось, банально. Насколько было бы оригинальнее, а главное — плодотворнее подобрать критические высказывания еврейских авторов о пороках и преступлениях своего, еврейского народа. Чтобы тоже вот так: «свои — о своих» (как у русских). Этим Шмелев, может быть, снял бы целый ряд обвинений Шафаревича или, во всяком случае, провел бы полезный, сравнительный анализ мнений. Даже если бы не оказалось таких авторов в современном мире (а их голоса что-то не слышно), то Шмелев, охотно цитирующий Библию, мог привести избранные места из проповедей и посланий пророков и апостолов, бичевавших некогда грехи и преступления своего народа. А то получается, что в наше болтливое время среди евреев царит некий зловещий заговор молчания: о своих — только хорошее (как о покойниках). И это слишком трагично (прежде всего для самих евреев, для их детей и молодежи), что они не обрели пока своего нового пророка, который еще раз с гневом бы повторил святые слова: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Нет, современные «пророки», духовные вожди еврейского националистического течения пока лишь оправдывают любые действия «своих», требуют для них особых, охранительных законов, защищают явные бесчинства и неправду — словом, продолжают, как и встарь, делить людей на «обрезанных» и «необрезанных». Две тысячи лет ничему их не научили.

Вот и Шмелев встает в ряд подобных «защитников», легкомысленно отвергая мудрые слова Шафаревича, которые сейчас настолько актуальны, что стоило бы оценить и осмыслить их более серьезно.

Шмелевская же статья не только несерьезна, но местами комична. Особенно это заметно, когда автор пытается подкрепить свои аргументы текстами Священного писания. Вот он, коря Шафаревича за осуждение жестокости ряда ветхозаветных текстов, сообщает, что на этих же идеях воспитывались не только евреи, но и все христианские народы, в том числе русский народ. Однако при этом как-то забывает прибавить, что русские, как и все христиане, в отличие от евреев, воспитывались прежде всего на заповедях Нового завета Иисуса Христа, которые иудаизм отвергает. А то, что евреи «это нация, через которую к нам пришел Христос», в данном случае не имеет никакого значения. Не хватает, чтобы мы с расистских позиций стали рассуждать о «происхождении» Бога.

Удивительны и другие «библейские мотивы» в статье Шмелева. Так, чтобы опровергнуть Шафаревича, порицающего известный образ действий «Малого Народа», Шмелев этот народ сопоставляет с ...«малым стадом» Христовым! Прямым текстом Шмелев так и пишет; что... «у Церкви первых веков христианства есть и другие признаки «Малого Народа»; их членов тоже было мало (вот где «арифметический-то» метод! — **Н. Л.**), они порывают с жизненным строем окружающего мира, они воспринимают себя как общество «святых», они не имеют земного отечества, поскольку их подлинное отечество не принадлежит земному миру. Где же Шмелев тут видит «признаки»? Христиане первых веков действительно составляли меньшинство в окружающем мире. Но они исходили из заповеди проповедовать Евангелие всем народам, то есть их цель была перестать быть меньшинством. Идеология «Малого Народа» — оставаясь меньшинством, вершить судьбу остального народа. То есть автор делает вид, что он понял «Малый Народ» слишком расширительно — как меньшинство вообще. В то время, как другие критики (например, Синявский) делают вид, что поняли его слишком узко — только как евреев.

Шмелев — для убедительности — подпер свои мысли цитатой уже не только из Евангелия, но из Г. Померанца: «Мы всюду не совсем свои».

Прочитав все это, не знаешь, смеяться или негодовать. И как понять автора — как резвящегося затейника или как человека уж слишком простого?.. С какой стати ему понадобилось антиподов подавать как аналогов? В самом деле: с одной стороны — Нагорная проповедь кротости, смирения, покаяния, любви к ближнему ради устроения души человеческой и спасения ее от дьявольских искушений властью, земными «хлебами», своеволием; прощение врагов, отрицание ветхозаветного «око за око»; проповедь Христа о равенстве перед Богом эллина и иудея... С другой же стороны — позиция ненависти и отвращения к окружающему миру и людям, не таким, как «свои»; стремление к жестокому насильственному слому и переделке этого мира и этих людей по своей «научной модели», без учета и малейшего понимания реальных законов жизни и истории, без соблюдения нравственных норм, без жалости и сострадания.

Круг чтения

ТРУДНЫЙ ПОДВИГ САМОСОЗНАНИЯ

В. В. КОЖИНОВ
СУДЬБА РОССИИ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.
Изд-во «Молодая гвардия», М., 1990.

«Судьба России» — так назвал сборник статей известный критик Вадим Кожинов. Название книги обобщающее, имеющее для читателя загадочный вопросительный подтекст: так какова же судьба России? Что ждать нам, россиянам, в будущем? Какая из противоборствующих ныне идеологий победит? Что, наконец, имеет в виду автор под словом «судьба» — рок, фатум?..

Критик свободен от поучительного тона и не берется прогнозировать нечто, изначально поставив задачу — понять, осмыслить существующее и существовавшее. «...Прямые попытки заглянуть в будущее, «проектировать» будущее заведомо легковесны. Единственно надежный путь состоит именно в глубоком изучении прошлого, изучении, которое способно привести к выявлению действительно плодотворных тенденций, достойных быть продолженными, развитыми, в конце концов, даже воскрешенными...» Эту мысль — сколь отправную, столь и итоговую — отстаивает вся книга. «Без обращенности в прошлое можно только разрушать; созидание же немыслимо без глубочайшего внимания к прошлому». А этот тезис, простите, наглядно подтвержден 70-летним экспериментом над Россией и ее народами... Автор неоднократно повторяет: «Я уже не раз подчеркивал, что нам необходима не критика прошлого, а его понимание».

К слову сказать, одно невольное пророчество В. Кожинова (в очерке «Позиция» и понимание») на сегодняшний день уже получило подтверждение. Говоря о низком уровне экономических выкладок, прозвучавших на Съезде народных депутатов СССР (1989 г.), критик пишет: «И ясно, что тот путь спасения, который предлагают все приверженцы «позиции», — резкий рост производительности сельскохозяйственного труда — не только не способен улучшить положение, но даже и усугубит главную беду, так как любое дополнительное количество продуктов при существующем сейчас «канале», ведущем от производства к непосредственному потребителю, неизбежно будет теряться (ибо в канале этом и теперь теряется, вероятно, не менее или даже более половины продуктов)». «Проверка» Урожаем-90 наглядно подтвердила правоту этих строк: при богатейшем урожае зерновых Москву и другие города затрясло от нехватки хлеба; астраханские бахчевники по Центральному телевидению обратились к жителям страны: все, кто может, приезжайте, забирайте арбузы даром — помогите очистить от них поля...

П. А. Катенин писал в одной из статей: «Все порядочные критики всегда и везде требовали одного: натуры, истины, здравого смысла». Именно этих требований — к себе и к другим — придерживается критик, исповедуя бахтинскую «эстетику диалога» и признавая это важнейшее «родовое» качество за русской литературой: «Стихия русской литературы — это в основе своей стихия проникновенного *диалога*, в котором могут равноправно участвовать предельно далекие голоса».

Важно, что В. Кожинов не голословен, излагая свою точку зрения: вспомогательный «аппарат» представлен в книге богатейшими ссылками на источники.

И важно, что В. Кожинов не замалчивает точки зрения оппонента, приводя ее в законченном виде, — качество не всегда оправданно предполагаемое читателем у некоторых других критиков.

Очень интересна, на мой взгляд, кожиновская культура несогласия с противником, выгодно отличающая его от разнузданных или просто эмоциональных сверх меры собратьев по перу. Справедливости ради оговорюсь, что спокойствие и уравновешенность тона пусть редко, но все ж уступают место авторскому соблазну напомнить «координаты» противнику, неосмотрительно севшему в лужу, не попирая его, однако, сапогом.

Внешность Будды зависит от скульптора, гласит корейская пословица, намекая на пристрастность человеческих взглядов. Стремиться к объективности в суждениях призывал Пушкин: «Односторонность есть пагуба мысли»; Достоевский: «Направление, ярлык портят автора». Но стремиться к ней — еще не значит предъявлять на нее права. Природа человеческая такова, что «берег» все-таки нужен: от него человек пускается в плавание, на нем он греется у костра в кругу сородичей или единоверцев. Есть такой «берег» и у В. Кожинова: это — Россия. Но непредвзятый читатель легко сможет убедиться, что автор при этом не грешит «пагубой мысли».

Из вошедших в книгу восьми статей две — «доперестроечные», дополняющие одна другую: «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» и «Недостаток или своеобразие?». Первая статья была опубликована, по словам автора, «благодаря мужеству и отваге выдающегося публициста и гражданина Юрия Ивановича Селезнева (1939—1984) в ноябрьском номере журнала «Наш современник» за 1981 год». Цитирую эту строку для того, чтобы вслед за автором повторить слова признательности Человеку и Гражданину. И еще для того, чтоб остановить внимание читателя на поразительном факте, что Заметки о духовном своеобразии России (подзаголовок указанной статьи) в России 1981 года, на страницах российского журнала появились лишь «благодаря мужеству и отваге» первого заместителя главного редактора (за что он немедленно поплатился!).

Какое же «завтра» у России? За годы Советской власти (точнее — партийного диктата) в нас воспитывался этакий оголтелый оптимизм в отношении будущего («...С каждым днем все радостнее жить!»), что у иных он стал походить на психическое отклонение: петуха на зарез несут, а он кричит «ку-ка-ре-ку!» Есенинский пафос стихотворения «О Русь, взмахни крылами...» целиком принадлежит 1917 году: через короткое время поняв, что «от революции остались только хрен да трубка», Есенин неизбежно должен был заключить, что «иная крепь» оказалась для России попросту дыбой... Неуместен он и сегодня, когда соборность разрушена, дух — заражен, вера — растоптана, а крестный путь не осмыслен. «Сидя в болоте, не полетишь орлом, — размышлял Алексей Кольцов в письме к В. Г. Белинскому, — будь и крылья, — да глупая грязь их так сплющит, что и на ногах не устоишь, а уж куда лететь! — хоть бы глупые ребятишки не закидали камнями!» Воодушевленный Великой реформой (отмена крепостного права), Иван Аксаков писал через 20 лет, что «изо всех испытаний, пережитых и переживаемых Россией, мы вынесли теперь драгоценное благо, залог нашего будущего выздоровления: понимание нашей болезни, способность глядеть ей прямо в лицо, не отворачивая смущенного взора, сознание лжи, заедающее наши силы, и в то же время сознание нашей народной сущности, сознание начал, развитие которых составляет условие нашего спасения и наше признание в истории человечества». Возрождение славянских народов Иван Сергеевич видел через «трудный подвиг самосознания». К этому подвигу — через осознание своего богатейшего прошлого и честного осмысления настоящего — зовет читателя и книга Вадима Валериановича Кожинова.

Завершая ее коротким очерком «Замысел Павла Корина», критик рассказывает о неосуществленном замысле художника написать «Реквием» — огромный холст-трагедию, призванный показать «конец русского православия». Тридцать с лишним лет простоял загрунтованный холст в мастерской художника — и остался нетронутым. «И — кто знает? — быть может, слабая, но растущая надежда на то, что на самом деле конца нет, побудила художника не осуществить свой замысел «Реквиема».

«И будем надеяться и верить, что духовная глубина, сила и величие, воплотившиеся в коринских образах отца и сына (этот эскиз к картине вынесен на обложку книги. — В. М.), несмотря на неслыханные испытания, неистребимо живут в народе».

Этими словами завершается книга.

Вячеслав МОРОЗОВ.

Этот год—юбилейный для Вадима Валериановича КОЖИНОВА.
Ему исполнилось 60 лет.
Редакция пользуется случаем, чтобы от всей души поздравить одного из любимейших авторов журнала, члена редколлегии, замечательного русского человека.
Здоровья Вам, дорогой Вадим Валерианович, и—многая лета!

Голод, мор, война, революция... В ряду этих веющих могильным холодом слов первое место по праву занимает леденящее русскую душу слово р а с к о л. Ныне мало кто сомневается в том, что первоистоком наших братоубийственных раздоров, систематически ставивших Отчизну на грань катастрофы, явилось духовное несогласие. Вот почему всякий истинный россиянин, радеющий о возрождении Отечества, независимо от взглядов, места жительства и сложившейся судьбы, как самую опасность воспринимает любые проявления церковного раскола.

Публикуя на своих страницах Воззвание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, мы не считаем для себя вправе давать какую-либо оценку его положениям, поскольку являемся светским журналом. Вместе с тем считаем необходимым обратить внимание на то, что Воззвание проникнуто заботой о сохранении единства матери-Церкви, готовностью протянуть руку несогласным, содержит в себе призыв к открытому и честному диалогу по всем вопросам жизни Русской Православной Церкви.

Журнал «Наш современник» считает своим священным долгом по мере сил способствовать обретению церковного единства. Мы надеемся на доброжелательный и конструктивный отклик со стороны пастырей и прихожан Русской Православной Церкви за границей.

ВОЗЗВАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА К АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

*ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, БОГОЛЮБИВЫЕ ПАСТЫРИ
И ВСЕ ВЕРНЫЕ ЧАДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ!*

Печальное событие, поставившее под угрозу мир в нашей Церкви и ее единство, побуждает нас обратиться к вам с настоящим воззванием.

Не имеющая признания всей Православной Полноты, в силу своей антиканоничности, группа епископов, именующая себя Архиерейским Собором Русской Православной Церкви за границей, десятилетиями вносившая раздоры среди наших православных соотечественников, в рассеянии сущих, посеяла теперь церковную смуту уже на территории нашей страны. Собравшись в канадском городе Мансонвилле, указанный Архиерейский Собор принял 2/15 и 3/16 мая сего года два документа — Послание к пастырям и пастве нашей Церкви, живущим во Отечестве, и «Положение о приходах свободной Русской Православной Церкви», — значительно усиливающие и без того фактически существующее разделение между ними и нашей возлюбленной Матерью — Русской Православной Церковью. Призывая ее пастырей и паству перейти под их окормление и объявляя о своем намерении поставить на канонической территории Московского Патриархата в нашей стране свою иерархию, они как на причину такого произвола указывают на «окончательно к настоящему времени парализованное, нераскаянное состояние иерархии и клира Московской Патриархии, отступивших от чистоты Православия».

Позже, в дополнение к указанным документам Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви обратился с посланием «К верным чадам Русской Православной Церкви в Отечестве и в рассеянии сущим», в котором, повторяя прежние обвинения в адрес священноначалия Московского Патриархата, заявляет о своем неприятии решений Поместного Собора, проходившего в Троице-Сергиевой Лавре в июне сего года. Так, они отказываются признавать выборы нового Всероссийского Патриарха в качестве «соборного волеизъявления Русской Церкви» и вообще намекают, что в своих деяниях Собор не был внутренне свободен. Но если весь мир был свидетелем как острых дискуссий в ходе соборных заседаний, так и напряженного в несколько туров при тайном голосовании процесса выдвижения кандидатов в Патриархи и избрания Предстоятеля Русской Православной Церкви, то спрашивается, что же тогда свобода и соборность? При этом авторы послания не гнушаются и выпадов личного характера против новоизбранного Святейшего Патриарха, основанных на источниках, которые с церковной точки зрения не могут заслуживать доверия.

Все это может вызывать и вызывает смущение в умах некоторой части наших клира и паствы, недостаточно осведомленной о подлинных событиях истории Русской Православной Церкви в текущем столетии. Посему почли мы своим долгом перед лицом епископата, клира и всех верных чад нашей Русской Православной Церкви дать ответы по всем пунктам выдвигающихся в вышеуказанных документах обвинений, а также дать соответствующие разъяснения о самом характере оных, чтобы никто не питал иллюзий как относительно того, что вменяется в вину иерархии и клиру нашей Церкви, так и относительно их обличителей.

Обращаясь к появившимся в нашей стране своим последователям, иерархи Русской Зарубежной Церкви предписывают им «не вступать в евхаристическое общение с Московской Патриархией», пока последняя не отречется от Декларации Митрополита Сергия и не отстранит от церковного управления иерархов, которым они вменяют в вину «антиканонические и аморальные поступки». Такое предписание клирикам и мирянам относительно их разрыва с иерархией, имеющей каноническое признание со стороны всей Православной Полноты в лице епископата Автокефальных и Автономных Поместных Православных Церквей, в соответствии с первым правилом святого Василия Великого, может быть однозначно квалифицировано как подстрекательство к расколу со стороны лиц, уже фактически поставивших себя в положение раскольников.

Как видим, главным пунктом обвинения в адрес иерархии и клира Московского Патриархата выдвигается их связь с Декларацией Митрополита Сергия, принятой в 1927 году.

По этому поводу мы заявляем, что, отдавая дань глубокого уважения памяти Патриарха Сергия и с благодарностью вспоминая его борьбу за выживание нашей Церкви в тяжелые для нее годы гонений, мы тем не менее вовсе не считаем себя связанными его Декларацией 1927 г., сохраняющей для нас значения памятника той трагической в истории нашего Отечества эпохи. Как заявил Священный Синод 3 апреля с. г., «Православная Церковь не может ни встать на сторону тех или иных групповых или партийных интересов, ни связывать свою судьбу с тем или иным политическим курсом». Вместе с тем мы не можем оставить безответными содержащиеся в послании зарубежных иерархов выпады против Патриарха Сергия и Декларации 1927 г. «...Митрополит Сергий, — читаем мы в послании, — будучи только заместителем (Патриаршего) Местоблюстителя, неожиданно превышает свою власть, нарушает единомыслие епископата, издает без рассуждения всех, и вопреки мнению подавляющего большинства иерархов, свою декларацию о единстве интересов Церкви и безбожного правительства. Старейшие иерархи — митрополиты Петр и Кирилл Казанский осудили этот акт и прервали общение с Митрополитом Сергием. ...Таким образом, раскол в епископате Российской Церкви создал Митрополит Сергий. Одни (большинство) пошли путем мученичества, другие — вынужденного соглашательства. В первые же месяцы легализованного властями церковного управления начались беспримерные расправы с несогласными, с большинством епископата. Непреклонных, дерзновенно не имея на это никакого права, Митрополит Сергий увольняет на покой, запрещает единолично в священнослужении, что дало властям основание для предания их суду, заключения в тюрьмы, лагеря и ссылки, где умирали они мучениками за Возлюбившего их».

Мы не думаем, что это писалось в неведении относительно истинной последовательности и характера событий более чем шестидесятилетней давности. Очевидно, что писавшим доступны и издания церковных источников того времени, и исследования историков, посвященные жизни Русской Церкви в ту тяжкую для нее пору. Поэтому мы вынуждены квалифицировать вышеприведенные высказывания как злонамеренную клевету, рассчитанную либо на неведение, либо на отсутствие памяти у читающих сей документ.

Чада нашей Церкви должны знать подлинные факты, связанные с Декларацией 1927 года, обращение к которым делает полностью несостоятельными вышеприведенные измышления.

Во-первых, что касается объема власти Митрополита Сергия, как Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, то она полностью покрывала все права и обязанности замещаемого им Предстоятеля нашей Церкви, с чем был согласен русский епископат, включая и зарубежных иерархов, обращавшихся к нему в 1926 году, прося рассудить их в связи с возникшими в их среде разногласиями относительно устроения церковной жизни русской диаспоры. Именно consensus ecclesise (согласие Церкви) и являлся основным источником его полномочий, воспринятых в силу чрезвычайных обстоятельств жизни Русской Православной Церкви согласно распоряжению Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого Петра, оказавшегося с декабря 1925 года и до своей кончины в 1936 году в узах и поэтому не могущего исполнять свои обязанности Первоиерарха.

Во-вторых, Декларация не появилась «неожиданно». Первый ее вариант, получивший известность, в частности, благодаря зарубежным публикациям, стал предметом достаточно широкого церковного обсуждения. Что же касается ее варианта, опубликованного в «Известиях» в июле 1927 года, то он, будучи принятым

Временным Патриаршим Священным Синодом, готовился также не один месяц, и эти приготовления не являлись секретом. Мы вовсе не намерены идеализировать этот документ, сознавая и его вынужденный характер, и вообще относительную ценность подобных заявлений. Однако со всей определенностью мы обязаны подчеркнуть, что Декларация 1927 года не содержит ничего такого, что было бы противно слову Божию, содержало бы ересь и, таким образом, давало бы повод к отходу от принявшего его органа церковного управления. Именно так и восприняло Декларацию подавляющее большинство епископата Русской Православной Церкви, притом, что критических замечаний в адрес ряда ее положений высказывалось немало. Во всяком случае, известно, что оппозиция Митрополиту Сергию Ленинградского митрополита Иосифа и отход от него в 1930 году митрополита Казанского Кирилла не были связаны непосредственно с Декларацией, а явились результатом непонимания линии Заместителя Патриаршего Местоблюстителя в вопросах церковного управления, которая в тех условиях была единственно возможной. Эта линия, в свою очередь, встретила сочувствие большинства епископов, сохранивших доверие и сострадание Митрополиту Сергию, в сознании того, что нет такой власти, которая способна лишить их свободы во Христе, ради Которого они обрекли себя на каждодневное умирание.

В-третьих, обратимся к основной мысли Декларации 1927 года, чтобы в этом вопросе не было никаких недомолвок и перетолкований. Конечно же, ни о каком «единстве интересов Церкви и безбожного правительства» здесь нет и речи. По сути, Митрополит Сергий и Временный Патриарший Священный Синод отстаивают здесь верность заповеди Спасителя отдавать кесарю кесарево, а Божие Богови (Мф. 22, 21). «Нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к Православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом». Таким образом, совершенно очевидно, что ни о каком единстве интересов Церкви и советского руководства в области духовной жизни и нравственных ценностей здесь не может быть и речи. Митрополит Сергий вместе с единомысленными с ним епископами обещает гражданской власти лишь лояльность в той мере, в какой она не затрагивает существа веры. Теперь обратимся к высказыванию, которое встречало наибольшее непонимание некоторых представителей русской церковной среды того времени. «Мы хотим, — писал Митрополит Сергий, — быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Опять же подчеркивая верность святому Православию, что по сути и является главной мыслью Декларации, Митрополит Сергий говорит о естественной близости сердцу чад Русской Православной Церкви успехов и неудач их земной Родины при ясном сознании преходящего характера установившейся в ней государственной власти, которой, по завету Апостола (Рим. 13, 1 — 8), предписывается христианам законопослушность в гражданской сфере «не только из страха, но и по совести», что должно служить основанием нормальных отношений Церкви и власти в любом государстве. Ни о каких уступках власти в области веры или же выражения солидарности с ее богоборческим курсом в Декларации, конечно же, нет и речи.

В-четвертых, нет никаких достоверных данных, свидетельствующих, что митрополит Петр прервал общение со своим Заместителем в связи с публикацией им данной Декларации, которая явилась естественным продолжением его и святого Патриарха Тихона усилий по легализации в СССР канонического управления Русской Православной Церковью.

И, наконец, в-пятых, относительно обвинения в том, что Декларация явилась причиной репрессий в отношении, как пишут авторы Послания, не принявшего ее большинства духовенства. Здесь нужно обратиться к фактам, из которых следует, что не Декларация явилась главной причиной отхода от Митрополита Сергия 37 (из более чем 150) епископов, находившихся на Родине, а, как уже указывалось, непонимание его линии в области церковного управления, учитывающей тогдашние реальные условия существования Церкви. Что касается прещений, то они налагались Временным Патриаршим Священным Синодом в установленном священными канонами порядке лишь в отношении тех лиц, которые посягали на единство тела церковного, «водружая иный олтарь». При этом недобросовестным измышлением является попытка обвинить Митрополита Сергия в том, что он дал повод развернуть репрессии со стороны режима в отношении несогласных с ним епископата и клира. Общеизвестно, что духовенство Русской Православной Церкви подвергалось репрессиям вовсе не по приговору гласного суда, а в так называемом административном порядке и до Декларации 1927 года. Собственно, уже с начала 1918 г. на русское православное духовенство и активных мирян обрушился самый неприкрытый террор именно за их принадлежность к Церкви, который затем по временам то ослабевал, то усиливался, оставив нам память о многочисленных мучениках и исповедниках. Что же касается последующих беззаконий режима в отношении епископов, клириков и активных мирян, наибольший размах которых пришелся уже на 30-е годы, то его жертвами явились отнюдь не только оппозиционеры Митрополиту Сергию, но и в гораздо большем числе (в силу своего явного

численного превосходства) его ревностные сторонники, включая подавляющее большинство членов Временного Патриаршего Священного Синода. Достаточно напомнить деятелям Русской Зарубежной Церкви имя единомысленного с Митрополитом Сергием члена Синода при нем митрополита Одесского Анатолия, прославляемого ими как новомученика. Таким образом, авторы послания допускают кощунство в отношении памяти большинства священномучеников и исповедников, которые страдали именно за веру во Христа, оставаясь по примеру мучеников и апологетов христианской древности добросовестными гражданами своего государства.

Нас обвиняют в «попрании памяти святых новомучеников и исповедников». И здесь мы совершенно определенно должны заявить, что в нашей Церкви никогда не прерывалось молитвенное поминовение страдальцев за Христа, преемниками которых довелось стать нашему епископату и клиру. Сейчас, чему весь мир свидетель, у нас разворачивается процесс их церковного прославления, который, в соответствии с древнецерковной традицией, должен быть избавлен от суетного политиканства, поставленного на службу меняющимся настроениям времени.

Среди других обвинений в адрес епископов и клириков Русской Православной Церкви, являющихся якобы достаточной причиной для разрыва с ними евхаристического общения, называются и «подобострастное служение безбожной власти», и «небрежение в распространении слова Божия», и «искажение таинств», и «подчинение мирским властям», и «отрыв от паствы», и «нравственная распущенность и сребролюбие», и «перемещение архиереев и священников». Знающему историю Русской Православной Церкви в XX веке послышится в этих обвинениях нечто удивительно знакомое. Ведь почти то же самое шесть с лишним десятков лет тому назад можно было услышать из уст раскольников-обновленцев в адрес русского дореволюционного епископата и клира. И разве не большинство этих служителей Божиих, невзирая на все свои немощи, вынесло затем основной удар беспримерных гонений, обрушившихся на Церковь, поддержав в недрах народа нашего живой огонь православной веры?

Теперь, оглядываясь уже на совсем недавнее прошлое, мы с благодарностью вспоминаем тех архипастырей и пастырей, которые также, несмотря на свои немощи и человеческие недостатки, несли крест своего служения с заботой о сегодняшнем дне нашей Церкви. И лишь болезни и кончина в расцвете сил иных из них служат пока свидетельством их тяжелой борьбы, которую им приходилось каждодневно вести за это. Однако при этом мы готовы смиренно признать: да, не все в нашей деятельности было безупречным, и мы готовы нести и уже приносим покаяние в своих прегрешениях, и на путях возрождающейся соборности исправляем и будем исправлять имеющиеся недостатки в церковной жизни, связанные с ненормальностями внешних условий прежнего бытия нашей Церкви.

Но насколько нравственно с точки зрения Евангелия выступать группе епископов Русской Зарубежной Церкви в роли наших обвинителей? Разве в истории их группировки не было соблазнительных для церковного общества моментов, даже в совсем недавнем прошлом? Напомним только, что во время фашистского режима в Германии Зарубежная Церковь в этой стране отнюдь не была «свободна» и «независима» от мирской власти. Более того, ее руководство не погнушалось содействием гестапо для захвата в 1938 году приходов, входивших в русский Западноевропейский Экзархат. В свою очередь во время войны оно покорно подчинилось указанию гитлеровского правительства, воспретившего ему развернуть свою деятельность на оккупированных территориях Польши и СССР, что первоначально входило в его намерения. Так что здесь уместно вспомнить слова бывшего настоятеля храма св. равноапостольного князя Владимира в Берлине, а впоследствии архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского): «Исторические факты не позволяют морально противополагать Русской Церкви — Зарубежную, превознося Зарубежную, как якобы сохранившую чистоту и бескомпромиссность».

Так называемый Архиерейский Собор также пытается обвинить нас в отступлении от Православия. С этой целью он вновь идет на обман, рассчитанный, очевидно, на крайнее невежество читателей своих документов. Так, Русской Православной Церкви вменяется в вину участие в деятельности Всемирного Совета Церквей, которому приписывается стремление создать некую «всемирную церковь», «объединяющую все ереси и религии». Однако общеизвестно, что ВСЦ совершенно чужда подобная цель. Его задача состоит в содействии экуменическому сотрудничеству между христианскими Церквами, хранящими веру в Единого Бога, во Святей Троице славимого, и в Господа Иисуса Христа, как в Единородного Сына Божия — Спасителя мира. При этом такое сотрудничество не затрагивает существа хранимых ими традиций их веры, будучи призванным способствовать достижению взаимопонимания между Церквами разных конфессий в их стремлении, когда будет на то воля Божия, к достижению единства в вере всех последователей Господа Иисуса Христа по заповеди Его «да будут все едино» (Ин. 17, 21). Таким образом, участие в деятельности ВСЦ уже в течение нескольких десятилетий всех Поместных Православных Церквей дает им возможность свидетельствовать перед лицом остального христианского мира истинность хранимой ими веры, как залога возможного будущего единства всех христиан. Никакой измены Православию здесь

нет, а есть свидетельство о его спасительной красоте перед лицом всего христианского мира.

Авторы «Положения о приходах свободной Русской Православной Церкви» указывают своим приверженцам в нашей стране, что «они не могут молиться о гражданской власти, доколе руководящей и направляющей силой ея является КПСС, имеющая богоборческий антицерковный устав». Мы не будем здесь касаться тех перемен в общественной жизни нашей страны, которые происходят в плане утверждения в ней политического плюрализма. Для нас важна принципиально христианская позиция в вопросе отношения Церкви к государству. Так, будучи приверженными суетному политиканству, не раз вносившему смятение в русское церковное общество, зарубежные иерархи попирают завет Апостола: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (I Тим. 2, 1 — 2). Очевидно, что святой апостол Павел, призывая христиан совершать молитву за власти Римской империи, которые в ту эпоху чаще всего выступали как их гонители, давал заповедь на все времена молиться за гражданские власти тех государств, в которых Церковь Христова будет иметь свое пребывание. Форма поминовения на великой ектении: «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властех и воинстве ея...», — соответствует этому апостольскому завету и обычаю, соблюдающемуся во всех Поместных Православных Церквах, имеют ли они привилегированное положение в христианском государстве или же правительства государств, в которых находится их юрисдикционная территория, вообще чужды христианства. Таким образом, и практика нашей Церкви не содержит в себе ничего такого, что унижало бы ее достоинство, каким-то образом отождествляя ее с тем или иным политическим режимом.

Авторы послания пишут: «Стоит перед нами и следующий вопрос: может ли иерархия Русской Православной Церкви за границей иметь своих епископов в России, на русской земле? Мы думаем и верим, что не только может, но и должна». Как на причину этого авторы Послания указывают на «множество писем», поступающих к ним от верующих с Родины, просящих «дать им хлеба духовного». «Московская Патриархия, очевидно, — пишут они, — не может сделать этого и потому не имеет права воспрепятствовать нам».

В связи с таким заявлением позволительно спросить: разве в еще совсем недавние т. н. «застойные» годы епископы нашей Церкви не прилагали усилий к тому, чтобы в их епархиях открывались новые храмы, пусть даже их число было тогда невелико, чтобы увеличить число учащихся в духовных школах и активизировать приходскую жизнь. Ведь те перемены в жизни Церкви, которые мы сейчас наблюдаем, не появились сами по себе, именно тогда они созревали в недрах церковного общества. И теперь, в новых условиях, разве епископат Русской Православной Церкви не имеет попечения об открытии храмов, монастырей и духовных школ там, где в этом имеется потребность? Так за последние три года образовались тысячи новых приходских общин, начали действовать вновь свыше десятка монашеских обителей, открылось дополнительно четыре духовных семинарии и 12 духовных училищ. При храмах и монастырях стали проводиться организованные занятия по Закону Божию со взрослыми и детьми. Церковь получает возможность значительно расширить свою издательскую деятельность, и прежде всего в сфере обеспечения своей паствы словом Божиим. Причем весь этот процесс в дальнейшем будет усиливаться.

В связи с этим уместно спросить: как сама иерархия Русской Зарубежной Церкви оценивает состояние своих собственных церковных дел в русском зарубежье? Отметим, что Русская Зарубежная Церковь включает лишь меньшую часть православных выходцев из нашей страны, большинство которых объединены также в приходы Православной Церкви в Америке, Русской Западноевропейской Архиепископии Константинопольского Патриархата и зарубежных епархий Московского Патриархата. Факты свидетельствуют, что Русская Зарубежная Церковь испытывает в последние годы заметный кризис, о чем красноречиво говорят многочисленные священнические вакансии в ее приходах в Западной Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Обманом выглядит и упоминание о множестве писем, которое якобы руководство Русской Зарубежной Церкви получает с Родины с просьбой о содействии в устройстве церковной жизни. Нам известно лишь о сравнительно немногочисленной группе мятежных клириков и миряи, заявивших о выходе из ведения Московского Патриархата в зарубежную «юрисдикцию». По долгу пастырской совести мы вынуждены охарактеризовать их состояние как нахождение в духовной прелести. Мы также не исключаем, что в процессе очищения рядов служителей нашей Церкви от скомпрометировавших себя лиц среди них также найдутся желающие перейти в Зарубежную Церковь. История расколов XX века в Русской Церкви свидетельствует о подобной тенденции.

Теперь остановимся на одной мысли «Положения», которая дает нам повод говорить о Русской Зарубежной Церкви с канонической точки зрения. Так, его авторы предписывают своим приверженцам в нашей стране руководствоваться «постановлениями Русской Православной Церкви до Декларации Митрополита Сергия в 1927 году». Но в таком случае Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей должен был бы прекратить свое существование в соответствии с Указом святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви от 23 апреля (5 мая) 1922 года, которым за самочиние, выразившееся в делании политических заявлений от имени всей полноты Русской Церкви, упразднялось Высшее Церковное Управление за границей, от коего имеет преемство нынешний зарубежный Синод. Свое осуждение чуждой природе Церкви деятельности этого Синода святой Тихон высказал также в своем предсмертном воззвании от 25 марта (7 апреля) 1925 года, угрожая его участникам, в случае упорства, судом Собора.

Однако Церковь-Мать долго проявляла снисхождение к своим заблудшим сынам, несмотря на то, что в тяжкие годы гонений их безответственное поведение углубляло ее раны и увеличивало ее мучения. И сейчас мы по-прежнему готовы все понять и все простить. Даже несмотря на то, что руководство Русской Зарубежной Церкви усилило существующее разделение, образуя параллельную иерархическую структуру и способствуя созданию своих приходов на канонической территории Московского Патриархата, мы вновь протягиваем им руку, призывая к открытому и честному диалогу по всем вопросам, вызывающим разногласия между нами. В связи с этим мы готовы к проведению в Москве или в любом другом месте широкой дискуссии (в рамках научно-церковной конференции или иным образом) по всем вопросам жизни нашей Русской Православной Церкви в текущем столетии, и особенно в связи с Декларацией 1927 года.

Такая позиция не является результатом нашей слабости. Она есть выражение нашей ответственности пред Господом Богом за вверенное нам словесное стадо. Ибо только врагам нашей Церкви и Святого Православия были бы на руку наши разделения.

Посему в этот исторический час, когда решаются судьбы нашей многострадальной Родины, мы призываем всех наших православных соотечественников во Отечестве и в рассеянии сущих искать мира и любви между собой, оставив в стороне все то, что не может, а следовательно, и не должно служить причиной разделения у исповедующих одну спасительную правую веру. Конечно, в нашей церковной жизни могут встречаться и разномыслия, и соблазны, и поводы для огорчений, но они не должны смущать истинных церковных чад, верящих в конечную всепобеждающую силу Христовой правды и своим смиренным деланием приближающих ее торжество.

Сейчас, как и прежде, актуально звучат слова святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, сказанные им незадолго до его отшествия ко Господу: «Небоязненно взирая на грядущие пути Святого Православия, мы призываем вас, возлюбленные чада наши: делайте дело Божие, да ничтоже успеют сыны беззакония».

Благодать вам и мир от Бога Отца, и Господа нашего Иисуса Христа, и Святаго Духа. Аминь.

СОДЕРЖАНИЕ

журнала «Наш современник» за 1990 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА